

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР  
МОСКВА 1954

Е. А. БОКАРЕВ и Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

## СТАЛИН — ВЕЛИКИЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ЛЕНИНА

21 декабря 1954 г. исполняется семьдесят пять лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, великого продолжателя дела Ленина.

И. В. Сталин всю свою жизнь отдал борьбе за свободу и счастье трудового народа. С 15-летнего возраста он установил связь с подпольными марксистскими группами, и с тех пор вся деятельность И. В. Сталина была связана с рабочим классом, его боевой, революционной партией. Верный последователь великого учения Маркса — Энгельса — Ленина, И. В. Сталин посвятил свою жизнь борьбе за социализм.

Возникновение марксизма было коренным революционным переворотом в истории рабочего движения, превратившим социализм из утопии в науку. Маркс и Энгельс вооружили рабочий класс единственно научным мировоззрением — диалектическим материализмом. Метафизическому, антиисторическому подходу к человеческому обществу они противопоставили подлинно историческое понимание общественного развития. Глубоко изучив экономику капиталистического общества, Маркс открыл законы возникновения, развития и гибели капитализма и обосновал историческую миссию пролетариата как могильщика капитализма и создателя нового, социалистического общества.

Марксизм, являясь по самому своему существу творческим учением, непрерывно развивается и обогащается на основе нового опыта революционного движения и новых успехов в развитии науки. Учение Маркса и Энгельса получило дальнейшее развитие в трудах В. И. Ленина. Обобщив в своем гениальном философском произведении «Материализм и эмпириокритицизм» самое существенное из того, что было приобретено наукой за период после смерти Энгельса, Ленин отстоял революционное учение марксизма от ревизионистских и оппортунистических извращений. Исходя из опыта классовой борьбы пролетариата в эпоху империализма и пролетарских революций, он поднял марксизм на новую, высшую ступень. Ленин обогатил марксистскую теорию исследованием империализма как последней, монополистической, фазы капитализма. На основе изучения исторического опыта Великой Октябрьской социалистической революции и социалистического строительства в СССР Ленин дал глубокий анализ законов социалистического преобразования общества, разработал выдвинутую им еще в годы первой мировой войны теорию о возможности построения социализма в одной стране и наметил конкретные пути экономической политики в переходный период от капитализма к социализму. Глубоко проанализировав практику социалистического строительства, Ленин разработал исходные положения основного экономического закона социализма, закона планомерного развития народного хозяйства и ряда других. Особое значение имеют работы В. И. Ленина о роли партии как руководящей силы в борьбе пролетариата.

Дальнейшее свое развитие марксизм-ленинизм получал в решениях Коммунистической партии Советского Союза, в работах И. В. Сталина и других соратников и учеников Ленина. Коммунистическая партия Советского Союза под руководством Центрального Комитета во главе

с И. В. Сталиным отстояла марксистско-ленинскую теорию в ожесточенной борьбе против троцкистов, бухаринцев, буржуазных националистов. Вслед за В. И. Лениным И. В. Сталин всегда подчеркивал, что теория — это не догма, а руководство к действию, и всей своей деятельностью показывал пример творческого применения марксистско-ленинской теории. В своих произведениях И. В. Сталин дал глубокое обобщение нового опыта исторического развития, борьбы рабочего класса и его Коммунистической партии за построение социализма в нашей стране. Опираясь на труды Маркса, Энгельса, Ленина, И. В. Сталин выдвинул и развил ряд новых положений марксистско-ленинской теории. И. В. Сталин доказал неизбежность дальнейшего углубления и обострения противоречий капитализма, ведущих его к гибели. Исходя из положений, данных в трудах Маркса, Энгельса и Ленина, Сталин сформулировал основной экономический закон социализма, осветил пути и методы социалистической индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Сталин развил и конкретизировал марксистско-ленинское учение о государстве, о партии, о переходе от социализма к коммунизму.

Огромное значение имеют работы И. В. Сталина по национальному вопросу. Вместе с ленинскими произведениями, посвященными этой проблеме, труды И. В. Сталина явились основополагающими при определении национальной политики Коммунистической партии. Осуществляя ленинско-сталинскую национальную политику, Коммунистическая партия после победы Великой Октябрьской социалистической революции сплотила свободные народы в единую братскую семью, обеспечила невиданный экономический и культурный расцвет всех народов Советского Союза. Труды В. И. Ленина и И. В. Сталина по национальному вопросу явились прочной методологической базой, опираясь на которую развивалось советское теоретическое и практическое языковедение.

Классики марксизма-ленинизма уделяли большое внимание вопросам языкознания. В трудах Маркса, Энгельса, Ленина впервые нашли правильное освещение такие важнейшие проблемы науки о языке, как общественный характер языка, единство языка и мышления, связь истории языка и истории народа, глубоко исторический характер процессов развития языка. В трудах И. В. Сталина все эти основные для марксистского языкознания проблемы получили свое дальнейшее развитие. Особо важную роль в разработке марксистской науки о языке сыграла работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».

И. В. Сталин, вслед за Марксом, Энгельсом, Лениным определяя базис как экономический строй общества на данном этапе его развития, имеющий соответствующую ему надстройку — политические, правовые, художественные, религиозные, философские взгляды общества и соответствующие им политические, правовые и другие учреждения, показал принципиальные отличия языка от надстройки и тем самым вскрыл антимарксистскую сущность марровского так называемого «нового учения» о языке. Исходя из основного отличия языка как продукта ряда эпох от надстройки, которая рождается и умирает вместе со своим базисом, И. В. Сталин блестяще опроверг антимарксистскую теорию Н. Я. Марра о классовости языка, показав, что существование в обществе антагонистических классов отнюдь не ведет к устранению общенародного языка и образованию особых классовых языков. Вместе с тем И. В. Сталин отметил существенное различие между языком и культурой: культура может быть и буржуазной, и социалистической, язык же, как средство общения, является общенародным и может обслуживать как буржуазную, так и социалистическую культуру.

В работе «Марксизм и вопросы языкознания» дано четкое определение признаков языка, показана его связь с историей общества, его роль как орудия борьбы и развития общества, определены общие перспективы развития языков в будущем коммунистическом обществе, выявлены особенности исторического развития разных сторон языка, неравномерность в развитии словарного состава языка и его основного словарного фонда как наиболее устойчивой части лексики, показана абстрагирующая роль грамматики, исключительная устойчивость грамматического строя языка и сопротвляемость языка насильственной ассимиляции. И. В. Сталин провел четкое различие между классовыми диалектами, или жаргонами, обслуживающими узкую социальную верхушку, и местными, или территориальными, диалектами, обслуживающими широкие народные массы.

И. В. Сталин выявил порочность марровской теории, отрывающей язык от мышления. Опираясь на положение классиков марксизма о языке как практическом сознании, он обосновал роль языка как базы мышления. Развивая далее тезис об исторической устойчивости основных элементов языка и его роли как средства общения, Сталин доказал полную несостоятельность марровского учения о взрывах в развитии языка, сформулировав основной закон развития языка путем постепенного отмирания элементов старого качества и накопления элементов нового качества. Сталин показал, что в результате скрещивания языков, которое само является длительным историческим процессом, никогда не появляется новый язык, не похожий ни на один из скрещивающихся языков; победителем всегда оказывается какой-нибудь один из языков, а другой — постепенно отмирает.

И. В. Сталин обогатил марксистскую теорию о диалектическом переходе от старого качества к новому. Закон перехода от старого качества к новому путем взрывов, будучи неприменим к языку, но всегда применим и к другим общественным явлениям базисного или надстроечного порядка.

Особое значение имеет тезис И. В. Сталина о наличии у каждого из общественных явлений, наряду с общим для них свойством обслуживать общество, специфических особенностей, отличающих их друг от друга. Этот тезис нанес сокрушительный удар вульгаризаторам марксизма, отождествившим различные общественные явления и не видевшим между ними специфических различий. Язык, будучи общественным явлением, имеет вместе с тем свои, только ему одному присущие особенности, а потому и является объектом изучения самостоятельной науки — языкознания. Представители же «нового учения» о языке лишили язык его самостоятельной роли и пытались растворить языкознание в других общественных науках.

Работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» привела к сокрушительному разгрому марризма, обогатила советскую науку о языке новыми положениями и обеспечила ей все возможности дальнейшего продвижения вперед по пути внедрения марксизма в языкознание. В этой работе И. В. Сталин, отмечая творческий характер марксизма, выступил против начетнического, талмудистского подхода к отдельным формулам и выводам марксизма, которые не могут не изменяться с течением времени, не могут не заменяться новыми формулами и выводами, соответствующими новым историческим условиям.

Труды И. В. Сталина являются образцом творческого развития марксистско-ленинской теории. Вся его жизнь и деятельность — яркий пример самоотверженного служения народу, Коммунистической партии и социалистическому государству.

В. З. ПАНФИЛОВ

К ВОПРОСУ ОБ ИНКОРПОРИРОВАНИИ

*На материалах нивхского (гиляцкого) языка*

Проблема инкорпорирования связана с рядом узловых вопросов общего языкознания: с вопросом о соотношении слова и словосочетания, о границах слова в предложении (проблема отдельности слова), о форме словосочетания, о членении предложения и т. п.

Поэтому необходим детальный критический анализ самого понятия инкорпорирования как особого лингвистического явления. В настоящей статье мы ставим перед собой задачу дать анализ этого явления, в основном, на материалах нивхского языка, который до последнего времени считался одним из наиболее типичных и последовательных инкорпорирующих языков.

\*

Понятие инкорпорирования введено в языкознание В. Гумбольдтом в связи с классификацией языков по способу образования предложений, который он считал характеризующим форму языка вообще. В. Гумбольдт среди четырех типов языков выделяет как особый тип «в с е с о в о к у п л я ю щ и е» (einverleibende)<sup>1</sup>. Под именем всесовокупляющих языков<sup>2</sup> он и рассматривает те языки, которые позднее стали называться инкорпорирующими (термин «инкорпорирование» появился позднее).

В. Гумбольдт считал, что форма языка тесно связана с мышлением и оказывает влияние на умственное развитие народа — носителя соответствующего языка. Идеалистически трактуя форму языка, В. Гумбольдт видел в различных формах языка последовательные ступени на пути разрешения общечеловеческим духом одной и той же задачи: создать орудие образования мысли. Но, с другой стороны (следует на это обратить внимание!), он не считал возможным говорить о непосредственной трансформации одной формы языка в другую, хотя и характеризовал всесовокупляющую форму языка как форму менее совершенную и правильную, чем три остальные формы.

Рассматривая инкорпорирование в плане способов образования предложений, Гумбольдт имел в виду такие случаи, которые позднее<sup>3</sup> опреде-

<sup>1</sup> См. В. Г у м б о л ь д т, О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода, рус. перевод П. Билярского, СПб., 1859, стр. 282.

<sup>2</sup> В качестве таковых в этот период языковедам были известны только некоторые американские индейские языки. К изучению палеоазиатских языков тогда еще только приступили.

<sup>3</sup> Об этом см. ниже.

ялись как полное инкорпорирование, когда подлежащее и сказуемое якобы выражаются в одном составе словокомплекса.

В. Гумбольдт, выделяя в качестве двух различных типов языка аморфные, с одной стороны, и языки инкорпорирующие, с другой, тем самым резко противопоставлял примыкание и инкорпорирование как формальные приемы выражения синтаксических связей слов в предложении. В связи с этим он выдвинул положение о том, что при инкорпорировании, в отличие от случаев выражения синтаксических связей при помощи примыкания, происходит слияние в единое целое всех частей предложения.

В. Гумбольдт считал, что при инкорпорировании составные части предложения сливаются и с формальной стороны перестают быть словами, что в таких случаях форму слова приобретает все предложение в целом. Именно на этом основании В. Гумбольдт противопоставляет указанное грамматическое явление примыканию, при котором зависимые слова в предложении хотя и не получают особого оформления, однако не только выступают каждое со своим собственным значением, но и сохраняют в нем свою формальную самостоятельность. Следует при этом отметить, что В. Гумбольдт, говоря о наличии при инкорпорировании формы слова у всего предложения в целом и об отсутствии таковой у составляющих его знаменательных частей, основывается лишь на фонетической стороне явления, а именно на том, что при этом части предложения, не обособляясь друг от друга фонетически, произносятся в едином звуковом потоке.

В последующие годы инкорпорирование на длительный период почти совсем выпало из поля зрения лингвистов (если не считать Г. Штейнтала, на воззрениях которого мы здесь не останавливаемся). Вопрос об инкорпорации вновь поднимается только в конце XIX — начале XX в.<sup>4</sup> в работах ряда американских ученых в связи с изучением американских индейских языков и в работах русских ученых В. Г. Богораза, Л. Я. Штернберга и В. И. Иохельсона в связи с изучением так называемых палеоазиатских языков. Эти ученые в своих трудах развивали совершенно иное понимание инкорпорирования, чем то, которое мы находим у В. Гумбольдта. Если последний рассматривал инкорпорирование прежде всего как явление синтаксического порядка, то названные ученые, имея в виду так называемое частичное инкорпорирование, при котором происходит фонетическое слияние не всего состава предложения, а его отдельных членов, как основной момент рассматривали тот факт, что при инкорпорировании происходит нарушение фонетических границ слов. Абсолютизируя этот момент, они склонялись в конце концов к выводу, что инкорпорирование в указанных языках является процессом, аналогичным словосложению, скажем, в индоевропейских языках<sup>5</sup>.

В. Г. Богораз сущность инкорпорирования видит в том, что две или более основы включаются в одну общую морфологическую рамку, благодаря которой они и приобретают форму слова.

Такое включение, по мнению В. Г. Богораза, и свидетельствует о том, что объединяемые общим оформлением<sup>6</sup> основы сливаются в одно целое

<sup>4</sup> В этот период появился и входит в употребление и сам термин «инкорпорация» (incorporation — «включение»).

<sup>5</sup> См., например, В. Г. Богораз, Луораветланский (чукотский) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934, стр. 6.

<sup>6</sup> В чукотском языке такое оформление будет, как правило, суффиксально-префиксальным, когда конечной основой является основа глагольная, и в большинстве случаев только суффиксальным, когда конечная основа — имя существительное. В языках иного типа, как, например, в нивхском, тоже причисляемом к инкорпорирующим языкам, общее оформление у двух или более слов (основ) может быть, как правило, суффиксальным.

и выступают в предложении как одно слово. В отношении языков чукотской группы В. Г. Богораз в этой связи рассматривал также и гармонию гласных<sup>7</sup>. Как мы видим, В. Г. Богораз всецело основывался только на фонетических и формальных признаках, не рассматривая того, как же в действительности ведут себя в предложении компоненты так называемых инкорпорированных комплексов.

Ученик В. Г. Богораз С. Н. Стебницкий, в противоположность ему, общее оформление двух или более основ скорее рассматривал как следствие уже произошедшего слияния и еще в большей степени, чем В. Г. Богораз, подчеркивал словообразовательный характер инкорпорирования. Он даже считал, что образовавшаяся при инкорпорировании сложная основа приобретает свойства глагольности, предметности или качественности в зависимости от принадлежности к той или иной части речи последней ведущей основы<sup>8</sup>.

В плане словосложения рассматривал инкорпорирование (в индейских языках), как известно, также и американский ученый Э. Сепир<sup>9</sup>. Примеры на сложение, приводимые им, показывают, что сюда он включал как обычное словосложение, имеющееся в индоевропейских языках, так и инкорпорирование, передающее отношения слов в предложении. Следовательно, Сепир, так же как и В. Г. Богораз, С. Н. Стебницкий и другие, не проводил принципиального различия между словосложением обычного типа и инкорпорированием. В работах указанных ученых утверждалось не только формальное тождество со словом образовавшегося в результате слияния частей предложения инкорпорированного комплекса, но последний отождествлялся со словом и по существу. Этим самым полностью отрицалась синтаксическая природа процесса инкорпорирования.

Основанием для положения о словообразовательной природе инкорпорирования, повидимому, послужило то обстоятельство, что в указанных языках действительно есть значительное количество сложных слов, каждое из которых передает одно понятие и которые не отличаются от инкорпорированных комплексов в собственном смысле этого слова, если те и другие рассматривать изолированно, вне предложения, только с формальной стороны. Несостоятельность этой точки зрения, однако, нетрудно доказать.

Прежде всего, сторонники подобной теории упускали из вида, что инкорпорированные комплексы в собственном смысле этого слова вызываются к жизни только данным контекстом, что каждый из компонентов этих комплексов сохраняет семантическую самостоятельность в их составе и может быть членом очень большого количества других инкорпорированных комплексов, так что если эти последние причислять к сложным словам, то словарь инкорпорированных языков разрастается до бесконечности. Так, например, имеем: *майн'ы-ран* «большой дом», *майн'ы-койн'ын* «большая чашка», *майн'ы-ытв'ит* «большая лодка», *майн'ы-орав'ельан* «больной человек» и т. п., с одной стороны, и *экев-ран* «низкий дом», *чевит'ы-ран* «низкий дом», *майн'ы-ран* «большой дом», *отты-ран* «деревянный дом» и т. п., с другой (чукотский язык).

Далее. Если значение, передаваемое инкорпорированным комплексом в целом, адекватно значению его знаменательных компонентов, то того же нельзя сказать о сложных словах в собственном смысле этого слова. Ср. в чукотском: *ык'имыл* «водка», буквально: «злая вода» [*ык'* (осн.) «плохой, скверный», *имыл* < *мимыл* «вода»].

<sup>7</sup> См. В. Г. Богораз, Луораветланский (чукотский) язык, стр. 16.

<sup>8</sup> См. С. Н. Стебницкий, Из истории надежных суффиксов в корякском и чукотском языках, Л., 1941, стр. 48.

<sup>9</sup> См. Э. Сепир, Язык, М.—Л., 1934, стр. 51.

Наконец, знаменательные компоненты инкорпорированных комплексов, сохраняя свою семантическую самостоятельность, находятся друг к другу в определенных синтаксических отношениях (определения к определяемому, прямого дополнения к сказуемому и т. д.).

В 30-х годах в связи с кризисом теории стадийности, когда окончательно выяснилась несостоятельность морфологической схемы периодизации по стадиям и была сделана попытка дать стадиальную периодизацию развития языков по синтаксическому признаку, проблема инкорпорирования начинает занимать большое место в работах сторонников «нового учения» о языке и в первую очередь в трудах акад. И. И. Мещанинова. И. И. Мещанинов анализирует явление инкорпорирования, разбивая последнее на два типа: полное и частичное инкорпорирование.

Под словом-предложением (иначе — полным инкорпорированием) И. И. Мещанинов понимает «инкорпорирующие комплексы, передающие одним словом целое предложение»<sup>10</sup>. Такие комплексы, по мнению И. И. Мещанинова, не могут быть отождествлены ни с предложением, ни со словом в том их понимании, которое развивается применительно к индоевропейским языкам. Не являясь ни словом, ни предложением, «... инкорпорированный состав формально представляет собою слово, но по содержанию он является предложением»<sup>11</sup>. «В связи с этим, — продолжает далее И. И. Мещанинов, — в нем не будет тех же, как и в индоевропейских языках, частей речи (лексических категорий) и членов предложения (грамматических категорий синтаксиса)»<sup>12</sup>.

Игнорируя то обстоятельство, что инкорпорированные комплексы, во-первых, строятся из слов, употребляемых и в других комплексах, а во-вторых, что их составные компоненты сохраняют свою семантическую самостоятельность, И. И. Мещанинов пишет, что в таких комплексах мы имеем якобы нерасщепленное состояние слова и предложения и что они свидетельствуют о существовании в прошлом такого состояния языка, когда слово и предложение еще не были выделены как таковые<sup>13</sup>. А это, по мнению И. И. Мещанинова, даст основание рассматривать инкорпорирование как особую стадию, предшествующую стадии с членным составом предложения.

Такое слово-предложение, по мнению И. И. Мещанинова, построено согласно особым нормам мышления, по которым субъект, объект и их признаки не выделялись каждый в отдельности, мыслились диффузно. На следующем этапе развития языка, по мнению И. И. Мещанинова, вследствие якобы имевших место сдвигов в нормах мышления, происходит трансформация такого слова-предложения, его распад, в результате чего возникает частичное инкорпорирование.

При частичном инкорпорировании есть уже предложение в собственном смысле этого слова, так как субъект и предикат получают отдельное выражение. Но так как отношения между некоторыми словами в предложении продолжают выражаться их слиянием в одно слово, т. е. лексической формой, частичное инкорпорирование рассматривается И. И. Мещаниновым как пережиток ипостадийного состояния. Так, при частичном инкорпорировании происходит слияние слов, обозначающих предмет и его признаки, объект и признаки действия и само действие, что якобы вызвано к жизни особыми нормами мышления.

Несостоятельность такого объяснения genesis инкорпорирования очевидна, так как оно ведет к неразрешимым противоречиям. Действи-

<sup>10</sup> И. И. Мещанинов, *Общее языкознание*, Л., 1940, стр. 73.

<sup>11</sup> Там же, стр. 74.

<sup>12</sup> Там же, стр. 75.

<sup>13</sup> См. там же, стр. 111.



тельно, если слияние слов при инкорпорировании происходит потому, что в мышлении не выделены соответствующие понятия, то как могли возникнуть слова, обозначающие эти понятия и в иной связи выступающие вне этих комплексов? Если, далее, сливающиеся при инкорпорировании слова осознаются как таковые в их значимости, то как могут быть не выделены в сознании им соответствующие понятия? Очевидно также, что инкорпорирование не может предшествовать члененному предложению, так как для того, чтобы могли образоваться инкорпорированные комплексы, состоящие из слившихся слов, в языке должны были выработаться эти слова как таковые.

Позже И. И. Мещанинов инкорпорирование (полное и частичное) хотя и рассматривает как один из формальных способов выражения синтаксических отношений, однако он продолжает трактовать его как принципиально отличный от других синтаксический прием, утверждая, в частности, что в инкорпорированном комплексе нет синтаксических отношений в собственном смысле этого слова.

В стадильной периодизации, построенной с учетом лишь синтаксических признаков, инкорпорирование рассматривалось как стадия, предшествующая стадиям с члененным составом предложения. Инкорпорирующие языки считались стоящими на более раннем этапе единого глоттогонического процесса, чем языки аморфные. Примыкание, используемое в последних, таким образом, резко противопоставлялось инкорпорированию. Между тем примыкание и инкорпорирование уже при первом рассмотрении обнаруживают большую близость между собой. Поэтому в работе, где оба эти языковых явления рассматривались также и как совершенно самостоятельные синтаксические приемы, необходимо было указать, по каким же признакам они отличаются друг от друга. Такую попытку мы и находим в книге И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи» (М. — Л., 1945)<sup>14</sup>.

Таким признаком, по которому можно отличить инкорпорирование от примыкания, по мнению И. И. Мещанинова, является фонетическая невыделенность слов, сочетающихся путем инкорпорирования. Однако такой критерий едва ли можно признать достаточным. Прежде всего, трудно согласиться с тем, что фонетическая невыделенность отдельных знаменательных компонентов предложения сама по себе может свидетельствовать о том, что такие компоненты не выделяются в предложении как отдельные слова. Достаточно в этой связи, например, сослаться на французский язык, в котором «внутри синтагмы звуки образуют один непрерывный ряд, и словесные границы ничем не дают себя знать в области слогаделения»<sup>15</sup>, а в пределах ритмической группы имеется только одно ударение<sup>16</sup>. Как известно, фонетическая невыделенность слова во французском языке особенно ярко проявляется в так называемом *liaison*.

Ясно, таким образом, что различного рода фонетические явления (чередования согласных, гармония гласных и т. п.), которые имеют место в пределах инкорпорированного комплекса, сами по себе еще не дают основания для утверждения, что его компоненты, обладающие лексическим значением, не выступают в предложении как отдельные слова, что весь этот комплекс в целом должен рассматриваться как слово. Вполне возможно, что в пределах тех или иных словосочетаний, в том числе

<sup>14</sup> См. стр. 65, 67, 68.

<sup>15</sup> Л. В. Щ е р б а, Фонетика французского языка, 2-е изд., Л., 1939, стр. 78. [Акад. В. В. Виноградов также отмечает неустойчивость, подвижность фонетической грани между словом и фразой («тесной группой слов»). См. «Русский язык», М. — Л., 1947, стр. 9.]

<sup>16</sup> См. там же, стр. 85.

и таких, которые построены путем примыкания, их составные компоненты могут фонетически не выделяться как отдельные слова и тем не менее являться таковыми.

Специально проблеме инкорпорирования в чукотском языке были посвящены книга П. Я. Скорика «Очерки по синтаксису чукотского языка. Инкорпорация»<sup>17</sup> и его же статья, напечатанная в 1947 г.<sup>18</sup> Инкорпорацию, вслед за И. И. Мещаниновым, он считает «особым способом выражения синтаксических отношений», но, с другой стороны, вслед за С. Н. Стебницким, подчеркивает, что происходящее при инкорпорировании включение в одну грамматическую форму двух или более основ является следствием их слияния в одно целое, а не наоборот<sup>19</sup>.

По мнению П. Я. Скорика, о слиянии в одно слово компонентов инкорпорированного комплекса свидетельствует имеющая при этом место гармония гласных, в результате которой при наличии в одном из компонентов гласных сильного ряда гласные слабого ряда других компонентов переходят в соответствующие гласные сильного ряда. В итоге П. Я. Скорик дает следующее определение инкорпоративного комплекса: «... инкорпоративный комплекс представляет собой слияние в одно целое ряда основ, каждая из которых сохраняет свою индивидуальную семантику. Конечная основа такого комплекса является его стержневым компонентом, а все основы, примыкающие к стержневой слева, — зависимыми компонентами. Стержневой компонент выражает главное значение всего образования, а зависимые характеризуют, конкретизируют это главное значение»<sup>20</sup>.

В зависимости от принадлежности стержневой основы к той или иной части речи П. Я. Скорик делит инкорпоративные комплексы чукотского языка на три типа: именные, глагольные и наречные, соответственно с именами существительными, глаголами и наречиями в качестве ведущего компонента. Указывая, что инкорпорированный комплекс является с формальной стороны словом и ведет себя в предложении как одно целое, П. Я. Скорик не считает возможным говорить о компонентах инкорпорированного комплекса как о членах предложения<sup>21</sup>. Членом предложения, по его мнению, является весь инкорпорированный комплекс в целом. Таким образом, хотя он и объявляет инкорпорирование способом выражения синтаксических отношений, т. е. отношений членов предложения, тем не менее компоненты инкорпорированных комплексов, вслед за И. И. Мещаниновым, он не рассматривает как члены предложения. Инкорпорирование в синтаксическом плане противопоставляется в его работе такому способу выражения синтаксических отношений, при котором каждый из знаменательных компонентов инкорпорированного комплекса получает самостоятельное морфологическое оформление; последний способ имеет место в чукотском языке параллельно с инкорпорированием<sup>22</sup>.

В качестве вывода к наблюдениям над параллельным выражением синтаксических отношений в «Очерках по синтаксису чукотского языка» формулируется следующее положение: «Вместе с тем, те же синтаксические отношения в чукотском языке параллельно с инкорпорированием могут выражаться сочетанием самостоятельно оформленных слов, причем в по-

<sup>17</sup> См. П. Я. Скорик, Очерки по синтаксису чукотского языка. Инкорпорация, Л., 1948.

<sup>18</sup> См. П. Я. Скорик, Инкорпорация в чукотском языке как способ выражения синтаксических отношений, «Известия АН СССР. Отд-ние лит-ры и языка», 1947, вып. 6.

<sup>19</sup> См. П. Я. Скорик, Очерки по синтаксису чукотского языка..., стр. 47.

<sup>20</sup> Там же, стр. 45.

<sup>21</sup> См. там же, стр. 7.

<sup>22</sup> См. П. Я. Скорик, Инкорпорация в чукотском языке как способ выражения синтаксических отношений, стр. 528—529.

следнем случае различные синтаксические отношения получают дифференцированное формальное выражение в соответствующих лексико-грамматических формах»<sup>23</sup>.

Эти различные способы выражения синтаксических отношений рассматриваются автором как явления разностадиального порядка. Подобно И. И. Мещанинову, П. Я. Скорик считает возможным говорить об инкорпорировании как об иностадиальном пережитке на том основании, что, по его мнению, «... инкорпоративные комплексы представляют собой сохранившиеся от предшествующего состояния языка своеобразные лексико-синтаксические единицы»<sup>24</sup>. П. Я. Скорик считает, что развитая в современном чукотском языке система агглютинации выросла из инкорпорации<sup>25</sup>.

В вышедшей в 1952 г. после языковедческой дискуссии статье того же автора было подвергнуто развернутой критике понимание инкорпорирования как особой стадии в развитии языков<sup>26</sup>. Однако в этой статье П. Я. Скорик полностью сохраняет ту характеристику инкорпорирования как грамматического явления, которая давалась ему раньше.

\*

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса об инкорпорировании в нивхском языке.

Нивхский (гиляцкий) язык предметом специального изучения стал только в конце XIX в. Л. Я. Штернберг, которому мы обязаны первыми серьезными научными работами по нивхскому языку<sup>27</sup>, проблемой инкорпорирования специально не занимался. Имевшиеся у него отдельные высказывания по этому поводу позволяют думать, что отмечаемые им в нивхском языке случаи фонетического объединения (слияния) двух или более слов он склонен был рассматривать в плане словосложения<sup>28</sup>.

Эти случаи фонетического объединения (слияния) двух или более слов совершенно другое истолкование получили в трудах Е. А. Крейновича<sup>29</sup> — ученика Л. Я. Штернберга. Определив эти случаи как инкорпорирование, Е. А. Крейнович рассматривал указанное явление прежде всего в стадиальном плане.

Характеризуя нивхский язык в его современном состоянии, Е. А. Крейнович определяет его как язык синтетическо-агглютинирующий, имея в виду под синтетизмом инкорпорирование<sup>30</sup>. Инкорпорирование в со-

<sup>23</sup> П. Я. Скорик, Очерки по синтаксису чукотского языка..., стр. 168.

<sup>24</sup> Там же, стр. 174 (см. также стр. 168).

<sup>25</sup> См. там же, стр. 92.

<sup>26</sup> См. П. Я. Скорик, «Теория стадиальности» и инкорпорация в палеоазиатских языках, сб. «Прогресс вульгаризации и извращения марксизма в языковедении», ч. 2-я, М., 1952, стр. 136—156.

<sup>27</sup> См.: «Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора, собранных Л. Я. Штернбергом», СПб., 1901 [отт. из «Известий Импер. Акад. наук», т. XIII, № 4 (ноябрь 1900)]; «Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора, собранные и обработанные Л. Я. Штернбергом», СПб., 1908.

<sup>28</sup> См. «Образцы материалов по изучению гиляцкого языка и фольклора, собранных Л. Я. Штернбергом», стр. 433; см. по этому вопросу также стр. 393, 396, 398 и 399.

<sup>29</sup> См. Е. А. Крейнович, Нивхский (гиляцкий) язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934; его же, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, М.—Л., 1937.

<sup>30</sup> Самого термина «инкорпорирование» Е. А. Крейнович не употреблял. В соответствующих случаях он говорил о синтетизме, о синтетических сочетаниях, о синтетическом слове и т. п. в нивхском языке, как и в других инкорпорированных языках. См., например, его «Фонетику нивхского (гиляцкого) языка», стр. 35.

временном нивхском языке Е. А. Крейнович прямо возводит к первичному диффузному слову-предложению и рассматривает его как результат стадийной трансформации такого слова-предложения в итоге изменения норм мышления. Исходя из своей «теории» происхождения инкорпорирования в современном нивхском языке<sup>31</sup>, Е. А. Крейнович рассматривал его как наиболее древний способ выражения синтаксических отношений в предложении.

По Е. А. Крейновичу, в нивхском языке инкорпорирование имеет место при сочетании определения с определяемыми и прямого дополнения со сказуемым. Е. А. Крейнович утверждал, что инкорпорирование в этих случаях является всегда обязательным, что в предложении определение никогда не выступает отдельно от определяемого, а дополнение от сказуемого и что исключения из этих правил нам неизвестны<sup>32</sup>.

В противоположность Л. Я. Штернбергу, рассматривавшему инкорпорирование в современном нивхском языке как словообразовательный процесс, Е. А. Крейнович видел в инкорпорировании синтаксический процесс особого порядка, при котором соответствующие члены или части предложения сливаются в одно целое, в одно слово. Это, например, утверждается в отношении сочетания дополнения со сказуемым. Так, разбирая предложения *Нивх хадь* «Человек стрелял» и *Нивх нивх-к'адь* «Человек человека стрелял», Е. А. Крейнович писал: «Стоило только слову *нивх* изменить свою синтаксическую функцию и из подлежащего стать прямым дополнением, как оно немедленно слилось вместе со сказуемым в одно слово, изменив при этом начальный звук сказуемого из *х* в *к'*»<sup>33</sup>.

В этой связи Е. А. Крейнович придавал чрезвычайно большое значение чередованию начальных согласных, имеющему место в нивхском языке. «Чередования согласных звуков нивхского языка с и н т а к с и ч е с к и о б у с л о в л е н ы, — писал он. — Они происходят при соединении именных и глагольных основ в единые синтетические сочетания, строящиеся на основе указанного синтаксического процесса (инкорпорирования. — В. П.)... Чередования согласных звуков способствуют специальною оном с основами в целые синтетические сочетания, свидетельствуя этим самым об отношении слов друг к другу в предложении...»<sup>34</sup>. Говоря об инкорпорировании (синтетизме) в нивхском языке, Е. А. Крейнович специально не останавливался в этой связи на наличии одного общего оформления у сочетаний определения с определяемым, прямого дополнения со сказуемым как на признаке их слияния в одно слово.

В 30—40-х годах материалы нивхского языка широко используются в трудах акад. И. И. Мещанинова в связи с вопросами становления различных категорий языка (члены предложения, части речи и т. д.)<sup>35</sup>. Нивхский язык рассматривался им как типичный представитель такого этапа в развитии языков, который возникает непосредственно после распада слова-предложения, а именно: этапа частичного инкорпорирования.

Из положения об обязательности инкорпорирования определения, прямого дополнения, а также обстоятельства И. И. Мещанинов сделал ошибочный вывод об отсутствии их в нивхском языке как членов предло-

<sup>31</sup> См. Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, стр. 75—77.

<sup>32</sup> См. Е. А. Крейнович, Нивхский (гиляцкий) язык, стр. 194—195.

<sup>33</sup> Там же, стр. 194.

<sup>34</sup> Е. А. Крейнович, Фонетика нивхского (гиляцкого) языка, стр. 28.

<sup>35</sup> См. И. И. Мещанинов, Общее языкознание; его же, Члены предложения и части речи и др.

жения<sup>36</sup>. В связи с этим он выдвинул неправильное положение о том, что в нивхском языке нет прилагательных и наречий как частей речи, а также нет и условий для их формирования<sup>37</sup>.

И. И. Мещанинов в своих работах инкорпорирование в нивхском языке рассматривал как явление, аналогичное подобному же в других инкорпорирующих языках, и определял его по тем же признакам, по каким оно определялось в этих языках (инкорпорированный комплекс — слово с формальной стороны и выступает в предложении как одно слово; фонетические изменения в пределах инкорпорированных комплексов являются свидетельством слияния их компонентов в одно целое и т. д.). Точка зрения Е. А. Крейновича и акад. И. И. Мещанинова, согласно которой нивхский язык является типичным инкорпорирующим языком, получила признание во всех работах, касавшихся этого вопроса<sup>38</sup>.

\*

Прежде чем перейти к анализу того явления нивхского языка, которое определялось предшествующими исследователями как инкорпорирование, коротко остановимся на чередовании начальных согласных, которому в этой связи, как мы видели, придавалось исключительно большое значение. В нивхском языке чередования начальных согласных происходят:

1. Когда сочетаются полнозначные слова: а) определение, выраженное именем существительным, местоимением, причастием, прилагательным, числительным, и определяемое, выраженное именем существительным; б) прямое дополнение в абсолютном падеже и сказуемое.

2. При различного рода удвоениях (чередуются начальные согласные второй основы).

3. Когда служебные слова, суффиксы, частицы выступают при полнозначных словах или присоединяются к ним (чередуются начальные согласные этих служебных слов, суффиксов, частиц).

В указанных случаях имеют место следующие чередования:

<i>n</i> ~ <i>в</i> ~ <i>б</i>	<i>n'</i> ~ <i>ф</i>	<i>в</i> ~ <i>n</i> ~ <i>б</i>	<i>ф</i> ~ <i>n'</i>
<i>m</i> ~ <i>р</i> ~ <i>д</i>	<i>m'</i> ~ <i>рш</i>	<i>р</i> ~ <i>m</i> ~ <i>д</i>	<i>рш</i> ~ <i>m'</i>
<i>тв</i> ~ <i>з</i> ~ <i>дв</i>	<i>ч</i> ~ <i>с</i>	<i>з</i> ~ <i>тв</i> ~ <i>дв</i>	<i>с</i> ~ <i>ч</i>
<i>к</i> ~ <i>г'</i> ~ <i>г</i>	<i>к'</i> ~ <i>х</i>	<i>г'</i> ~ <i>к</i> ~ <i>г</i>	<i>х</i> ~ <i>к'</i>
<i>к</i> ~ <i>г'</i> ~ <i>г</i>	<i>к'</i> ~ <i>х</i>	<i>г'</i> ~ <i>к</i> ~ <i>г</i>	<i>х</i> ~ <i>к'</i> <sup>39</sup>

Как видно из приведенной таблицы, в нивхском языке начальные глухие непридыхательные смычные чередуются со звонкими щелевыми и звонкими непридыхательными смычными, а глухие придыхательные смычные — с глухими щелевыми; в свою очередь звонкие щелевые чередуются с глухими и звонкими непридыхательными смычными, а глухие щелевые — с глухими придыхательными смычными.

Эти чередования происходят по следующим закономерностям:

1. Начальные смычные *n*, *m*, *тв*, *к*, *к'*, *n'*, *m'*, *ч*, *к'*, *к'* переходят со-

<sup>36</sup> См., например, И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, стр. 28, 30, 145, 193.

<sup>37</sup> См. там же, стр. 30, 145.

<sup>38</sup> Из последних работ см., например, статью К. А. Новиковой и В. Н. Савельевой «К вопросу о языках коренных народностей Сахалина» (сб. «Языки и история народностей Крайнего Севера СССР», Л., 1953).

<sup>39</sup> Знак ' после графемы обозначает: 1) придыхательность глухих смычных; 2) заднеязычность сонанта *н*; в сочетании с буквой *г* (*г'*) знак ' обозначает звонкий заднеязычный щелевой *γ*. Знак ^ над графемой указывает на веларность соответствующего согласного.

ответственно в звонкие и глухие щелевые, если им предшествуют смычные *п, ть, т, к, к̄* и *дь*<sup>40</sup> или гласные *а, е, о, у, и, ы*, а также *й*.

2. Начальные неаспирированные смычные *п, т, ть, к, к̄* переходят в соответствующие звонкие смычные или звонкие щелевые, если им предшествуют сонанты *н', н, нь, л, м*. После сонанта *н'* начальные неаспирированные смычные, как правило, переходят в соответствующие звонкие смычные. Глухие аспирированные смычные в этих условиях либо остаются неизменными, либо переходят в соответствующие глухие щелевые.

3. Чередований начальных аспирированных и неаспирированных смычных не происходит, если им предшествуют щелевые *ф, р, рш, с, х, х̄*<sup>41</sup>.

4. Начальные звонкие и глухие щелевые *в, р, з, з', з̄', ф, рш, с, х, х̄* переходят соответственно в аспирированные и неаспирированные смычные, если им предшествуют глухие щелевые *ф, рш, с* и *х*, а также звонкий щелевой *р*.

5. Чередование звонких и глухих щелевых не происходит, если им предшествуют смычные *п, т, ть, к, к̄* и *дь*, гласные *а, е, о, у, и, ы*, а также *й*.

6. Начальные звонкие щелевые *в, р, з, з', з̄'* переходят в соответствующие звонкие смычные или остаются без изменения, если им предшествуют сонанты *н', н, нь, л, м*. Глухие щелевые *ф, рш, с, х, х̄* в тех же условиях либо переходят в соответствующие аспирированные смычные, либо остаются без изменения.

Таким образом, чередование начальных согласных в нивхском языке происходит в определенных комбинаторных условиях: начальные глухие аспирированные и неаспирированные смычные не чередуются, если им предшествуют щелевые, а звонкие и глухие щелевые не чередуются, если им предшествуют смычные, гласные, а также *й*.

Согласно общепринятому определению, даваемому инкорпорированию, компоненты инкорпорированного комплекса имеют одну общую лексическую форму. Этим самым предполагается, что каждый из них в отдельности таковой не имеет и не выступает в предложении как слово. Утверждается, что слово с формальной стороны представляет собой весь инкорпорированный комплекс в целом. Именно поэтому, указывая на инкорпорирование определения определяемым, прямого дополнения сказуемым и т. д., обычно говорят о происходящем при этом слиянии основ, а не слов. Рассмотрим, что представляют собой в этом отношении компоненты так называемого инкорпорированного комплекса в нивхском языке.

Как уже указывалось, в нивхском языке в качестве инкорпорированных комплексов предшествующими исследователями рассматривались сочетания определения с определяемым, прямого дополнения со сказуемым. Поскольку конечные компоненты этих комплексов получают соответствующее морфологическое оформление, здесь в вышеуказанном отношении мы рассмотрим только определение и прямое дополнение.

Определение в нивхском языке может выражаться: именами существительными, местоимениями (личными, указательными, возвратно-притяжательным, относительно-вопросительными, определительными и др.), качественными прилагательными<sup>42</sup>, глагольными основами, наречиями и числительными<sup>43</sup>. Определение, как правило, предшествует определе-

<sup>40</sup> Звонкие смычные, кроме *дь*, и глухие аспирированные смычные в конечном положении не встречаются.

<sup>41</sup> Звонкие щелевые, кроме *р*, как правило, в конечном положении не встречаются.

<sup>42</sup> В нивхском языке есть только качественные прилагательные.

<sup>43</sup> В нивхском языке особую часть речи образуют только количественные числительные.

тому<sup>44</sup>. Определение, выраженное именем существительным, не получает никаких показателей своего подчинения определяемому имени существительному. Определяющее имя существительное, таким образом, стоит в абсолютном падеже, совпадающем с его основой. Например: *ытык-рыф* (ам. д.)<sup>45</sup> «дом отца» (*ытык* «отец» стоит в абсолютном падеже). В этой же форме, т. е. в абсолютном падеже, выступает имя существительное в тех случаях, когда оно является подлежащим, например: *ытык пилдь* «отец большой».

Определяющее имя существительное может быть оформлено суффиксом множественного числа, а также соединительными суффиксами и вопросительными частицами, которые оно получает, выступая в функциях других членов предложения (подлежащего, косвенного дополнения, обстоятельства), например:

- 1) *Иф п'ытыкху-ный-тывда-ыздь* (ам. д.) «Он своих родителей летающего змея звал». Определение *ытыкху* «родителей» стоит в форме множественного числа (*ку-гу-г'у-ху* — суффикс множественного числа);
- 2) *к'ек'хо һыйкхо-зифку* (ам. д.) «лисиц и зайцев следы». Определения *к'ек'хо*, *һыйкхо* оформлены соединительным суффиксом *ко-г'о-хо-го*;
- 3) *к'ек'хе һыйкхе-зифку* (ам. д.) «лисицы и зайца следы». Определения *к'ек'хе*, *һыйкхе* оформлены соединительным суффиксом *ке-г'е-хе-ге*;
- 4) *һан'ло няг'рло-йисф* (ам. д.) «рыбчика ли, крысы ли место». К определению *һан'ло, няг'рло* присоединена вопросительная частица *ло(лу)*.

Таким образом, имя существительное, будучи определением, выступает в такой форме, в какой оно выступает в предложении и как самостоятельное слово, вне инкорпорированных комплексов.

Количественные числительные, являясь определениями, могут занимать как постпозиционное положение (числительные до пяти), так и препозиционное (числительные после пяти). В тех случаях, когда количественные числительные занимают препозиционное положение, они выступают, как и имена существительные, являющиеся определениями, в исходной форме, т. е. в абсолютном падеже. В этой же форме количественные числительные выступают и вне инкорпорированных комплексов, например в случаях, когда они являются подлежащими. Приведем примеры:

- 1) *Ни н'ах-ниг'ах вигудь* (ам. д.) «Я шесть человек послал» (*н'ах* «шесть» в абсолютном падеже, *ниг'ах* «человек» в дательном-винительном падеже);

- 2) *Н'ах мг'ета, мен к'е-г'уста* (ам. д.) «Шесть (человек) гребли, двое невод выбрасывали» (*н'ах* «шесть» в абсолютном падеже).

Таким образом, количественные числительные, являясь определениями в составе инкорпорированных комплексов, даются в такой форме, какую они имеют, выступая в предложении как отдельные слова вне инкорпорированных комплексов.

Качественные прилагательные, будучи определениями, также не получают никаких морфологических показателей в порядке согласования их с определяемыми. Но, выступая определением, большинство прила-

<sup>44</sup> Исключение в этом отношении представляют собой количественные числительные. Числительные до пяти преимущественно ставятся постпозиционно, после пяти — препозиционно.

<sup>45</sup> Здесь, как и в последующих случаях, мы сохраняем принцип написания через дефис компонентов так называемых инкорпорированных комплексов, с тем чтобы показать, в каких случаях предшествующими исследователями усматривалось инкорпорирование. В примерах в скобках мы даем следующие сокращения: ам. д. — амурский диалект, в.-с. д. — восточносахалинский диалект, з.-с. д. — западносахалинский диалект.

гательных присоединяют к своей основе специальный суффикс *ла*, которого они, как правило, не имеют, когда выступают в функции сказуемого. Следовательно, суффикс *ла* оказывается показателем их синтаксической функции — функции определения. Так, например, имеем: *урла-дыф* «хороший дом», но *тыф урдь* «дом хороший» (ам. д.).

В восточносахалинском диалекте к прилагательному в большинстве случаев присоединяется еще суффикс *н* или *н'*. Таким образом, прилагательное, будучи определением, получает специальный морфологический показатель, хотя и не в порядке согласования с определяемым. Следовательно, выступающие в этой функции прилагательные имеют свою лексическую форму. Об этом говорит также и то обстоятельство, что чистые основы прилагательных, а также и оформленные суффиксом *ла* или составным суффиксом *ла + н(н')* могут субстантивироваться и употребляться как имена существительные, а кроме того выступать в других синтаксических функциях в качестве отдельных самостоятельных слов.

В качестве примеров на субстантивацию можно привести следующие случаи: *ыкын* «старший брат» от *ыкы* «старший» (ср. *ыкы-ниэк* «старший человек»); *аскан'* «младший брат» от *аска(н')* «младший» (ср. *аска-ниэк* «младший человек»); *пилан'* «старший на охоте, вожак, большак, старейшина» от *пила* «большой»; *улан'* «гора» от *ула(н')* «высокий»; *к'авла* «жара» от *к'авла* «жаркий»; *паг'лан'* «солнце» от *паг'ла* «красный» и т. д.

Отмечаются случаи, когда прилагательные в этой форме выступают как обстоятельства и, следовательно, вне инкорпорированного комплекса, например: *Чола барк йальта, к'ола барк йальта* (ам. д.) «И бедно жили, и богато жили».

В качестве определений в нивхском языке очень часто выступают глагольные основы. Указывая в этих случаях на действие как на признак, а не на процесс самого действия, они имеют категориально другое лексическое значение, чем соответствующие глаголы. Таким образом, в этих случаях можно говорить о глагольных основах, имея в виду только их материальную сторону.

В восточносахалинском диалекте глагольные основы, будучи определениями, в большинстве случаев присоединяют суффикс *н* или *н'*. В амурском диалекте этот суффикс в настоящее время уже не присоединяется в соответствующих случаях, хотя некогда также употреблялся. Кроме того, глагольная основа в этой функции может присоединять видовременные суффиксы, например суффикс *г'ыт* (ам. д.), *г'ар* (в.-с.д.), указывающий на завершенность действия, *ны*, *ины* — суффиксы будущего времени, суффикс прилагательного *ла* и некоторые другие.

В той же форме, какую они имеют, являясь определениями, глагольные основы могут выступать в других синтаксических функциях вне инкорпорированных комплексов.

Так, иногда глагольная основа может быть сказуемым, например:

1) *Изыныг'ар йыг'зу, выныг'ар йыг'зу надъра* (ам. д.) «Вернулся бы, но не знаю; пошел бы, но не знаю, так»;

2) *Неманьг'а, меси тиирты-лыг'ы, пыт тиир-н'анагта* (ам. д.) «Старуха, у нас дров нет, завтра за дровами пойду».

Глагольные основы, оформленные суффиксом *н(н')*, а также и другими суффиксами, которые и ним могут присоединяться, когда они являются определениями, часто субстантивируются и выступают в функциях имен существительных (подлежащего, дополнения и др.); например:

1) *Кон'-ми-к'аврда* (в.-с. д.) «Про болезнь не слышала»; *кон'* «болезнь» от *к'онд* «болеть»;

2) *Тысух надънынын' к'аудь* (ам. д.) «В доме нет работница»; *надънынын'* «работник» от *надънындь* «работать»; *ны* — суффикс будущего времени;



3) *П'ихрыг'рынын'-нын'т нын'дъра* (ам. д.) «Себе слугу ищю» (буквально: «своего слугу, служителя ища иду»); *п'ихрыг'рынын'* от *п'(и)* «свой»; *ихры* ~ *иг'ры* — основа глагола *иг'рыдъ* «служить»; *ны* — суффикс будущего времени;

4) *к'ыла-жан* «беговая собака» (з.-с. д.); *жан* «собака»; *к'ыдъ* «побеждать», но *к'ылаку-мори* «2 беговые собаки» (*к'ыла* от основы глагола *к'ыдъ* + суффикс *ла*; *ку* — суффикс множественного числа; *мори* — числительное «два» для счета животных);

5) *п'ин* ~ *фин* «житель» от глагола *п'идъ* «находиться (в чем-нибудь)». См., например, *ла-фин* «житель Амура», *во-фин* «житель деревни» и т. п.

Приведенные выше факты показывают, что в той форме, какую глагольная основа имеет, являясь определением в составе инкорпорированного комплекса, она может употребляться в предложении самостоятельно, как отдельное слово в других синтаксических функциях.

В функции определения могут иногда также быть и наречия, например: *наф-ыр* (ам. д.) «теперешнее время», *наух-ку* (в.-с. д.) «сегодняшний день». Будучи определениями, наречия выступают в той же форме, какую они имеют, являясь обстоятельствами, которые, согласно также и традиционной точке зрения, не инкорпорируются сказуемым.

В отношении местоимений следует указать, что только личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа *ни*, *чи*, а также возвратно-притяжательное местоимение *п'и*, указывая на принадлежность предмета (мой, твой, свой), в большинстве случаев в настоящее время теряют свой конечный гласный. Исторически в этой функции они выступали в неусеченном виде, т. е. в форме своей основы, совпадающей с формой законченного слова. Теряя же в настоящее время в большинстве случаев гласный своей основы и передавая весьма обобщенное значение, указанные местоимения в этой функции по существу выступают как местоименные префиксы.

Из местоимений других разрядов только указательные *хыдъ*, *тыдъ* «этот», *кудъ*, *адъ* «тот» и некоторые определительные, относительно-вопросительные, отрицательные и неопределенные на *дъ*, будучи определениями, имеют такую форму, в какой они не могут выступать в тех случаях, когда фигурируют в других синтаксических функциях (подлежащего, дополнения, обстоятельства). Являясь определениями, эти местоимения теряют суффикс *дъ*. Однако следует указать, что отсутствие суффикса *дъ* в этих случаях, как будет показано ниже, не исключает возможности употребления данных местоимений как законченных слов в той же синтаксической функции определения.

В качестве прямых дополнений в нивхском языке фигурируют: 1) имена существительные; 2) местоимения: личные, указательные, определительные, возвратно-притяжательное и др.; 3) субстантивированные глаголы в форме на *дъ* (*ть*) (ам. д.), *д(ит)* (в.-с. д.); 4) количественные числительные. Прямое дополнение, как правило, предшествует сказуемому. Имена существительные, являясь прямыми дополнениями, также, как и определения, употребляются в абсолютном падеже, могут присоединять к себе суффикс множественного числа, соединительные суффиксы и другие форманты. Приведем примеры:

1) *Имн' ны-лумришку-гедъ* (ам. д.) «Они этих соболей взяли»; *лумришку* «соболей» стоит во множественном числе (*ку*~*г'у*~*гу*~*ху* — суффикс множественного числа);

2) *ног'ат мен к'уг'о пундъг'о-бот видъг'у* (ам. д.) «Тогда оба, стрелы и луки держа, пошли»; *к'уг'о пундъг'о* «стрелы и луки» оформлены соединительным суффиксом *ко*~*г'о*~*го*~*хо*.

Количественные числительные, будучи прямыми дополнениями, так же, как и имена существительные, выступают в абсолютном падеже, например: *Нуг'и ни н'а-мори-к'удь, ног'ат тый тёр-к'удь* «Я сначала двух зверей убил, затем еще трех убил».

В нивхском языке в весьма широких размерах происходит субстантивация глаголов в форме на *дь* (ам. д.), *д*, *нт* (в.-с. д.). В этой форме глаголы обычно являются в предложении сказуемыми. Субстантивируясь, они начинают вести себя как обычные имена существительные и выступают в тех же синтаксических функциях. Так же они ведут себя, будучи прямыми дополнениями. Приведем примеры:

1) *ног'ат иф-райудьг'у-урудох к'аудьра* (ам. д.) «Тогда его сочинения не читали» (*райудьг'у* «сочинения») от *райудь* «писать»; *ку-г'у-гу-ту* — суффикс множественного числа);

2) *Иф Балда-нумдь-эзмудь* (ам. д.) «Она жизнью Балды радуется» (*нумдь* «жить, житье»).

Личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа *ни* «я», *чи* «ты» и возвратно-притяжательное местоимение *н'и*, указывая на объект действия, в настоящее время в большинстве случаев теряют свой конечный гласный, хотя прежде также выступали в полной форме. Здесь, таким образом, как и в тех случаях, когда они указывают на принадлежность, мы по существу имеем дело уже с местоименными префиксами.

Остальные личные местоимения, а также местоимения указательные, определительные и вопросительные, будучи прямыми дополнениями, выступают в той же форме, какую они могут иметь, употребляясь в других синтаксических функциях, например подлежащего. Будучи прямыми дополнениями, они также могут присоединять к себе некоторые суффиксы, например соединительные.

Приведенные выше данные, на наш взгляд, убедительно показывают, что определение и прямое дополнение, которые, согласно традиционной точке зрения, образуют инкорпорированные комплексы соответственно с определяемым и сказуемым, выступают в этих комплексах в такой форме, в какой они могут выступать и выступают в других синтаксических функциях как отдельные самостоятельные слова. Кроме того, они присоединяют к себе такие форманты, которые обычно оформляют самостоятельно выступающие в предложении слова. Таким образом, можно сомневаться в том, что определение и прямое дополнение, входя в состав инкорпорированных комплексов, якобы не выступают в предложении как отдельные слова. В этой связи особо заслуживают быть отмеченными факты, которые показывают, что ту же форму, которую эти зависимые компоненты имеют в составе инкорпорированных комплексов, определения и прямое дополнение имеют и тогда, когда они находятся в предложении вне инкорпорированных комплексов. А такие случаи, вопреки утверждению Е. А. Крейновича, в нивхском языке не только имеют место, но и весьма обычны. Здесь мы имеем в виду такие случаи, когда определение не примыкает непосредственно к определяемому, а прямое дополнение к сказуемому и, следовательно, когда об их слиянии в одно слово (в чем видят сущность инкорпорирования) соответственно с определяемыми и сказуемым не приходится говорить. Рассмотрим эти случаи.

1. Определение не имеет непосредственного примыкания к определяемому: а) когда между ним и определяемым вставлено какое-либо слово или когда к одному определяемому относится несколько определений; б) когда одно определение относится к двум или более определяемым и, следовательно, непосредственно примыкает только к первому из них. В этом последнем случае не происходит также и чередования начальных согласных первого определяемого. Приведем примеры на оба эти случая:

1) *Токоу т'улф иньныфтох мале'огут пхатъпхатъ мивух пандь-опут хундидь* (ам. д.) «С огорода для того, чтобы зимой есть, много разного, из земли растущего, собрав оставили». В этом предложении между качественным определением *пхатъпхатъ* «разный» и определяемым *пандь* «растущее» (здесь субстантивация глагольной формы *пандь* «расти») вставлено обстоятельственное слово *мивух* «из земли»;

2) *(хутку леле аскак п'рийвить* (з.-с. д.) «Ее мужа самый младший брат приближается». Здесь между именным определением *хутку* «ее мужа» и определяемым *аскак* «младший брат» вставлено неизменяемое наречное слово *леле* «очень, даже, самый»;

3) *ног'орот толф паг'ла пулкеулку-редиска пандь* (ам. д.) «Потом летом красная круглая редиска выросла». *Паг'ла* «красная», *пулкеулку* «круглая» являются определениями — однородными членами к слову *редиска* (ср. *паг'ладь* «красный» в функции сказуемого).

Первое определение, выступая в обычной инкорпорируемой форме, непосредственно примыкает ко второму определению, однако не вызывает имеющих место при этих комбинаторных условиях чередований [*паг'ла* исторически оканчивалось на сонант *н'(н)*, поэтому в данном случае должно было бы быть *паг'ла-булкеулку-редиска*] и, следовательно, находится вне комплекса;

4) *Иф леле матки пхов-чо-нрыныдь* (ам. д.) «Он увидел очень маленькую свернувшуюся рыбку». *Леле матки* «очень маленькую» и *пхов* «свернувшуюся» являются определениями к *чо* «рыба». Первое из них выступает в обычной инкорпорируемой форме (ср. *маткидь* в функции сказуемого), но находится вне комплекса: долженствующего иметь место при данных комбинаторных условиях чередования начального смычного второго определения (*п~б*, так как *матки* прежде оканчивалось на сонант) не происходит;

5) *Ни пила пиула-к'отр-к'удь* (ам. д.) «Я большого черного медведя убил». *Пила* «большой», *пиула* «черный» являются определениями — однородными членами к слову *к'отр* «медведь». К определяемому примыкает последнее из них. Первое определение, выступая в той же форме, что и последнее, находится вне инкорпорированного комплекса (см. отсутствие чередований как признака инкорпорирования на границе первого и второго определения);

6) *Ват'ис йайн' пилкари-т'уг'рму прийд* (в.-с. д.) «Приплыл большой железный (буквально: «сделанный из железа») пароход». *Ват'ис йайн'* «сделанный из железа» (*ват* «железо», *кис~г'ис~гис~хис* — суффикс творительного падежа, *йайн'* — основа глагола *йайнт* «делать») и *пилкари* «большой» являются определениями к *т'уг'рму* «пароход». Первое определение *йайн'*, имеющее обычную инкорпорируемую форму, находится вне комплекса: на границе определений происходит стечение сонанта со смычным, однако чередования не происходит;

7) *Нын'-во лаг'аин матки-туг'о эриг'о йидь* (ам. д.) «Около нашей деревни есть маленькие озера и речки». Определение *матки*, выступая в обычной инкорпорируемой форме, относится к двум определяемым — *ту* «озеро», *эри* «река» (*ко~г'о~го~хо* — соединительный суффикс), но не образует ни с одним из них инкорпорированного комплекса (см. отсутствие чередований начального смычного первого определяемого);

8) *ны'уг' му-ыр-малг'ола-тыфко фабрикаг'о-дэскут надь* (ам. д.) «В это военное время много заводов и фабрик было разрушено». Определение *малг'ола*, выступая в обычной инкорпорируемой форме (ср. *малг'одь* «много, многие» в функции сказуемого), относится к двум определяемым: *тыф* «дом» и *фабрика* «фабрика» (*ко~г'о~го~хо* — соединительный суффикс). Непосредственно примыкая к первому из них, оно не вызывает чередования

его начального согласного, которое должно было бы иметь место при данных комбинаторных условиях, и, следовательно, не образует инкорпорированного комплекса также и с ним;

9) *Og'lagu ыкы-умгуго уткүго п'-нигг'-битг'ьдох имн'-дот имн'-дыуныдь* (ам.д.) «Дети будут помогать старшим мужчинам и женщинам своей нивхской грамоте учиться». Определение *ыкы* «старший» выступает в обычной инкорпорированной форме (ср. *ыкыдь* «старший» в функции сказуемого). Оно относится к *утк'у* «мужчина» (*го* — соединительный суффикс, употребляемый при перечислении однородных членов) и к *умгу* «женщина» (*го* — тот же суффикс), непосредственно примыкая к первому из них.

II. Прямое дополнение не имеет непосредственного примыкания к сказуемому: а) когда между ними вставлено какое-либо слово, б) когда к одному сказуемому относятся несколько прямых дополнений. Во втором случае к сказуемому непосредственно примыкает последнее прямое дополнение, вызывая при соответствующих комбинаторных условиях чередование его начального согласного. Приведем примеры на каждый из этих случаев:

1) *han'an ыу намагур мыдь* (ам.д.) «Тогда их голос хорошо слышал». В этом предложении прямым дополнением является *ыу* «голос» (в абсолютном падеже), сказуемым — *мыдь* «слышал». Между ними вставлено обстоятельство образа действия *намагур* «хорошо»;

2) *If-hak at zed'ra* (ам.д.) «Его шапку тигр взял». *If-hak* «его шапку» (*иф* «он, его»; *hak* «шапка» в абсолютном падеже) является прямым дополнением к сказуемому, выраженному глаголом *zed'* «держат, брать» (*та~ра~да* — утвердительный суффикс). Между ними вставлено подлежащее *at* «тигр»;

3) *Ny-ытык поско меучуго, озтг'о hak'xo-ged'* (ам.д.) «Мой отец матерью, ружье, порох и шапку купил». Прямыми дополнениями, выраженными именами существительными в абсолютном падеже, являются: а) *пос* «материя», б) *меучу* «ружье», в) *озт* «порох, лекарство», г) *hak'* «шапка» (*ко~г'о~го~хо* — соединительный суффикс). К сказуемому, выраженному глаголом *g'ed'* «брать, покупать», непосредственно примыкает только последнее дополнение, вызывая чередование его начального согласного (*g'~г*)<sup>46</sup>;

4) *hute'un p'i-k'uz'gunu put'gunu-t'ot mag'dg'un* (з.-с. д.) «Они свои луки и стрелы принесли». *K'у* «стрелы», *пут* «луки» (*г'уну* — суффикс множественного числа) являются прямыми дополнениями (в абсолютном падеже); *риот mag'dg'un* «принесли» (буквально: «неся пришли») — сказуемое. К нему непосредственно примыкает дополнение *путг'уну* «луки», вызывая чередование начального согласного первого глагола, входящего в состав сказуемого (*ри~т'*).

Приведенные выше данные и их анализ показывают, что выступающие в составе так называемых инкорпорированных комплексов зависимые компоненты (определение и прямое дополнение) имеют форму законченных слов. Об этом свидетельствует, во-первых, то, что в этой форме они могут употребляться и употребляются как отдельные слова в других синтаксических функциях, а во-вторых, то, что в той же форме и в тех же синтаксических функциях (определения и прямого дополнения) они могут выступать и выступают вне инкорпорированных комплексов.

Во многих случаях определение и прямое дополнение в составе инкорпорированных комплексов действительно выражаются основами соответствующих слов. Однако, как было показано, в нивхском языке основа

<sup>46</sup> Суффикс *ко~г'о~го~хо* прежде оканчивался на сонант *н*.

слов совпадает с законченным словом, являясь одной из грамматических форм этих слов. Таким образом, форма, которую зависимые компоненты имеют в составе инкорпорированных комплексов, сама по себе отнюдь не говорит о том, что эти компоненты не выступают в предложении как отдельные слова, а сливаются с ведущими компонентами в одно слово. Вероятнее всего обратное, а именно, что при так называемом инкорпорировании в нивхском языке на самом деле слияния определения с определяемым, прямого дополнения со сказуемым в одно слово не происходит.

Выше, давая обзор взглядов ряда ученых на природу инкорпорирования, мы уже отмечали, что выдвинутое ими положение, согласно которому инкорпорированный комплекс представляет собой одно слово и ведет себя в предложении как отдельное слово, основано не на анализе действительной роли его компонентов в предложении, а зачастую только на фонетических признаках. Более того, как мы видели, в большинстве работ, посвященных вопросу об инкорпорировании, инкорпорированные комплексы приводятся вне предложений, как нечто уже готовое и сложившееся. Но ясно, что установить, являются ли те или иные отрезки связной речи (в данном конкретном случае знаменательные компоненты инкорпорированных комплексов) отдельными словами или они сливаются в одно слово, мы можем только в том случае, если будем рассматривать их в связной речи, т. е. в предложении, если будем рассматривать их в связи с другими словами предложения.

Проф. А. И. Смирницкий, останавливаясь на признаках, по которым отдельное слово выделяется в предложении, писал: «... отдельные слова, как особые единицы языка, характеризуются, помимо прочего, особыми отношениями друг к другу в связной речи и специфическими отношениями к различным другим образованиям (несловам)»<sup>47</sup>. Очевидно, что наиболее важным признаком каждого слова как самостоятельной единицы в составе связной речи (предложения) следует считать наличие у него синтаксических связей с другими словами предложения. По этому признаку любое сочетание отдельных слов отличается от сложных слов, в том числе и таких, в которых каждый из компонентов имеет форму законченного слова.

Рассматривая с этой стороны так называемые инкорпорированные комплексы нивхского языка, нетрудно обнаружить, что каждый из их компонентов может иметь самостоятельные синтаксические связи с другими словами-предложениями, находящимися вне комплексов, и, следовательно, выступает как отдельное слово. Продемонстрируем это на каждом из типов комплекса.

Именной комплекс. В большинстве случаев, когда к определяемому относятся два или более определения, чередований не происходит не только на границе определений, но и на границе последнего определения с определяемым.

Однако, если одно из определений обозначает более постоянный признак, то оно, примыкая к определяемому, при наличии соответствующих комбинаторных условий вызывает чередование начального согласного определяемого. Таким образом, по традиционной точке зрения, здесь происходит инкорпорирование. Но тем не менее, несмотря на слияние в одно слово с первым определением, определяемое имеет синтаксические связи с другими определениями, выступающими вне этого инкорпорированного комплекса. Так, например, имеем:

1) *Иф матькилк чан'-солн'инонк'-ршыприныр итть* (ам.д.) «Он обещал

<sup>47</sup> А. И. Смирницкий, К вопросу о слове (Проблема «отдельности» слова), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 186.

принести маленького белого олененка». В этом предложении *мацькилк* «маленький» и *чан'* «белый» выступают определениями к слову *чолн'-инок* «олененок». Начальный смычный определяемого чередуется под влиянием предыдущего сонанта *н'* последнего определения (*ч~с*). Согласно традиционным взглядам, здесь имеет место «инкорпорирование»: слово *ч'ан'* сливается в одно слово со словом *ч'олн'-инок*. Но как мы видим, это последнее имеет синтаксические связи со вторым определением *мацькилк*, находящимся вне «комплекса» (его конечное *к* не вызывает чередования начального *ч* второго определения);

2) *Йан' кылкари ват-џах-тёкт* (в.-с.д.) «Он длинное железное копьё сломал». *Кылкари* «длинный» и *ват* «железный» являются определениями к слову *к'ах* «копьё». Начальный смычный этого слова чередуется (*к'~џ*) под влиянием конечного *т* предыдущего определения. Но утверждать, что *ват-џах* является инкорпорированным комплексом так же, как и в предыдущем случае, не приходится: *к'ах* (*џах*) «копьё» сохраняет синтаксическую связь со словом *кылкари* «длинный», выступающим в предложении самостоятельно.

Поскольку, как следует из приведенных примеров, определяемое в составе инкорпорированного комплекса выступает в предложении как отдельное слово, то ясно, что таковым является также и определение. Но можно привести дополнительные примеры, которые показывают, что и определение, будучи в составе инкорпорированного комплекса, сохраняет свои синтаксические связи с другими, самостоятельно выступающими в предложении словами.

В этом отношении особенно показательны случаи, когда определение выражено глагольной основой. В таких случаях глагольная основа, будучи определением и сливаясь фонетически с определяемым, сохраняет те синтаксические связи, которые имеет соответствующий глагол, выступающий в функции сказуемого, а именно — связи с дополнениями и обстоятельствами. Приведем примеры:

1) *Ниаз н'ын' гг'ир лыт-к'ег'ир н'ыньк-ытудь* «Низ из волоса сделанной сеткой лицо закрыла». Основа глагола *лытть* «делать» выступает определением к косвенному дополнению *к'ег'ир* «сеткой» (*к'е* «сетка», *кир~г'ир~гир~хир* — суффикс творительного падежа) и «инкорпорировается» этим словом. Но тем не менее к нему относится косвенное дополнение *н'ын'гг'ир* «из волоса» (*г'ир* — суффикс творительного падежа), которое выступает в предложении самостоятельно;

2) *Наф тракторкир хыз-мигух леп малг'огур пандь* (ам. д.) «Теперь на трактором вспаханной (буквально: вскопанной) земле много хлеба растёт». Основа глагола *хыздь* «копать» является определением к слову *мигух* «на земле» (*ух* — суффикс местно-исходного падежа) и «инкорпорировается» этим словом. Но к нему относится косвенное дополнение *тракторкир* «трактором» (*кир~г'ир~гир~хир* — суффикс творительного падежа), которое выступает в предложении самостоятельно;

3) *Ни н'-ытхин н'-ымхин-ху-ниех-н'анхт вивунт* (в.-с.д.) «Я моего отца и мою мать убившего человека искать иду». *Ху* — основа глагола *иг'уд* «убить» — является определением к слову *ниех* «человек» и «инкорпорировается» им. Но тем не менее эта основа поясняется двумя прямыми дополнениями *н'-ытхин* «мой отец» и *н'-ымхин* «моя мать» (*хин* — соединительный суффикс). Последнее из них «инкорпорировается» глагольной основой («инкорпорирую» прямое дополнение, глагол *иг'уд* изменяется на *худ*). Первое же выступает в предложении самостоятельно.

Глагольный комплекс. Выше нами уже приводились примеры, когда к одному сказуемому относятся два или более прямых дополнения. В этих случаях, согласно традиционной точке зрения, про-

исходит инкорпорирование (слияние) сказуемого и непосредственно примыкающего к нему прямого дополнения (см. чередование начального согласного сказуемого). Но такое инкорпорированное сказуемое имеет синтаксические связи с остальными прямыми дополнениями. В случаях, когда к прямым дополнениям относится одно определение, синтаксические связи имеет также и инкорпорированное прямое дополнение. Приведем примеры:

1) *hy ug'mu-yrux malg'ola-zavodg'o fabrikaq'o-dëskuthad'ь* (ам. д.) «В это военное время много заводов и фабрик было разрушено». *Zavodg'o* и *fabrikaq'o* (*g'o* — соединительный суффикс) являются прямыми дополнениями к сказуемому *zëskuthad'ь* (состоит из деепричастной формы глагола *zësk'tь* «ломать» и глагола *had'ь* «быть»). Это сказуемое «инкорпорировует» последнее прямое дополнение (см. чередование начального согласного сказуемого *z~d'ь*). Но, несмотря на это «инкорпорирование», последняя часть (сказуемое) такого инкорпорированного комплекса сохраняет синтаксическую связь с первым прямым дополнением, выступающим в предложении самостоятельно, а первая его часть (прямое дополнение) сохраняет синтаксическую связь с относящимся к нему определением *malg'ola* (от *malg'od'ь* «много, многие»), которое, являясь определением также и к первому прямому дополнению, непосредственно к нему примыкает.

2) *Kylan'a K'ochak-n'yrë'yrhara k'ochara n'yn'khara-byvd'ь* (ам. д.) «Змея Кхочака в спину, шею и морду укусила» (буквально: «Кхочака спину, шею и морду укусила»). *N'yrë'yr* «спина» (*hara* — соединительный суффикс при однородных членах), *k'os* «шея», *n'yn'kh* «морда» являются прямыми дополнениями к сказуемому, выраженному глаголом *byvd'ь* «кусать». Это сказуемое «инкорпорировует» последнее прямое дополнение (см. чередование начального согласного сказуемого *v~b*). Но, несмотря на это «инкорпорирование», последняя часть такого инкорпорированного комплекса сохраняет синтаксические связи с остальными прямыми дополнениями, выступающими в предложении самостоятельно, а первая его часть (прямое дополнение) сохраняет синтаксическую связь с относящимся к нему определением *K'ochak* (кличка собаки) (которое, являясь также определением и к двум другим прямым дополнениям, непосредственно примыкает к первому из них).

Анализ материалов, приведенных нами в связи с вопросом об инкорпорировании, показывает, таким образом, что в нивхском языке каждый из знаменательных компонентов так называемых инкорпорированных комплексов (именных и глагольных) сохраняет семантическую самостоятельность и ведет себя в предложении как отдельное слово. Свидетельством этого является то, что каждый из них может иметь самостоятельные синтаксические связи с другими словами предложения, выступающими в последнем вне инкорпорированных комплексов. Отсюда следует, что инкорпорирования, понимаемого как слияние двух или более знаменательных членов в одно слово в целях выражения определенных синтаксических отношений (определения к определяемому, прямого дополнения к сказуемому), в нивхском языке нет.

В нивхском языке, действительно, имеют место регулярные фонетические изменения (сандхи) на стыке слов, выражающих определение и определяемое, прямое дополнение и сказуемое, однако эти изменения происходят именно на границе отдельных слов и, как мы видели, отнюдь не свидетельствуют о том, что эти слова якобы сливаются в одно слово. Фонетические изменения говорят лишь о том, что в этих случаях поток

речи в нивхском языке делится не на слова, а на группы слов<sup>48</sup>, образующих определенные синтаксические сочетания (определения и определяемого, прямого дополнения и сказуемого). Эти фонетические изменения при наличии одних и тех же синтаксических отношений происходят только в определенных комбинаторных условиях.

Как уже отмечалось выше, одним из оснований для утверждения о том, что инкорпорированный комплекс представляет собой одно слово, послужило то обстоятельство, что он оформляется такими же формантами, как и отдельное слово. При анализе инкорпорированных комплексов нивхского языка выяснилось, что в сочетании определения с определяемым падежное оформление получает только определяемое, определение же, независимо от того, какой частью речи оно выражено, не присоединяет к себе падежных суффиксов. В глагольном комплексе прямое дополнение, как мы видели, также выступает в абсолютном падеже, совпадающем с основой. Таким образом, зависимый член этих словосочетаний не получает никаких показателей в порядке выражения его отношений к ведущему члену. Правда, зависимые члены таких словосочетаний, как было показано, могут получать некоторые форманты (суффикс множественного числа, соединительные суффиксы, частицы), однако эти последние не указывают на отношения зависимых членов к членам ведущим<sup>49</sup>.

Но тем не менее, как было обнаружено в ходе анализа инкорпорированных комплексов, такая неформальность зависимых компонентов не свидетельствует об их слиянии в одно слово с ведущими компонентами, якобы используемом как средство выражения их синтаксических отношений, и отнюдь не говорит о том, что они не выступают в предложении как отдельные слова. Отсюда с неизбежностью следует вывод, что во всех этих случаях, т. е. при сочетании определения с определяемым, прямого дополнения со сказуемым, синтаксические отношения выражаются примыканием, при котором, как известно, также отсутствует какое-либо другое формальное выражение синтаксических отношений, кроме порядка слова<sup>50</sup>. Таким образом, определение и определяемое, прямое дополнение и сказуемое образуют в нивхском языке не инкорпорированные комплексы, а словосочетания, построенные на примыкании.

Как известно, для словосочетаний, построенных на примыкании, также является характерным, что их отношения к другим словам или словосочетаниям предложения выражаются при помощи тех же формантов, что и отношения отдельных слов. Но это не уничтожает того принципиального различия, которое существует между словом и словосочетанием. Ясно, что оформление всего словосочетания в целом такими же формантами, какими оформляется и отдельное слово, само по себе еще не дает оснований для того, чтобы считать первое словом, хотя бы и с формальной стороны, как это делал целый ряд языковедов, выделявших инкорпорирование в качестве особого синтаксического приема.

<sup>48</sup> Ср. с французским языком, где, как отмечал Л. В. Щерба, звуковой поток делится не на слова, а на группы слов («Фонетика французского языка», 2-е изд., стр. 78).

<sup>49</sup> Некоторые из них, например соединительные суффиксы, указывают на отношения этих членов к другим словам предложения, находящимся вне «комплекса». См., например, случаи, когда сказуемое имеет несколько прямых дополнений, являющихся однородными членами (стр. 22 настоящей статьи).

<sup>50</sup> См., например, следующее определение примыкания в работе Е. И. Убрятовой: «Примыкание — способ связи слов, при котором отсутствуют ее специальные оформители, и отношения между членами словосочетания выражаются только их местоположением (локализацией)» (Е. И. Убрятова, Исследования по синтаксису якутского языка, I. М.—Л., 1950, стр. 31).



Что касается нивхского языка, то оформление только последнего члена словосочетания морфологическими показателями, выражающими синтаксически отношения всего словосочетания, имеет место в нем и в других случаях. Так, в нивхском языке очень часто при наличии в предложении двух или более однородных членов — косвенных дополнений или обстоятельств соответствующий падежный суффикс присоединяется только к последнему из них. Например, в предложении *hog'at og'lagu pazko tиг'ркогир фындь* (ам. д.) «Тогда дети камнями и палками бросали» суффикс творительного падежа *кир~г'ир~гир~хир* оформляет только последнее косвенное дополнение (*тиг'ркогир* «палками»), первое же стоит в абсолютном падеже (*пазко* «палками», *ко~г'о~го~хо* — соединительный суффикс).

Общее падежное оформление в нивхском языке получает также и причастный оборот, выступающий в предложении в функции одного из его членов. Так, например, в предложении *hog'on'an иф хыз-мивух леп хыскур пандь* (ам. д.) «Поэтому на им вскопанной земле мало хлеба росло» как одно целое оформляется суффиксом местно-исходного падежа *-ух* причастный оборот *иф хыз-мивух* «на им вскопанной земле» (*иф* «он» в абсолютном падеже, *хыз* «вскопанная» — основа глагола *хыздь* «копать», *мивух* «земле» в местно-исходном падеже), каждый из членов которого выступает как отдельное слово. Таким образом, сочетания определения с определяемым, прямого дополнения со сказуемым в этом отношении для нивхского языка не представляют собой ничего необычного.

Итак, анализ соответствующих материалов показывает, что в нивхском языке нет никаких оснований для выделения противопоставляемого примыканию особого синтаксического приема инкорпорирования. Как было показано, во всех случаях, где видели инкорпорирование [т. е. такое слияние слов (основ), при котором каждое из них перестает выступать в предложении как отдельное слово, а таковым является получившийся в результате слияния инкорпорированный комплекс], мы имеем на самом деле синтаксические сочетания отдельных слов, употребляемых в качестве одного из членов предложения (определения, определяемого, прямого дополнения, сказуемого). Вместе с тем обнаруживается также вся неосновательность и ошибочность точки зрения, согласно которой в этих явлениях нивхского языка якобы проявляется такое предшествующее стадияльное состояние, когда в языке еще не были выделены как отдельные категории слово и предложение.

Нивхское инкорпорирование по ряду моментов существенным образом отличается от инкорпорирования в близко родственных языках чукотской группы (чукотском, корякском, ительменском). Прежде всего, в этих языках инкорпорированный комплекс в большинстве случаев имеет префиксально-суффиксальное оформление, а не только суффиксальное, как это имеет место в нивхском языке. Далее, если в нивхском языке зависимые компоненты выражаются основами слов, которые совпадают с законченными словами и могут выступать в предложении вне инкорпорированных комплексов, то в указанных языках основы слов в большинстве случаев не выступают в предложении как законченные слова, вне инкорпорированных комплексов<sup>51</sup>. Наконец, весьма существенным является также и то обстоятельство, что в языках чукотской группы, в отличие от нивхского, в весьма широких размерах происходит оформление инкорпори-

<sup>51</sup> См. выше, стр. 8—9. Однако в чукотском языке, например, зависимый компонент в составе именного комплекса может выступать в некоторых случаях в форме одного из косвенных падежей.

рованных комплексов не только словоизменительными, но и словообразовательными аффиксами.

Однако все это само по себе не дает оснований считать, что инкорпорированные комплексы, например чукотского языка, являются результатом слияния в одно целое нескольких основ, что каждый из таких инкорпорированных комплексов с формальной стороны представляет собой одно слово и ведет себя в предложении как одно слово, а его компоненты таковыми не являются. Для подобных утверждений не дает оснований, например, и то обстоятельство, что чукотские инкорпорированные комплексы могут оформляться словообразовательными аффиксами, так как последними в некоторых языках могут оформляться и словосочетания.

Но вопрос о том, действительно ли компоненты инкорпорированного комплекса в чукотском языке не выступают в предложении как отдельные слова, а как таковое ведет себя в предложении весь инкорпорированный комплекс в целом, в данном случае можно решить только путем установления роли этих компонентов в предложении. Данная сторона вопроса, как мы уже отмечали в обзоре работ, касающихся проблемы инкорпорирования, совершенно не затрагивалась в них, в том числе и в тех, которые были посвящены специально инкорпорированию в языках чукотской группы. Между тем анализ показывает, что и в указанных языках инкорпорированные комплексы имеют такие черты, которые характеризуют их как словосочетания, хотя и не обычного порядка, и которые противостоят тому, что они якобы являются с формальной стороны словами и ведут себя в предложении как одно целое, отличаясь от обычных слов только сложным характером своей семантики. Не имея здесь возможности подробно останавливаться на данном вопросе, укажем в этой связи хотя бы на то, что и в чукотских языках каждый из компонентов инкорпорированного комплекса может иметь синтаксические связи с другими словами, выступающими в предложении вне комплекса, и что, следовательно, и здесь наличие одного общего морфологического оформления у всего такого комплекса не мешает его членам образовывать словосочетания с другими словами предложения. В связи со всем вышесказанным важно также отметить и то, что в понятие инкорпорирования вкладываются такие противоречивые признаки, как, с одной стороны, утверждение, что компоненты инкорпорированного комплекса сохраняют свою индивидуальную семантику и находятся в определенных синтаксических отношениях, а с другой стороны, мнение о том, что компоненты инкорпорированного комплекса не являются отдельными словами, что они не могут иметь синтаксических связей с другими словами предложения, что, наконец, инкорпорированный комплекс ведет себя в предложении как одно целое и с формальной стороны представляет собой слово.

Я. С. ОТРЕМБСКИЙ

СЛАВЯНО-БАЛТИЙСКОЕ ЯЗЫКОВОЕ ЕДИНСТВО

II. MORFOLOGIČESKIE JAVLENIA

Словообразование

В словообразовании славянских и балтийских языков проявляется большое сходство. В настоящей статье нет возможности доказывать это подробно; вскоре мне удастся, быть может, опубликовать особую работу на эту тему.

Здесь я хотел бы ограничиться сравнением слов со значением действующего лица (*nomina agentis*).

1. Образования с суффиксом *-(i)io-*: ст.-слав. *stražь*, русск. *сторож*: *strěšti*, *стеречь*; ст.-слав. *sp-rьbъ* «противник», ст.-польск. *sq-pierz*: ст.-слав. *prьrěti*; лит. *gaidỹs* «петух»: *giedóti* «петь»; лит. *vedỹs* «жених»: *vėsti* «жениться»; лит. *žynỹs* «знахарь; кудесник»: *žinóti* «знать»; лит. *švilpis*, латыш. *svilpis* «название птицы»: лит. *švilpti* «свистеть».

2. Образования с суффиксом *-cio-*: др.-русск. *швѣй* (жен. род *швезя*) из \**šw-ějъ* рядом со ст.-слав. *šw-ьсь*; лит. *davėjas* или *davėjas* «кто дает»: *dūoti* «дать», 3-е лицо прош. времени *dāvė*; *piovėjas* «жнец»: *piąuti* «жать», 3-е лицо прош. времени *piāvė*.

3. Образования с суффиксом *-tāio-*. В славянских языках очень старым словом с суффиксом *-tajъ* является русск. *рамай*, польск. *rataj* и т. д., которому соответствует лит. *artōjas*, прусск. *artoys*: ст.-слав. *orati*, русск. *орать*, польск. *orać* и т. д.; лит. *arti*; русск. *глашатай*: *glasiti*, *-глашаты*; лит. *giedotojas*, латыш. *dziēdātājs* «певец»: *giedoti*, латыш. *dziēdāt*; лит. *darytojas*, латыш. *darītājs* «делатель»: *darīti*, *darīt*.

4. Образования с суффиксом *-iko-, -ikio-*: ст.-слав. *борьсь*, русск. *борец*: *brati*, *бороться*; сюда относится очень старое соответствие: ст.-слав. *šwьсь* «сапожник, портной»: прусск. *schuwikis* «сапожник», лит. *siuvikas* и *siuvikis*: *siūti* «шить», 3-е лицо прош. времени *siūvo*; лит. *piovikas* «жнец»: *piąuti*, 3-е лицо прош. времени *piāvė*.

5. Образования с суффиксом *-l(i)io-*: польск. *kowal*, русск. диалект. *коваль*: *kować*, *ковать*; русск. диалект. *враль* «лжец, врун»: *врать*; лит. *pirklỹs* «купец»: *pirkti* «купить»; *piršlỹs* «сват»: *piršti(s)* «сватать(ся)».

Существительные

Именная флексия в славянских и балтийских языках, в основном одна и та же. Чтобы наглядно показать доходящее до полного тождества

сходство именной флексии в обеих группах языков, я сопоставляю здесь склонение числительного «три» в старославянском и литовском языках:

им. п.	<i>trъje</i> из * <i>trijēs</i>	<i>trỹs</i> из * <i>trijēs</i>
род. п.	<i>trъjъ</i> из * <i>trijōn</i>	<i>trijũ</i> из * <i>trijōn</i>
дат. п.	<i>trъмъ</i> из * <i>trimus</i>	<i>trĩms</i> из ст.-лит. <i>trimus</i>
вин. п.	<i>tri</i> из * <i>trins</i>	<i>trĩs</i> из ст.-лит. <i>trĩs</i>
твор. п.	<i>trъмi</i> из * <i>trimis̄</i>	<i>trĩmis̄</i> из * <i>trimis̄</i>
мест. п.	<i>trъchъ</i> из * <i>trisu</i>	диалект. <i>trĩsũ</i>

Сравнивая приведенные парадигмы, следует иметь в виду еще и то, что форма им. падежа \**trijēs* является, повидимому, славяно-балтийским нововведением; ср. санскр. *trayas*, лат. *tres* и греч. *τρεις* из \**treies*.

Ниже я делаю попытку рассмотреть некоторые более сложные вопросы из области именной флексии.

Чередование *-āns*: *-ās* (слав. *-y*:*-a*). Что в славянской языковой группе гласный *y* получался в конечных слогах и из унаследованного *ā*, в этом позволительно сомневаться. Во всяком случае окончание *-y* в формах род. падежа ед. числа и им. падежа мн. числа типа ст.-слав. *ženy* следует объяснять иначе. Дело в том, что в славянской и балтийской языковых группах вин. падеж мн. числа в склонении слов на *-ā* обладал двумя не имевшими различий в значении формами, на *-āns* и на *-ās*. В современном литовском языке форме на *-ās* соответствует форма на *-as*, а именно — в склонении существительных и в несложном склонении прилагательных: *mergàs* (*mergà* «девочка»), *geràs* (*gerà* «добрая»); в восточолитовских диалектах существует до сих пор не только форма на *-as*, но и более древний вид ее на *-ōs*-, а именно — в сложном склонении прилагательных: *gerōs-ias*. Что касается формы на *-āns*, то она сохранилась в литовском литературном языке в сложном склонении прилагательных: *gerās-ias* (вин. падеж мн. числа жен. рода). В славянской языковой группе окончание вин. падежа мн. числа *-ās* дало *-a*, а окончание *-āns* изменилось в *-y*. Употребление окончаний *-āns*: *-ās*, одного или другого, было несомненно обусловлено положением слов в предложении. Быть может, например, форма на *-ās* употреблялась тогда, когда за ней следовала постпозиция, начинающаяся согласным *n*; ср. форму литовского директива мн. числа *galvōsna* (*galvā* «голова»).

С течением времени в славянской языковой группе под влиянием двойных форм вин. падежа мн. числа на *-a* и *-y* возникли двойные формы в им. падеже мн. числа, а также в род. падеже ед. числа. Иначе говоря, двойная форма \**žena*: *ženy* имела не только в вин. падеже мн. числа, но и в им. падеже мн. числа, а также в род. падеже ед. числа. Впоследствии во всех трех падежах возобладала форма на *-y*. Она была удобней, так как отличалась от формы им. падежа ед. числа, которая имела окончание *-a*.

Чередование *-a*: *-y*, существовавшее одно время в склонении слов с основой на *-ā*, распространилось чисто формальным путем и на склонение причастий настоящего времени. Этим и объясняется ст.-польск. *rzeka* рядом со ст.-слав. *reky* (от *rešti*). Закономерной здесь является только форма на *-y* из \**-on(t)s* (ср. лит. *vežās*); польская форма на *-a* обязана своим возникновением чередованию *-a*: *-y*. Таким же образом следует толковать, повидимому, и соответственные древнерусские и старочешские причастные формы типа *ида*, *неса* или *йда*. Вторичное чередование *-a*: *-y* появилось даже в области наречий: русск. *когда*, *тогда*; польск. *kie(g)dy*, *te(g)dy*.

Чередование  $-i\bar{a}-:-(i)\bar{e}-$ . Чередованию  $-y:-a$  в склонении основ на  $-ā-$  соответствует в славянских языках чередование  $-e:-\bar{e}$  в склонении основ на  $-i\bar{a}-$ . Рядом со старославянской формой род. падежа ед. числа и им. и вин. падежей мн. числа *zeml'ę* имеется древнерусская форма *земль*; формы с  $\bar{e}$  находим также в польском, лужицком, чешском и словацком языках: польск. (старое и диалект.) *ziemie* и т. д.

Мы полагаем, что в склонении слов типа ст.-слав. *zeml'a* суффикс обладал двумя формами:  $-i\bar{a}-$  и  $-(i)\bar{e}-$  (*i* этой формы суффикса в положении после согласного должно было исчезнуть). Форма суффикса  $-(i)\bar{e}-$  свойственна была тем падежам, которые своим окончанием имели  $-(n)s$  или  $-s$ : вин. падеж мн. числа  $*zem-ie-ns > *zem-e-ns$  или  $*zem-ie-s > *zem-e-s$  (ср. формы вин. падежа мн. числа  $*ženā-ns$ :  $*ženā-s$ , о которых говорилось выше); род. падеж ед. числа и им. падеж мн. числа  $*zem-i\bar{e}-s > *zem-e-s$ .

Чередование формы суффикса  $-i\bar{a}-:-(i)\bar{e}-$ , которое мы предполагаем в склонении слов типа ст.-слав. *zeml'a*, можно сравнить с подобным чередованием в середине слова: лит. *žibvauti*, латыш. *žavātiēs* «зевать»: ст.-слав. *zějŕ* «разевать»; лит. *liāutis*,  $\bar{e}$ -е липо прош. времени *lióvėsi* «перестать»: слав.  $*lěviti$ : укр. *livumu* «облегчать» и т. д.<sup>1</sup>

Вин. падеж мн. числа обладал, как мы видели, двумя формами, с окончанием  $-ns$  или  $-s$ :  $*zem(i)ens$  или  $*zem(i)es$ , откуда впоследствии появилось  $*zemę$  или  $*země$ . Для род. падежа ед. числа существовала сначала, по видимому, только одна форма:  $*zem(i)es > *země$ .

Формы вин. падежа мн. числа  $*zem(i)ens$  или  $*zem(i)es$  употреблялись, та или другая, лишь в определенных условиях, например, в зависимости от того, каким звуком начиналась постпозиция (ср. выше, что сказано об употреблении окончаний  $-āns$  и  $-ās$ ). Но позднейшие формы  $*zemę$  [из  $*zem(i)ens$ ] и  $*země$  [из  $*zem(i)es$ ] уже не зависели от этих условий. Именно вследствие этого, по образцу вин. падежа мн. числа, по два окончания получили также формы род. падежа ед. числа и им. падежа мн. числа:  $*zemę$  и  $*země$  из  $*zem(i)es$ .

В самостоятельной жизни славянских языков из двух употребляемых форм обобщена была везде только одна форма на  $-ę$ , как в старославянском языке, или на  $-ě$ , как в русском, польском и др., причем морфема, предшествующая окончанию, принимала такую форму, как в остальных падежах: вместо  $*zem-ę$  в старославянском языке появилась форма *zeml'ę*, вместо  $*zem-ě$  в русском возникла форма *земль* и т. д. Окончание  $-ě$  в формах род. падежа ед. числа и им. и вин. падежей мн. числа сохранилось именно в этом виде; оно не было изменено после смягченных согласных в  $-a$  также потому, что давало возможность отличить эти формы от столь важной формы на  $-a$ , как форма им. падежа ед. числа; ср. др.-русск. *душа*, род. падеж *душь*.

Чередование  $-e:-\bar{e}$  распространилось чисто формальным путем на формы вин. падежа мн. числа у слов с основой на  $-i\bar{o}-$ : ст.-слав. *konę*, но др.-русск. *конь*, польск. *konie*. Соответствие  $-e:-\bar{e}$  возникло и в формах им. падежа ед. числа муж. и ср. родов причастий настоящего времени. Рядом с формой  $*chotę$ , сохранившейся, например, в русск. *хотя*, появилась вторичная форма  $*chotě$ , которая в польском языке, по видимому, под влиянием причастий типа *rzeka* получила вид *chocia*. Подобным образом следует объяснять, по моему мнению, чешские диалектные формы *ved'a*, *id'a*: это древние формы *veda*, *ida*, преобразованные под влиянием таких, окончанием которых было первоначально  $-e:-\bar{e}$ . Раз возможно было воздействие форм причастий на  $-a$  на формы с окончанием

<sup>1</sup> Ср. «Lingua Posnaniensis», IV, стр. 310.

-*ę*: -*ě*, то несомненно возможно было и обратное воздействие, т. е. замещение окончания *-a* окончанием *-ę*: ст.-слав. *grędę-i*, *nesę*, ст.-польск. *gzeę* и т. д. На то, что в этих формах *-ę* не первоначально, указывает твердость предшествующего согласного.

Чередование *-ia-*: *-(i)e-* свойственно было склонению основ на первоначальное *-ia-* и в балтийских языках. Здесь чередование это было устранено таким образом, что отдельные слога обобщили основу или на *-ia-*, или же на *-(i)e-*. Вследствие этого славянскому \**zemia* (ср. ст.-слав. *zeml'a*, русск. *земля*) соответствует лит. *žemė*. Былают случаи, когда одно и то же слово обладает основой то на *-ia-*, то на *-ė-*: лит. *girià* и *girė* «лес».

То обстоятельство, что и в славянских, и в балтийских языках сохранились следы существования основ с чередованием *-ia-*: *-(i)e-*, также служит очень важным аргументом в пользу первоначального славяно-балтийского единства.

Родительный падеж единственного числа у слов с основой на *-o-*. Очень важной общей особенностью славянских и восточнобалтийских языков в склонении слов с основой на *-o-* является форма род. падежа ед. числа *чз -a*: ст.-слав. *brata*, лит. *tėvo*, латыш. *tēva*. Форма эта не может быть продолжением ни индоевропейского аблатива на *-ōi*, так как *ō* изменяется в восточнобалтийских языках в *uo*, ни аблатива на *-at*, так как такой формы нигде нет.

Ввиду того, что формы род. падежа на *-a* нет в прусском языке, она не может считаться общепалатинской. Это, по видимому, общее славянское и восточнобалтийское новообразование.

Можно предположить, что рассматриваемая нами форма род. падежа ед. числа на *-a* тождественна по своему происхождению с морфемой на *-a-* в славянских образованиях на *-a-hъ*, в литовских на *-o-kas*, в латышских на *-a-ks*. Я имею здесь в виду существительные, означающие происхождение, и существительные уменьшительные:

польск. *rodak* «(свое о) рода человек»; *cielak* «теленок»;

лит. *Simokas* — *Simo sūnūs*; *tėvokas* «дедушка» — *tėvo*, *tėvas*, *telīdkas* «довольно большой теленок» (: *tėliās*).

Особый вопрос заключается в том, что первоначальное: форма род. падежа ед. числа на *-ā* или же образования на *-ā-ho-*. Как ни странно происхождение форм родительного падежа из существительных на *-ā-ho-*, но мне это представляется вполне возможным. Ведь не надо забывать, что в славянской языковой группе суффикс *-ho-* обладал, правда, не достаточно выясненной, но все же не подлежащей никакому сомнению структурной функцией; ср. ст.-слав. *kamy* и *kamy-kъ* (в том же значении); лит. *saldūs*; ст.-слав. *sladъ-kъ*. Поэтому не будет ничего невероятного в предположении, что и *-ho-* в образовании *-ā-ho-* в сознании предков славян и восточных балтов явилось структурным суффиксом. Я напомню, что уже давно некоторые ученые обратили внимание на латинское соответствие: *eri*: *eri-lis*.

Из сказанного следует, что славянский и восточнобалтийский родительный падеж на *-ā* означал первоначально только происхождение и лишь впоследствии получил также другие функции.

Дательный падеж единственного числа у слов с основой на *-o-*. Индоевропейская форма дат. падежа ед. числа оканчивалась у слов с основой на *-o-* циркумфлектированным долгим дифтонгом *-ōi*; ср. греч. *ἀδελφῷ*. Этот дифтонг уже в общеиндоевропейскую эпоху терял в определенных условиях вторую составную часть *-i*, так что окончанием дат. падежа ед. числа было еще *-ō*; ср. лат. *lupō*.

В литовском языке сохранились оба эти окончания. Индоевропейское  $-ōi$  дало сначала  $-uoī$ , а затем вследствие сокращения дифтонга  $-uo-$  дифтонг  $-ui$ ; ср. лит. *viļkui*. К индоевропейскому окончанию  $-ō$  восходит жемайтское  $-ou$ ,  $-ū$  и прусское  $-u$ .

Славянское окончание  $-u$  (ср. ст.-слав. *bratu*) является продолжением дифтонга  $-ōi$ . В то время как  $-ō$  превращалось через  $ū$  окончательно в  $-y$  (ср. выше), то же  $-ō$ , находясь в сочетании с  $-i$ , приостановилось в своем развитии на стадии  $-ū$  ( $i$ ). Упрощение долгого дифтонга  $-ūi$  в  $-ū$  относится ко времени, когда процесс превращения первоначального  $ū$  в  $y$  был уже закончен.

Мы пришли, таким образом, к заключению, что нет существенного различия между славянским окончанием  $-u$  и литовским  $-ui$ .

Именительный падеж мн. числа типа *vaikaĩ*. Форма им. падежа мн. числа существительных муж. рода с основой на  $-o-$  в литовском языке имеет окончание  $-aĩ$  с циркумфлексом: *vaikaĩ* (: *vaikas* «дита, мальчик»), в то время как та же форма прилагательных с основой на  $-o-$  обладает в сложном склонении окончанием  $-ie-$  с акутом, в несложном склонении окончанием  $-i$ : *gerie-ji*, *geri*. Как видно, мы имеем здесь дело с двумя окончаниями, которые нет возможности возвести к одному.

С исторической точки зрения регулярным является только окончание прилагательных  $-ie$ ,  $-i$ , которое соответствует индоевропейскому акутированному окончанию  $-oi$ . Оно свойственно было первоначально местоимениям (ср. греч. гомер. *toi*) и только с течением времени распространилось на прилагательные. В славянских языках индоевропейское местоименное окончание им. падежа мн. числа  $-oi$  перешло не только на прилагательные, но и на существительные: ст.-слав. *ti*, *novi*, *vľsci*.

Что касается форм типа *vaikaĩ*, то они, по моему мнению, произошли из преобразования древних собирательных существительных с окончанием  $-(i)ā$  в именительном падеже.

Собирательные существительные имелись и в славянских, и в балтийских языках. Значительное количество их обладало в именительном падеже окончанием  $-(i)ā$ . В славянских языках форма собирательных существительных на  $-(i)ā$  является обычно в функции им. и вин. падежей мн. числа среднего рода: ст.-слав. *iga*. Но в балтийских языках формы собирательных существительных на  $-(i)ā$  стали обычно формами мн. числа мужского рода. Окончание им. падежа  $-(i)ā$  не было, однако, при этом просто замещено имеющимся у местоимений и прилагательных окончанием им. падежа мн. числа  $-(i)ai$  (индоевропейское  $-oi$ ), но преобразовано под его влиянием: получило от него второй элемент  $-i$ , вследствие чего появилось новое окончание  $-(i)ā-i$  как бы в результате стяжения, а потому с циркумфлексом. Это окончание  $-(i)ai$  было свойственно сначала только собирательным существительным, но с течением времени оно распространилось на все существительные с основой на  $-o-$  и  $-jo-$ . Вот пример преобразования первоначального собирательного существительного на  $-iā$  в литовское существительное мн. числа на  $-iai$ : русск. *сажа*, польск. *sadza*; лит. *sūodžiai* (или *sūodys*).

Итак, я считаю формы типа *vaikaĩ* продолжением форм древних собирательных существительных на  $-ā$ . Выдвигая эту гипотезу, я принимаю во внимание наряду с другими и следующие соображения.

В литовском языке имеется в настоящее время значительное количество слов, употребляемых только во множественном числе, тогда как соответствующие им по значению славянские слова употребляются в единственном числе. Следует полагать, что и в те отдаленные времена,

о которых здесь идет речь, дело обстояло так же. Все это указывает на значительную роль собирательных существительных на  $-(i)\bar{a}$  [ $>-(i)\bar{a}i$ ] в литовском языке. Вот примеры: *kraujaĩ*: кровь; *pūliai*: еnoj; *sakai*: смола; *dūtai*: дым; русск. *пух*, польск. *puch* является в литовском языке в форме *pikai*.

В литовском языке имеются слова на  $-(i)ai$ , которые обладают, правда, и единственным числом, но лишь как своего рода сингулятивом по отношению к обычной форме множественного числа. Здесь ограничимся приведением лишь названий хлебов — соответственные славянские названия употребляются обычно в единственном числе:

*rugiai* «рожь»; *rugys* «отдельное зерно ржи»;

*mišžiai* «ячмень»: *mišžis*;

*kviečiai* «пшеница»: *kvietyš*;

*pūrai* «озимая пшеница»: *pūras*;

*grikai* или *grikiai* «гречиха»: *grikas* или *grikis*;

*avižos* «овес»: *avižà* и т. д.

Из приведенных сопоставлений явствует, что собирательные существительные на  $-(i)\bar{a}$ -, после их преобразования в существительные множественного числа мужского рода на  $-ai$  или  $-iai$ , должны были по необходимости вызвать и соответствующее преобразование форм единственного числа: существительные среднего рода (с основой на  $-o-$  или  $-io-$ ) становились существительными мужского рода. Славянское слово \**zъrno* (русск. *зерно*) было искони среднего рода; ср. лат. *granum*, гот. *kairn* (ср. род). В лит. *žirnis* (и латыш. *ziņnis*) «зерногороха, горошилка» и основа на  $-io-$ , и мужской род (и значение) являются несомненно вторичными. Форма ед. числа *žirnis* (*ziņnis*) была образована лишь на основании формы мн. числа *žirniai* (: *ziņni*), которая произошла, по видимому, из более древней собирательной формы \**žirniā*, возникшей под влиянием других названий хлебов на  $-iā > -iai$ . Реконструируя форму \**žirniā*, мы основываемся на прусской форме *syrne* (жен. род) «зерно», с основой на  $-(i)\bar{e}$ -, которая представляет собой лишь разновидность основы на  $-iā$ -.

\*

Мы нашли, как полагаем, главную причину исчезновения категории среднего рода в литовском и латышском языках. Решительный толчок в этом направлении дало преобразование давних собирательных существительных на  $-(i)\bar{a}$  в формы им. падежа мн. числа муж. рода на  $-(i)\bar{a}i$  и наступившее вслед за этим преобразование формы единственного числа среднего рода в формы мужского рода. Ход развития представим на примере литовского слова «иго»: \**jugan* (ст.-слав. *igo*, лат. *iugum* и т. д.); собирательная форма \**jugā* (ср. ст.-слав. *iga*)  $>$  \**jugan*: им. падеж мн. числа муж. рода \**jugāi*  $>$  *jūngas*: *jūngai* (где *n* появилось под влиянием глагола *jūngti* «соединять»).

Особенностью собирательных существительных является то, что они имеют при себе глагольное сказуемое в форме 3-го лица единственного числа. Значительная роль категории собирательных существительных в балтийских языках влекла за собой, конечно, более широкое, чем обычно, употребление глагольных форм 3-го лица единственного числа вместо множественного. Это и было, по моему мнению, главной или одной из главных причин вытеснения глагольной формы 3-го лица множественного, а затем и двойственного числа формой единственного числа.



## Прилагательные

Выдающейся общей особенностью славянских и балтийских языков является сложное склонение прилагательных. Оно состоит в том, что к обычной форме прилагательного присоединяется соответствующая форма местоимения *-io-*, жен. род *-iā-*. Образованные таким образом формы прилагательных в историческое время имеют значение определенных. Но первоначальное значение местоимения *-io-*, *-iā-* точно не установлено: это могло быть или анафорическое, или же относительное местоимение. В последнее время ученые придерживаются мнения, что данное местоимение обладало скорее относительной функцией. Старославянское выражение *žena slěraja* значило, согласно этому толкованию, сначала «женщина, которая слепа». Литовское предложение *Sniėgolaukuosė sunkū pastebėti báltaji kiški* значит в настоящее время «На снежных полях трудно заметить (именно) белого зайца», раньше: «... зайца, который бел». Однако как бы мы ни толковали первоначальное значение местоимения в сложных формах прилагательных, оно исполняет в историческое время ту же роль, что немецкий артикль: в приведенных выше примерах оно выделяет из всех возможных женщин ту, которая слепа; из всех возможных зайцев — того, который бел.

Мы назвали сложное склонение прилагательных в славянских и балтийских языках их выдающейся общей особенностью, так как такое новообразование не встречается ни в одном другом индоевропейском языке. Лишь в иранских языках находим до известной степени сходный процесс — употребление рядом с прилагательным местоимения с относительным значением.

В славянских языках наблюдается в историческое время процесс вытеснения простого склонения в пользу сложного. Сейчас формы простого склонения употребляются в общем только для выражения именного сказуемого. Типичен в этом отношении русский язык: *хороший человек*, но *он хорош*; в польском языке и именное сказуемое получает уже, за незначительными исключениями, сложную форму прилагательного. В литовском языке употребительны, правда, и сейчас еще обе формы, но различие между ними постепенно теряет прежнее значение. Лучше всего сохранено различие между формами простого и сложного склонения в латышском языке, но это объясняется влиянием немецкого языка.

В известной, но пока еще не выясненной связи со сложным склонением прилагательных находится, по моему мнению, свойственное славянским и балтийским языкам распространение основ причастий действительного залога в их склоняемых формах при помощи суффикса *-io-* (жен. род *-iā-*):

ст.-слав. род. падеж. ед. числа причастия наст. времени *vedqšta*: лит. *vėdančio* — основа \**vedont-io-*;

ст.-слав. род. падеж ед. числа причастия прош. времени *vedzša*: лит. *vėdusio* — основа \**vedus-io-*;

ст.-слав. *byšęšt-*: лит. род. падеж ед. числа причастия будущего времени *būšiančio* — основа \**būšiont-io-*.

## Местоимение

Унаследованные из индоевропейского языка личные местоимения претерпели и в славянских, и в балтийских языках значительные изменения. Несомненно, что эти изменения относятся главным образом к эпохе раздельного, самостоятельного развития обеих групп. В исторических пара-

дигмах личных местоимений сохранились все же формы, указывающие на первоначальное единство. Обратим здесь внимание именно на те формы, которые имеются только в славянских и балтийских языках и которые, таким образом, служат аргументом в пользу особенно близкого родства этих языков:

др.-русск. *мынь* (дат. падеж): лит. (жем.) *muņei* из *\*munie*, латыш. диалект. *muņ*;

ст.-слав. *nasъ* (род. падеж): прусск. *nūson* (где *ū* вторичного происхождения).

Старославянские энклитические формы дат. падежа ед. числа *mi*, *ti*, *si*: лит. *mi*, *ti*, *si* (первые две формы встречаются в старых текстах и диалектно) из *\*mei*, *\*tei*, *\*sei*; в других индоевропейских языках имеются соответственные формы для 1-го и 2-го лица (греч. *μοι*, *τοι*; санскр. *me*, *te*), но их нет для возвратного *\*sei*.

Старославянским притяжательным местоимениям *mojъ*, *tvojъ*, *svojъ* соответствуют точно прусские *mais*, *twais*, *zvais*. Лишь *mojъ*: *mais* может считаться очень древним образованием, производным, повидимому, от формы дат. падежа ед. числа *\*moi* с притяжательным значением; так же образовано лат. *meus* из *\*mei-os*. Но формы *tvojъ*: *twais*, *svojъ*: *zvais* являются, повидимому, славяно-балтийскими новообразованиями.

Состав неличных местоимений в славянских и балтийских языках тот же: ст.-слав. *\*jъ*, *je*, *ja* (род. падеж *jego*, *jejъ*): лит. *jis*, *ji*; ст.-слав. *съ* (*съjъ*), *se*, *si*: лит. *šis*, *ši*; ст.-слав. *тъ*, *то*, *та*: лит. *tās*, *tā*; ст.-слав. *онъ*, *ono*, *ona*: лит. *anās* (*añs*), *anā*; ст.-слав. *къ-то*, *ѣ-то*: лит. *kās*; ст.-слав. *всѣ*, *vъse*, *vъsa*: лит. *visas*, *visā*.

В склонении обращает на себя внимание форма дат. падежа ед. числа муж. и ср. родов. В славянской и восточнобалтийской языковой группе она обладает окончанием *-mōi*, в то время как в прусском языке окончанием *-smōi*, с *s* перед *m*: ст.-слав. *tomu*; лит. *tamui*, *tām*, латыш. *tam*; прусск. *stesmu* (ср. санскр. *tasmai*).

В славянских языках имеются качественные местоимения, образованные при помощи суффикса *-ko-*, жен. род *-kā-*: ст.-слав. *kakъ*, *kako*, *kaka*; *takъ*, *tako*, *taka* и т. д. Такие же образования находим и в литовском языке, но здесь они приняли форму на *-k-jo-*, жен. род *-kia-*: *kōks* (род. падеж ед. числа *kōkio*), *kokiā*; *tōks* (*tōkio*), *tokiā* и т. д.; суффикс *-jo-*, *-jā-* выполняет, повидимому, ту же роль, что и *-ovъ*, *-ovo*, *-ova* в ст.-слав. *kakovъ*, *-vo*, *-va*; *takovъ*, *-vo*, *-va* и т. д. В латышском языке этим образованиям соответствуют *kāds*, *tāds*, с суффиксом *-ā-do-*, а в прусском: *stawiđs* (: *stas*).

## Глагол

В области глагольной флексии славянских и балтийских языков обращает на себя внимание прежде всего одинаковое образование настоящего времени глагола «дать»: ст.-слав. *damъ*, 3-е лицо *dastъ*: ст.-лит. *dūomi*, 3-е лицо *dūost(i)*, прусск. *dāst*. Эти формы произведены от атематической основы *\*dōd-*; ср. причастие настоящего времени действительного залога мужского рода: ст.-слав. *dady*: лит. *dūodąs*. Происхождение основы *\*dōd-* до сих пор остается не выясненным. По моему мнению, она представляет собой исключительный случай помещения удваивающего элемента после корня: *\*dō-d-*. Основы, произведенной таким именно образом, нет ни в одном индоевропейском языке; ср. санскр. *dadāmi*, греч. *δαδωμι*, где удвоительный слог (*da-*, *di-*) предшествует корневому. Образование настоящего времени глагола «дать»,

общее для славянской и балтийской групп, является очень важным аргументом в пользу их первоначального единства.

Удивительное сходство наблюдается в построении основ у глаголов типа ст.-слав. *vesti*: лит. *vėsti*. Рядом с инфинитивом *ves-ti*: *vės-ti* имеются формы: 3-е лицо ед. числа наст. времени *ved-e-tь*: *vėd-a*, 3-е лицо ед. числа имперфекта *ved-ě-jaše*: 3-е лицо прош. времени *vėdė*. Основа инфинитива у этих глаголов равна корню; основа настоящего времени обладает тематическим гласным *e:o*, причем в балтийских языках гласный *o > a* распространяется на все формы парадигмы; морфема славянского имперфекта *ved-ě-* тождественна с основой литовского прошедшего *vėdė-*, 1-е лицо мн. числа *vėdė-me*. Следует еще сказать, что указанное сосуществование и распределение основ замечается у тех же глаголов: *nesti*: *něsti*, *vesti*: *vězti*, *mesti*: *mėsti* и т. д.

В славянских языках имеются глаголы, которые при основе инфинитива на *-ě-* имеют основу настоящего времени на *-ī-*: ст.-слав. *vidě-ti*: 1-е лицо мн. числа наст. времени *vidi-mь*. Такие же глаголы имеются и в балтийских языках, с той только разницей, что здесь славянскому *ī* соответствует литовское *i*: лит. *turė-ti* «держать, иметь»: 1-е лицо мн. числа наст. времени *turime*; латыш. *turēt* «держать»: *turim*; прусск. *turīt* «иметь»: *turimai*. Однако следует заметить, что в некоторых латышских диалектах встречаются иногда формы, содержащие основу настоящего времени с *i*: *gulims* (: *gulēt* «спать») и др. Сохраняют ли эти диалектные формы старину? Как бы то ни было, существование глаголов на *-ě-: -ī-* в славянских и во всех балтийских языках является их очень важной общей особенностью — ни в одном из остальных индоевропейских языков до сих пор не найдено аналогичного распределения *ē:ī* в глагольной системе.

Происхождение славянского имперфекта еще не выяснено полностью. Весьма возможной мне кажется его связь с балтийским прошедшим временем на *-e-* (и на *-a-*). Иначе говоря, я предполагаю связь, например, старославянской формы 3-го лица ед. числа *vedě-jaše* с литовской формой 3-го лица *vėdė*. Ученые толкуют обычно славянский имперфект как сложную форму, содержащую вспомогательный глагол *-jaše*, 1-е лицо ед. числа *-jachь*. Такое сложное прошедшее время имелось некогда, быть может, и в балтийских языках. В дальнейшем развитие пошло двумя различными путями. В славянских языках вспомогательный глагол, употребление которого в спряжении было факультативно, стал неотъемлемой составной частью имперфекта, в то время как в балтийских языках пропуск вспомогательного глагола стал обычным явлением, так что на основании первой составной части *\*vede-* была образована новая, уже простая форма прошедшего времени: *\*vedē-u* (лит. *vedžiau* и т. д.). В славянских языках формы имперфекта типа *vedě-jachь* нашли сильную поддержку со стороны таких форм, как *dě-jachь* (: *děti*, *dějati*), с сочетанием *-ěja-*. Формы имперфекта, как *spě-jachь*, возникли, повидимому, вследствие преобразования формы, соответствующей литовскому прошедшему *spėjo* (ст.-слав. *spěti* = лит. *spėti*).

Я не могу рассматривать здесь вопрос о происхождении славянского имперфекта во всех подробностях, но настаиваю на том, что, например, морфема *vedē-* в ст.-слав. *vedě-jachь* и основа *vedē-* в лит. *vėdė* (3-е лицо), *vėdė-me* (1-е лицо мн. числа) и т. д. — одно и то же.

Для балтийских языков очень характерна до сих пор альтернатива вокализма в корне глаголов, служащая одним из средств противопоставления основам настоящего времени основ прошедшего времени и обычно

также инфинитива. Имею здесь в виду в первую очередь такую альтернацию, когда чередуются вокализм на ступени нормальной и вокализм на ступени редукции. Вот примеры из литовского языка:

*liēka* (из \**leika*): *liko*; *likti* «остаться»;

*lenda*: *liñdo*; *liñsti* (из \**liñd-ti*) «лезть»;

*peika*: *piiko*; *piikti* «купить».

Славянские языки также располагали подобной альтернативой вокализма, но она рано перестала играть в них прежнюю роль. Следы альтернативы вокализма в системе спряжения отдельных глаголов сохранились в старославянском языке. Приведем примеры:

1-е лицо ед. числа наст. времени *židp*; инф. *žydati*; 1-е лицо ед. числа наст. времени *vlěkp* из \**velkp*, повел. накл. *-vlěci*; инф. *vlěšti* из \**velkti*; причастие прош. времени *-vlěkъ* из \**vilk-*, \**vilk-* (ср. лит. *vilk-ēs*).

Иначе распределены формы чередующегося вокализма в спряжении, например, глагола *čisti*: 1-е лицо ед. числа наст. времени *čьtp*, повел. накл. *čьti*, 2-е и 3-е лицо ед. числа аор. *-čьte*, причастие прош. времени *čьtъ* и *čьlъ*; инф. *čisti*, суп. *čistъ*; 3-е лицо мн. числа аор. *čise*.

В отдельных славянских языках была обобщена одна из двух форм корня с чередующимся вокализмом. Так, например, в польском языке возоблудала форма \**wlek-* из \**velk-*: *wleke*, *wlec*, *wlekli*, но в словинском, наоборот, форма \**vilk-*: *vūcēm*, *vūci*. Что касается глагола *čisti*, то в русском языке взяла верх форма его корня \**сѣл-*: *чту*, *про-четь*, *про-чли* и т. д.

В тесной связи с устранением альтернативы вокализма и обобщением одной формы глагольного корня находится в славянских языках устранение другой внутренней характеристики глагольной основы — носового инфикса (*n*). В литовском языке носовой инфикс *n* (*m*) играет еще до сих пор огромную роль в образовании настоящего времени с инкоативным значением: *pra-būnda*: *-būdo*; *-būsti* «пробуждаться»; *šviñta*: *švito*; *švistu* «рассветать».

Когда конечным согласным корня является *j*, *l*, *r*, *m*, *s*, *z*, *š*, *ž*, носовой инфикс исчезает, а предшествующий ему гласный становится долгим: *būla* из \**ba-n-la*: *bālo*, *bālti* «становиться белым»; *driška* из \**dri-n-ska* (в некоторых диалектах до сих пор сохраняется форма *driñskal*): *drisko*, *drikti* «становиться рваным».

В славянских языках носовой инфикс как таковой перестал существовать очень рано. В старославянском языке сохранились лишь остатки форм с этим элементом, точнее говоря — с носовыми гласными вместо *n* и предшествующего ему гласного: *legp*, *lešti* (русск. *лягу*, *лечь*); *sedp*, *žesti* (русск. *сяду*, *сесть*). Обычное явление — это суффикс *-no-*: *-ne-*, в инфинитиве *-nq-*; лит. *bundū*; ст.-слав. *vъz-bъnq* из \**vъd-nq*; лит. *šviñta*; др.-русск. *свыцти* из \**svьt-nq-ti*.

Преобразованию форм с носовым инфиксом в формы с суффиксом, содержащим *n*, благоприятствовало наличие глаголов типа ст.-слав. *stanp*, *stati*, где суффикс *-no-*: *-ne-* следует за корнем с конечным гласным: *sta-nq*.

Итак, столь важные особенности балтийских языков, как альтернатива корневого вокализма и носовой инфикс *n*, употребляемые с целью характеристики глагольных основ, были свойственны и славянским языкам. Но здесь они рано перестали играть свою прежнюю роль. На новой стадии развития языков более выразительным средством, чем, например, носовой инфикс, был суффикс с согласным *n*.

Старым отличием славянских и балтийских языков Я. М. Эндзелли считает то, что форма 2-го лица ед. числа настоящего времени

имеет в старославянском языке окончание *-ši*, в то время как в литовском и латышском *-i*: ст.-слав. *berěši*: лит. *juntì*, латыш. *jùti*, в возвратных формах *-ie-*: *juntie-s*, *jùtiē-s*, хотя здесь необходимо считаться с тем, что подобное оформление этих окончаний не было первоначальным ни в славянских, ни в балтийских языках.

Старославянское окончание *-ši* произошло, по всей вероятности, из *-sei* в положении после гласного *i*, как, например, в *prosiši*, и только впоследствии распространилось на формы с другими гласными перед окончанием: *berē-ši*, *ima-ši*. Прежняя форма окончания *-sei* (с *s*) сохранилась в атематическом спряжении: *dasi* из *\*dad-si* (: *dati*), *jasi* из *\*ĕd-si* (: *jasti* «кушать») и т. д.

Предполагаемое здесь окончание *-sei*, конечно, в свою очередь, не первоначально. Его возникновение можно представить следующим образом. Форма 2-го лица ед. числа наст. времени вспомогательного глагола *\*esi* (ср. санскр. *asi*), окончанием которой служило одно *-i*, была совершенно изолирована, вследствие чего в отношении окончания она уподобилась тематическим формам с *-ei*, т. е. приняла вид *\*esei*. Впрочем таким же образом *-ei* могло проникнуть, например, и в *\*dasi*, где *s*, при наличии формы 3-го лица ед. числа *\*das-ti*, казалось составной частью основы. Впоследствии формы типа *\*dasei* уже осознавались иначе. Под влиянием таких форм, как 1-е лицо ед. числа *\*dam-i*, форма *\*dasei* в сознании говорящих обладала окончанием *-sei*. Именно это окончание *-sei* распространилось на все формы, в которых окончанию 3-го лица ед. числа *-ti* предшествовал гласный: *\*berē-ti*: *\*berē-sei* и т. д.

На то, что окончание *-sei* возникло прежде всего в атематическом спряжении, указывают косвенно данные прусского языка: *waisei* из *\*void-sei*: ст.-слав. *věsi*.

В литовском и латышском языках всюду возобладало первоначальное тематическое окончание *-ši* или его позднейшие формы: *-ie-* в возвратном залоге и *-i* в действительном. Балты в этом отношении пошли другим путем, нежели славяне, что, однако, кажется довольно понятным: балты сохранили формы 2-го лица лит. *juntie-si*, *juntì*, так как эти формы не отличались количеством слогов от форм 3-го лица; в противоположность балтам славяне образовали новые формы типа *berěši*, так как последние, ввиду наличия трехсложных форм 3-го лица *\*bereti* и др., были в данном языке пригоднее.

Итак, различие в образовании форм 2-го лица ед. числа настоящего времени, вопреки Я. М. Эндзелину, не может служить аргументом против единства славянских и балтийских языков.

Индоевропейским языкам были свойственны первоначально две категории с суффиксальным элементом *s*: аорист и будущее время. Замечательно то, что и в славянской, и в балтийской языковых группах обе эти сигматические категории сведены в одну — с тем отличием, что в славянских языках сохранился только сигматический аорист, между тем как в балтийских языках — только будущее время. На то, что в славянских языках, кроме аориста, имелось и сигматическое будущее, указывает сохранившееся в церковнославянских текстах русской редакции причастие с основой *byšęši-*. Что касается сигматического аориста в балтийских языках, то здесь не замечено до сих пор никаких его следов.

К сожалению, нам неизвестна та первоначальная парадигма сигматического аориста, из которой произошел исторический старославянский аорист. Мы не знаем также первоначальной парадигмы будущего времени в балтийской языковой группе. Восстановление парадигмы будущего времени в литовском языке представляет особенные трудности. Дело в том, что

здесь имеются как бы две парадигмы: с основой на *-si-* и с основой на одно *-s-*. Так, в диалекте волости Твереч употребляются для 1-го и 2-го лица мн. числа по две формы, с небольшой разницей в значении, например, от глагола *věžiti: vēšme: vēšim, vēšte: vēšit* из *\*vež-s-mě: \*vež-si-mě, \*vež-s-tě: \*vež-si-tě*.

Форма 3-го лица будущ. времени и в литовском литературном языке, и в диалектах имеет обычно не окончание *-si*, но одно *-s*, в положении перед которым происходят изменения, свойственные первоначальному конечным слогам: 1-е лицо ед. числа *áugsiu*: 3-е лицо *aūgs, darįsiu: darįs*; в односложных формах так называемых непроезженных глаголов литовского литературного языка акутированные долгие гласные *ý* и *ū* подвергаются сокращению: *lis* [:*lyti* «лить (о дожде)»]; *būsiu: būs*. Что касается форм 3-го лица будущ. времени, как *būsigu* (Даукша, Post. 181<sub>s</sub>), то в них *i* появилось как известного рода разделительный гласный.

Основываясь на приведенных данных, Педерсен предположил, что балтийское будущее время в 3-м лице ед. числа имело суффикс не *-si-*, а *-s-* и что, таким образом, форма *būs* восходит к древней форме *\*būst*; аналогическое образование имеется в оскском языке: *just* «erit».

Реконструированная Педерсеном форма балтийского будущего *\*būst* (> лит. *būs*) ничем не отличается от той, к которой следует возвести форму 3-го лица ед. числа славянского аориста: ст.-слав. *by*. Повидимому, у нас здесь налицо одна и та же форма индоевропейского сигматического аориста, продолжением которого в славянской языковой группе является сигматический аорист, в балтийской же — его разновидность, так называемый инъюнктив — будущее время.

В качестве инъюктива сигматический аорист употреблялся и в славянской языковой группе, но он вышел из употребления, так как здесь в связи с возникновением категории видов понадобились новые средства для выражения будущего времени — сложное настоящее: *sz-dělaję* и описательная форма: *będę dělaję*; одним из остатков древнего инъюктива является упомянутое выше *byšęšt-* (вряд ли это остаток индоевропейского будущего времени).

В литовском языке возобладал сигматический аорист в функции инъюктива. В этом качестве он совпал окончательно с унаследованным от индоевропейской эпохи сигматическим *futurum*'ом, суффиксом которого было *-sio-* (ср. причастие *būsiąs* = латыш. *būšus*) и *-si-* (1-е лицо мн. числа *būšime*). Смешением двух первоначально разных сигматических образований объясняются именно указанные выше двойные формы литовского будущего.

Подводя итоги предыдущему изложению, следует сказать, что и славянские, и балтийские языки располагали сначала сигматическим аористом, употребляемым в двух функциях: собственно аориста и инъюктива. С течением времени инъюнктив как таковой перестал существовать. В славянской языковой группе возобладал собственно аорист; в балтийской — инъюнктив совпал с древним индоевропейским *futurum*'ом.

Только теперь мы приблизились к решению вопроса о происхождении загадочного факультативного окончания *-st* и *-t* в старославянских формах 2-го и 3-го лица ед. числа сигматического аориста: *by: bystę; da: dastę; iz-ě: szn-ěstę; u-mrě: u-mrětę; pi: pitę (:piti); pro-kletę (:kletę)* и т. д. В том же значении, что инъюнктив-будущее *\*dast* (:*dati*), *\*ěst* (:*ěsti*), употреблялось в известный период развития славянской языковой группы и настоящее время *\*dastę*; ср. русск. *дам*, польск. *dam*. В связи с этим форма *\*dast* была приравнена форме *\*dastę*, чем и объясняется сохранение в этой форме сочетания *-st* на конце слова.

Итак, *\*dastъ* — форма первоначально 3-го лица ед. числа наст. времени — стала также и формой аориста, поскольку он употреблялся в значении инфинитива. Лишь с течением времени *\*dastъ* стало формой аориста вообще, т. е. разновидностью регулярной формы аориста, притом не только 3-го, но и 2-го лица ед. числа — как *da*. Сосуществование формы 2-го и 3-го лица ед. числа *da*: *\*dastъ* (ст.-слав. *dastъ*) дало толчок к образованию рядом с *ě* из *\*ěst* (от *ěsti*) вторичной формы *\*ěstъ* (ст.-слав. *ěstъ*), а рядом с *by* — вторичной формы *\*bystъ* (ст.-слав. *bystъ*).

В парадигмах формы *dachъ* 2-е и 3-е лицо *dastъ* разлагались на *dachъ*, *das-tъ*, так как обычно *ch:s* были двумя разновидностями одного и того же элемента. Но вследствие этого *-tъ* формы *das-tъ* являлось в сознании говорящих окончанием в собственном смысле. Оно и было распространено на ряд односложных форм аориста с формой на *-chъ* в 1-м лице ед. числа: ст.-слав. *pichъ*, 2-е и 3-е лицо *pi* и *pitъ* (: *piti*) и т. д. Формы типа *pitъ* были удобнее, чем формы типа *pi*, ибо состояли и из двух слогов, как и большинство форм данной парадигмы.

### III. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Сравнительный синтаксис славянских и балтийских языков до сих пор мало еще разработан, но сходство этих языков в отношении синтаксического строя признается всеми исследователями. Особенно важно существование наиболее общих характерных особенностей. Указывают прежде всего на две такие особенности: широкое употребление родительного падежа вместо винительного при глаголах с отрицанием (русск. *Он ничего не видит*: лит. *Jis nieko nemato*) и употребление именного сказуемого в форме творительного падежа.

### IV. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Вопрос о словарном составе обеих групп языков поднимался уже неоднократно. Я. М. Эндзелин составил некогда довольно длинный список слов (до 200), общих для славянских и балтийских языков<sup>2</sup>, а Я. Розвадовский дал, наоборот, перечень словарных различий в славянских и балтийских языках<sup>3</sup>. Р. Траутманн составил даже особую книгу «*Baltisch-slavisches Wörterbuch*» (Göttingen, 1923), но эта книга вследствие неудобного расположения в ней материала не дает надлежащего представления о сути дела.

Мы не можем останавливаться здесь на подробностях и коснемся некоторых вопросов лишь вскользь. Прежде всего, следует сказать, что доказательную силу имеет только список балто-славянских соответствий, представленный Я. М. Эндзелином. Во-первых, это слова, даже корни которых не найдены до сих пор в других индоевропейских языках: ст.-слав. *telъсь*, русск. *теленки*: лит. *tėliās*, латыш. *tel'š*; русск. *вброн*, жен. род *ворбна*, чеш. (*ha*) *vran*, жен. род *vrána*: лит. *vařnas*, жен. род *vārna* (ср. укр. *ка-ворон*: лит. *kō-varnis*); ст.-слав. *metъ*, *mesti* «бросить», *po-mětati*: лит. *metù*, *mėsti* «бросить», латыш. *mētāt*. Затем в списке Я. М. Эндзелина имеются общие новообразования от корней достоверно известных из других индоевропейских языков, как, например, лит. *žiemà*, вин. падеж *žiēma*: серб. *zima*, вин. падеж *zīmi* рядом с греч. *χειμών*,

<sup>2</sup> См. И. Эндзелин, Славяно-балтийские этюды, Харьков, 1911, стр. 193 и сл.

<sup>3</sup> См. «Rocznik slawistyczny», t. V, 1912, стр. 16 и сл.

лат. *hiems*. Такие новообразования являются весьма убедительным доказательством в пользу гипотезы о тесной связи славянских и балтийских языков.

Следует добавить, что список Я. М. Эндзелена никоим образом не может претендовать на полноту. Лишь несколько лет тому назад было указано, что слова от индоевропейского корня \**lugh*-«врать» сохранились не только в славянских языках (ср. ст.-слав. *lŭgati*, *lŭžь* и т. д.), но и в литовском: *tūginaitė pabuczėwimas* «предательский поцелуй» (у Даукши); *melūgis* «лгун» из \**me(l)-lugis*<sup>4</sup>.

Перечень словарных различий, представленный Я. Розвадовским, не обладает, по нашему мнению, доказательной силой.

Рассмотрим одну группу различий — слова, обозначающие части тела. Балтийские языки имеют те же слова, что и славянские, в тех случаях, когда часть тела совершенно определена и не может быть сомнений в понимании того, о чем идет речь:

«голова»: ст.-слав. *glava*, русск. *голова*: лит. *galvà*, латыш. *galva*, прусск. *gallū*, *galwo*;

«глаз»: ст.-слав. *oči*: лит. *akis*, латыш. *acs*, прусск. (мн. число) *ackis*;

«ухо»: ст.-слав. *uši*: лит. *ausis*, латыш. *auss*, прусск. (вин. падеж мн. числа) *ausins*;

«нос»: русск. *нос*, польск. *nos* и т. д.: лит. *nosis*, *-ies*, латыш. (мн. число) *nāsis* «ноздри; нос», прусск. *nozy*; славянское слово отличается от литовского и прусского и в отношении корневого согласного, и в отношении гласного основы;

«рука»: ст.-слав. *roka*: лит. *rankà*, латыш. *rūoka*, прусск. *rancko*;

«скила»: ст.-слав. *žila*: лит. *gýsla* (жем. *gįsla*), латыш. *dzisla*; прусск. *pette-gįslo* «Rückenader»; происхождение *s* в балтийском слове до сих пор не выяснено; жем. *gįsla* получило вторичное *n* (\**gįnsla*);

«легкие»: ст.-слав. *plūšta*, польск. *pluca*, др.-прусск. *plюча*: лит. *plaučiai*, латыш. *plauši*, прусск. *plauti*;

«сердце»: ст.-слав. *srъdce*, русск. *сердце*: лит. *širdis*, *-iės*, латыш. *sirds*, прусск. *seyr* из \**šerđl*.

Различия получились также и тогда, когда название известной части тела не достаточно определено по значению.

Славянскому *noga* (русск. *нога* и т. д.) можно противопоставить литовское слово *kōja*, латышское *kāja*. Но слова, соответствующие слав. *noga*, имеются и в балтийских языках. Прусск. *nage* обладает даже тем же значением. Значение лит. *naga*, *-ōs* и латыш. *nags* «копыто (у животных), коготь (у птиц), ноготь (у человека)», правда, иное, но не настолько, чтобы нельзя было согласовать его со значением «нога». Слово *noga* обозначало сначала, очевидно, только часть ноги и лишь впоследствии стало обозначать всю ногу (*pars pro toto*). Впрочем первоначальное значение не исчезло в славянских языках бесследно: например, ст.-слав. *nogъь*, русск. *ноготь* и т. д., где *-ъь* является древним уменьшительным суффиксом; ср. лит. *pirštūlis* «пальчик» и прусск. *nagutis* «ноготь (у человека)».

На основании списка Я. Розвадовского можно было бы заключить, что старославянскому *prъsi*, польскому *piersi* «грудь» соответствует в литовском языке только *krūtis*, *-iės* «женская грудь» и *krūtinė* «грудь вообще», в действительности же в литовском языке имеется точно соответствующее славянскому \**prъsi* слово *piršys*, *-ių*, но значит оно «anterior

<sup>4</sup> Ср. «Lingua Posnaniensis»: — I, 1950, стр. 138; — III, 1951, стр. 184.



pars pectoris equini». Кстати сказать, если первоначальная форма слав. *grōdъ*: ст.-польск. (мн. число) *grędzi*, русск. *спудъ* была \**grundī-*, то мы имеем здесь дело, повидимому, с звонкой разновидностью лит. *krūtis*. У нас здесь случай, когда одно и то же название части тела относится то к человеку, то к животному.

Некоторые части тела имеют по несколько названий, отличающихся друг от друга иногда только оттенками значения. Может случиться, что в одном языке возобладает в качестве нормального одно, в другом же родственном языке — другое значение. Я. Розвадовский противопоставляет литовскому *burnà* «рот; лицо» славянское *usta*, не учитывая того обстоятельства, что для литовского слова нет точных соответствий ни в латышском, где имеется *mute*, ни в прусском, где находим *austo* = слав. *usta*. Однако литовское *burnà* не совсем одиноко в балтийских языках: оно является разновидностью латыш. *puṛna* и *puṛns* «морда».

Ничто лучше не показывает степени родства славянских и балтийских языков, как группа слов, называемых числительными.

Количественные числительные. «Один»: ст.-слав. *jedinъ* из \**ed-inъ*: лит. *vienas* из \**v-einas*; к сожалению, до сих пор не выяснено происхождение ни частицы \**ed-* в слав. \**ed-inъ*, ни элемента *v-* в лит. \**v-einas*;

«два»: ст.-слав. *dъva*: лит. *dù* из \**d(u)ṽō*;

«оба»: ст.-слав. *oba*: лит. *abù* из \**abō*;

«три»: ст.-слав. *trъje*: лит. *trỹs* из \**triies*;

«четыре»: ст.-слав. *četyre* из \**ketūr-es*: лит. *keturi*;

«десять»: ст.-слав. *desętъ*: лит. *dėšimtis*.

Числительные от «пяти» до «деяти» включительно приняли в славянских языках форму существительных, в литовском они стали прилагательными: *peṭъ*: *penki*, жен. род *peñkios* и т. д.;

«тысяча»: ст.-слав. *тысęшти*, *тысошти*: лит. *tūkstantis*, -čio (и -ties), также *tūkstančia* (и *tūkstantė*). Это числительное было, повидимому, сложным словом, первой составной частью которого служил корень \**ta-*, тот же, что в славянском глаголе \**tyti*.

Порядковые числительные. «Первый»: ст.-слав. *prъvъ* из \**prъvъ*: лит. *pirmas*; эти слова отличаются друг от друга только суффиксами -*uo-*: -*mo-*;

«второй»: ст.-слав. *vtorъ*: лит. *añtras*; слова эти отличаются друг от друга корнями, но обладают тем же суффиксом -*t(e)ro-*, -*t(o)ro-*, который выражает противоположность между «вторым», т. е. «другим», и «первым»;

«третий»: ст.-слав. *trętъjъ*: лит. *tręčias*;

«четвертый»: ст.-слав. *čętvorъtъ* из \**ketvirto-*: лит. *ketvĩrtas*;

«пятый»: ст.-слав. *peṭъ*: лит. *peñktas*;

«шестой»: ст.-слав. *šęstъ*: лит. *šęštas*;

«седьмой»: ст.-слав. *sedmъ* из \**sebd-mo-*: прусск. *sep(t)mas*, лит. *sękmas* из \**sept-mas*;

«восьмой»: ст.-слав. *osmъ*: лит. *añšmas*;

«девятый»: ст.-слав. *deveṭъ*: лит. *devĩntas*;

«десятый»: ст.-слав. *desętъ*<sup>5</sup>: лит. *dęšiñntas*.

Собирательные числительные. Старославянские формы: *dъvoji*, *troji* (*ludъje*); *čętvoro...* *sedmoro...* *desętoro* [*brat(r)iję*], русск. *двое*, *трое*, *четверо...* *семеро...* *десятеро*. Литовские формы (с существительными, употребляющимися только во множественном числе): *dveji*, *treji*, *ketveri*, *penkeri*...

<sup>5</sup> В старославянских текстах порядковые числительные употребляются обычно в сложных формах: *pręvuј*, жен. род. *pręvaja*, ср. род. *pręvoје* и т. д.

Наречные числительные. В значении «дважды, трижды» и т. д. в старославянском языке употребляются выражения с словом *kratъ* «раз», в литовском — выражения с словом *kaŗtas*:

ст.-слав. *dъva kraty*: лит. *dû kartû* «дважды»;

ст.-слав. *tri kraty*: лит. *tris kartûs* «трижды» и т. д.

Имеются в славянских и балтийских языках общие слова германского происхождения, как, например:

ст.-слав. *kotylъ*, русск. *комел*: лит. *kãtilas*, латыш. *katls*, прусск. *catils*; ср. готск. *\*katils* (род. падеж мн. числа *katile* «χαλκίω»);

русск. и церк.-слав. *stъklo*: лит. *stiklas*, латыш. *stikls*, прусск. *sticlo* «стакан для питья»; ср. готск. *stikls* «чаша, кубок».

Наконец, нельзя не упомянуть здесь, что на территориях славянских и балтийских языков имеются общие названия рек и озер. Я приведу здесь только некоторые из них:

*Nida* — левый приток Вислы: лит. *Niedà, -õs* — река в уезде Лаздияй, и *Niedûs, -aûs* — озеро в том же уезде; названия эти происходят несомненно от корня, который содержится в санскритском глаголе *nedati* «течет».

*Srem* — город на реке Варта и *Srijem* из *\*Sermъ*: лит. *Sërmas* — река в уезде Таураге; названия эти, повидимому, состоят в родстве с санскр. *sârma-h* «течение».

*Wieprz* — правый приток Вислы; *Wieprzec* — правый приток реки Скавы (правого притока Вислы) и т. д.: лит. *Veprûs, -io* — озеро в уезде Зарасай; мн. число *Vẽpriai, -ių* — местность в уезде Вилкомир.

*Wisa* — левый приток Одры и правый приток Бебжи (правого притока реки Нарев): лит. *Viešà, -õs* — река в уезде Утена и *Vieštà, -ios* — река в уезде Каунас.

Населенные местности, расположенные на реках и озерах, получают и в славянских, и в балтийских языках названия от этих рек и озер, причем для образования этих названий служит один и тот же суффикс: *-ъsko-* в славянских и *-išk-io-* в балтийских языках: *Полома* — правый приток Двины: *Полоцк*, раньше *Полотескъ*; польск. *Peltew* — правый приток реки Нарев (теперь *Pelta*): *Pultusk*, раньше *Pottowsk(o)* и *Peltowusk*; лит. река *Курà*: *Kùpiškis*; *Pilvè* — река в уездах Мариямполе и Вилкавишкис: *Pilviškiai* — местность в уезде Вилкавишкис, *Vilkaujã* — река в уезде Вилкавишкис: *Vilkaviškis* — город.

\*

Подводя итоги всему предыдущему изложению, следует сказать следующее.

Славянские и балтийские языки являются продолжением диалектов одной славяно-балтийской языковой группы. Эту группу надо представлять себе как одно целое, т. е. как происшедшую из одного языка, выделившегося в свою очередь из индоевропейской языковой группы.

Мы не нашли ни одной особенности, которая противоречила бы гипотезе о первоначальном единстве славянских и балтийских языков, т. е. об их происхождении из одного языка. «Старое, унаследованное звуковое различие балтийских и славянских языков», каковое Я. М. Эндзелин видит в разной судьбе *s* после *i, u, r, k*, оказалось лишь мнимым.

Я. М. Эндзелин полагает, что от прочих индоевропейских языков балтийские языки отличаются отчасти своей лексикой и, кроме того, следующими особенностями:

1. Первоначальные звуки сохранились в балтийских языках лучше, чем в каком-либо другом живом индоевропейском языке.

2. Звук *i* исчез в балтийской языковой группе в положении после согласных и перед следующими гласными переднего ряда.

3. *m* сохранилось также в положении перед следующими зубными согласными.

4. В спряжении для 3-го лица всех чисел имеется только одна форма (Ср. «*Baltu valodu skaņas un formas*», стр. 9).

Но ни лексика, ни перечисленные особенности в области фонетики не могут быть использованы в духе гипотезы Я. М. Эндзелина о первоначальной независимости балтийской языковой группы от славянской.

Лексика славянских и балтийских языков содержит в себе, как это заметил уже Я. М. Эндзелин, много общих элементов, склоняемых и спрягаемых одинаково. Поэтому мы вправе утверждать, что славяне и балты понимали друг друга, говоря на своих языках, не только в эпоху единства, но и долго после его разрыва.

Славянские языки обладают в исторические времена действительно менее древней фонетикой. Но это объясняется, конечно, только тем, что они, начиная с известной эпохи, стали изменяться интенсивнее, чем балтийские языки.

Одним из признаков древности балтийской фонетики является, по мнению Я. М. Эндзелина, сохранение первоначального *m* в положении перед зубными согласными. Эта особенность на самом деле заслуживает внимания, если сравнивать балтийские языки, например, с латинским (лит. *šimtas*: лат. *centum*), но лишена всякого значения по сравнению с славянскими. Ведь сочетания с первоначальным *m* дали здесь носовые гласные звуки, подобно тому как и сочетания с *n*; ср. старославянские слова *devětъ*, *desětъ* рядом с лит. *deviñtas*, *dešiñtas*. Относительно более ранней стадии развития славянских языков в этом отношении нет никаких данных.

Звук *i* в положении после согласных и перед гласными переднего ряда исчезал, по видимому, и в славянских языках. Во всяком случае вопрос этот нуждается в подробном рассмотрении; ср. то, что сказано выше о чередовании *iā*: (*i*)*e*.

Обобщение в спряжении формы 3-го лица ед. числа во всех трех числах относится к самостоятельной жизни уже обособившихся балтов и не может служить аргументом ни против, ни в пользу гипотезы о первоначальном славяно-балтийском языковом единстве.

Рассматривая вопрос о взаимосвязях славянских и балтийских языков, ученые ограничиваются обычно сопоставлением реконструированного «праславянского» языка с литовским. Но это вряд ли правильно. Ведь таким образом сопоставляется язык значительно уже измененный (каковым был «праславянский») с тем языком восточно-балтийской группы, который отличается исключительным консерватизмом, особенно в той разновидности, каковую представляет собой литовский литературный язык. Древний характер литовского языка поражает наблюдателя не только при сравнении с славянскими языками, но и с латышским.

Во всяком случае сопоставление «праславянского» (или старославянского) языка с литовским не исчерпывает вопроса о славяно-балтийских языковых связях. Чтобы вполне осознать сущность этих взаимосвязей, надо иметь в виду не только древнейшие явления балтийских языков, сохранившиеся главным образом в литовском литературном языке, но и те, которые возникли в более поздние времена в связи с языковыми взаимоотношениями славян и балтов. Эти явления мы называем территориальными.

Славяно-балтийские территориальные языковые явления распадаются, по-моему, прежде всего на три группы. Одна из них относится ко вре-

мени существования еще единой (без заметного расчленения на диалекты) славянской языковой группы, но уже двух балтийских групп: западной (прусской) и восточной (литовско-латышской). Другую группу славяно-балтийских территориальных явлений следует приурочить к эпохе не распавшейся еще на отдельные языки славянской языковой группы, но самостоятельной уже жизни литовского и латышского языков. Третью группу составляют те территориальные явления, которые обнаружилились в отдельных языках расчлененной уже славянской языковой группы и в отдельных балтийских языках.

Важным общим нововведением славянской и восточно-балтийской языковых групп является, например, форма род. падежа ед. числа на *-ā* у слов с основой на *-o-*: ст.-слав. *vlōka* из *\*vylkā*: лит. *vīlko*, латыш. *vīlka*. Другая замечательная общая особенность — это форма дат. падежа ед. числа муж. (и ср.) рода местоимений, имеющая окончанием *-mōi* (в прусском *-smōi*): ст.-слав. *tomu*; лит. *tamui*, *tām*, латыш. *tam* (прусс. *stesmu*).

Есть и явления, свойственные, с одной стороны, славянским языкам, с другой, только латышскому и прусскому языкам. Одно из таких явлений — это нисходящий характер длительной (циркумфлексовой) и восходящий характер прерывистой (акутовой) интонации в славянских, а также в прусском и латышском языках в отличие от восходящего характера циркумфлекса и нисходящего характера акута в литовском языке. Другой пример: *š* из *si* в славянских, латышском и прусском языках в отличие от *ś* в литовском языке: ст.-слав. *šiti* из *\*siuti*; латыш. *šūt*, прусск. *schuwikis* «сапожник» рядом с лит. *siūti*.

Есть и такие явления, которые наблюдаются, с одной стороны, в славянской языковой группе, с другой, только в латышском языке. В славянских языках произошла, как известно, двоекратная палатализация заднеязычных согласных *k*, *g*, *ch* — сначала в шипящие *č*, (*dž*), *š* (перед первоначальными гласными переднего ряда и в сочетании с *i*), а затем в свистящие *ç*, (*dž*), *š* (или *ṣ̌*) перед вторичными гласными переднего ряда. Этим палатализациям соответствует в латышском языке переход *k*, *g*, если им не предшествовало *s*, перед первоначальными гласными переднего ряда, а также и в сочетании с *i* в *ç*, *dž*.

Что касается третьей группы славяно-балтийских территориальных явлений, то здесь примером может служить судьба сочетаний *tj*, *dj*. Эти сочетания дали в восточнославянских языках аффрикаты *č*, *dž*, причем вторая из них *dž* изменилась впоследствии в *ž* > *ẓ̌*. Так же изменились сочетания *tj*, *dj* и в восточнобалтийской языковой группе, но с течением времени в латышском языке произошло упрощение, которое охватило, однако, не только *dž* (как в восточнославянских языках), но и *č*: лит. *plāūšiai* «сегки», *brīdžiai* «лоси»: латыш. *plāuši*, *brīēži*.

Отстаивая первоначальное славяно-балтийское единство, приходится все же констатировать, что в течение известного периода времени тот славянский язык-основа, который дал начало историческим славянским языкам, развивался совершенно независимо от известного нам балтийского ответвления.

За этот период балты сохранили свой давний задний уклад органов речи, в то время как славяне приняли передний уклад. В языке славян это изменение сказалось прежде всего в том, что их долгое заднее *ū* превратилось в более переднее *y*; этот процесс имел своим дальнейшим последствием изменения дифтонгов со вторым элементом *u* в монофтонги: *au* (из *au*, *ou*) > *u*, *iau* (из *iu*) > *iu*. Новый передний уклад органов

речи способствовал, понятно, и палатализации согласных, особенно заднеязычных *k, g, ch* [ $> \check{c}$ , (*d*) $\check{z}$ ,  $\check{s}$ ; *c*, (*d*)*z*, *s* или  $\check{s}$ ].

У балтов все это осталось попрежнему. У них не изменилось долгое  $\bar{u}$ , вследствие чего сохранились и дифтонги с вторым элементом *u*: *au* (из *au, ou, eu*) и *iau* (из  $\bar{e}u$ ). Не подверглись палатализации и согласные, в том числе заднеязычные согласные *k, g*. Что касается палатализации заднеязычных *k, g > c, dz* в латышском языке, то она относится, повидимому, уже к более позднему времени и возникла как одно из славяно-балтийских территориальных явлений.

Независимое развитие языка предков славян было возможно только потому, что они на протяжении известного промежутка времени не жили совместной жизнью с предками нынешних балтов — их разделяли, повидимому, исчезнувшие впоследствии славяно-балтийские племена. Но по истечении этого периода славяне вновь вошли в соприкосновение с балтами<sup>6</sup>. Тогда-то именно и стали возникать те территориальные явления, о которых речь была выше. Благодаря этим явлениям особенно тесно связанными оказались восточнославянские (русские) языки и латышский. Латышский язык стал в этот период своего рода переходным языком от балтийских к славянским.

<sup>6</sup> Наличие периода разрыва тесной связи между предками нынешних балтов и славян признавал в свое время и Я. Розвадовский (ср. «Rocznik slawistyczny», V, стр. 17—24).

## ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. Д. КАЦНЕЛЬСОН

### ТЕОРИЯ СОНАНТОВ Ф. Ф. ФОРТУНАТОВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

Заслуги акад. Филиппа Федоровича Фортунатова, основателя московской лингвистической школы, одного из ведущих представителей сравнительно-исторического языкознания конца XIX и начала XX в., широко известны и общепризнаны. Сделанные им наблюдения и открытия первостепенной важности, относящиеся к области сравнительной грамматики индоевропейских языков, уже давно прочно вошли в обиход мировой науки, отчасти прямо под именем «законов Фортунатова». И все же неправильно было бы рассматривать тему о Фортунатове как имеющую лишь историко-лингвистическое значение. Оценивая роль научного наследия выдающегося русского ученого, проф. М. Н. Петерсон справедливо писал: «Тщательно обработанные и глубоко продуманные курсы Ф. Ф. не утратили интереса и в наши дни. Многие положения сохранили полное свое значение, многие не только не получили полного развития, но ждут еще дальнейшей разработки»<sup>1</sup>.

Между тем наследие Ф. Ф. Фортунатова целиком все еще не вошло в широкий научный обиход. По свидетельству учеников, Ф. Ф. Фортунатов публиковал свои труды редко и неохотно, предпочитая работу по руководству учениками и чтение университетских курсов. Литографированные записки его слушателей, давно уже ставшие библиографической редкостью, также не отражают полностью его научной концепции на всех этапах ее развития. Посмертные издания лекций по фонетике старославянского языка и сравнительной фонетике индоевропейских языков заполнили важный пробел, но далеко не исчерпывают рукописное наследие, оставшееся после смерти выдающегося ученого. Необходима поэтому кропотливая работа по изучению различных материалов, составляющих это наследие, а также трудов других представителей московской лингвистической школы.

Знакомство с системой взглядов Фортунатова в ряде случаев затрудняется еще характерной для его трудов особой, односторонне индуктивной, манерой изложения. Глубокое проникновение в суть явлений позволило Фортунатову выработать оригинальную концепцию, охватывающую обширные области индоевропейского языкознания. Как верно заметил акад. А. А. Шахматов, «в трудах Фортунатова нас поражает глубокий проникновенный анализ: изучаемым им явлениям давалось столь яркое освещение, что оно своею силой озаряло и все смежные обла-

<sup>1</sup> М. Н. Петерсон, Фортунатов и московская лингвистическая школа, «Ученые записки [Моск. ун-та]», вып. 107, 1946, стр. 28—29.

сти, вызывая стройные научные представления о целых группах соседних явлений»<sup>2</sup>. При этом, однако, изложение строилось так, что каждое явление рассматривалось порознь, а обобщения и выводы не подчеркивались и оставались скрытыми в массе частных замечаний. Такое изложение как бы приглашает читателя самостоятельно пройти весь тот логический путь, идя которым автор пришел к своим заключениям. Поэтому для суждения о теоретических взглядах Фортунатова в ряде случаев оказывается необходимым свести воедино его многие частные высказывания.

Систематической разработке и дальнейшему развитию многих выдвинутых Фортунатовым положений несомненно мешала и атмосфера нигилистического отношения к науке прошлого, создававшаяся последователями «нового учения» о языке, к числу которых раньше принадлежал и автор данной статьи. Н. Я. Марр и его сторонники либо вовсе отвергали сравнительный метод, либо приспособляли его к нуждам ошибочной теории. Критический пересмотр прежних взглядов и отказ от ошибок марровского толка побудили меня углубиться в изучение сравнительного языкознания и привели к убеждению в актуальности систематической разработки фортунатовских взглядов и их проверки в свете новых фактических данных на основе принципов современного советского языкознания.

\*

Теория сонантов является составной частью теории индоевропейского чередования гласных и вместе с последней составляет один из важнейших разделов сравнительной фонетики индоевропейских языков.

Специальным объектом теории сонантов являются, как известно, группы звуков, состоящие из гласного и сонанта, и их изменения в зависимости от места ударения в слове. В качестве сонантов здесь выступают не только *i, u*, но также *r, l, m, n*. В сильной позиции, т. е. под ударением, гласные имеют полное образование («полную ступень»), а сочетающиеся с ними сонанты не имеют, как и все прочие согласные, слогаобразующей функции. Но в слабой позиции, когда гласные, будучи неударенными, сокращаются («ступень редукции»), сонанты, в отличие от других согласных, приобретают слогаобразующую функцию и тем самым приближаются по своему характеру к гласным звукам, либо даже полностью превращаются в гласные. В последнем случае сравнительная грамматика говорит о слоговых сонантах и обозначает их в виде *i, u, r, l, m, n*. При этом сравнительная грамматика учитывает еще и количественные различия между сонантами, имеющими, по меньшей мере в слабой позиции, то краткость, то долготу, например *i* и *ī*, *r* и *r̄*.

Фортунатов во многом разошелся с общепринятой теорией сонантов, наиболее подробно и систематически разработанной Ф. де Соссюром. Чтобы сделать более наглядными эти расхождения, представим их в виде таблицы (см. стр. 49). Как видно из таблицы, расхождения между Фортунатовым и де Соссюром касаются как групп с кратким сонантом, так и групп с долгим сонантом. Если отвлечься от некоторых частности (вроде выделения Фортунатовым дополнительного общиндоевропейского сонанта *λ* или разграничения слоговых и неслоговых редуцированных гласных), то основные расхождения между двумя теориями могут быть сведены к нескольким наиболее характерным моментам.

<sup>2</sup> А. А. Шахматов, Филипп Федорович Фортунатов. Некролог, «Известия Имп. Акад. наук», 1914, стр. 967.

	Группа с кратким сонантом		Группа с долгим сонантом	
	Полная ступень	Степень редукции	Полная ступень	Степень редукции
По де Соссюру	<i>ei/je</i> <i>er/re</i>	<i>i</i> <i>r</i> o	<i>eiā</i> <i>erā</i>	<i>ī</i> <i>r̄</i> o
По Фортунатову	<i>ei/je</i> <i>er/re</i>	<i>i</i> <i>ar/ra</i> o	<i>eī</i> <i>er̄</i>	<i>ī</i> <i>ar̄</i> o

Прежде всего следует отметить разницу в понимании природы слоговых сонантов. Де Соссюр, вслед за К. Бругманом, склонен был приравнивать все без исключения слоговые сонанты к гласным. По Фортунатову, только сонанты *i* и *ɥ* превращаются в слабой позиции в гласные, в силу чего их можно назвать гласными сонантами, остальные же сонанты, становясь в слабой позиции слогаобразующими звуками и приближаясь тем самым к гласным, тем не менее полностью не теряют свойств согласных звуков и могут быть поэтому выделены в качестве сонантов. В соответствии с этим в сильной позиции Фортунатов различал дифтонги, т. е. сочетания гласных с гласными сонантами, и дифтонгические сочетания, т. е. сочетания гласных с согласными сонантами. Только в дифтонгах гласный в слабой позиции полностью редуцируется и как бы поглощается слоговым сонантом; в дифтонгических же сочетаниях гласный не исчезает, а сохраняется в виде краткого и неустойчивого, так называемого «иррационального» гласного, который Фортунатов независимо от качества этого гласного обозначал символом *a*.

В своих воззрениях на природу слогового сонанта Фортунатов не был одинок. Аналогичных взглядов придерживались и некоторые другие языковеды (например, Иог. Шмидт, И. В. Ягич), также выступавшие против чистых вокализованных сонантов Бругмана и де Соссюра. Но только у Фортунатова эти идеи переплетаются с другими важными положениями, вместе с которыми они образуют стройную и детально разработанную теорию.

Другая важная особенность фортунатовской теории сонантов касается долгих сонантов. Де Соссюр, как видно из приведенной выше таблицы, признавал существование долгих сонантов только в слабой позиции. Так как де Соссюр рассматривал слоговые сонанты как гласные, то долгие слоговые сонанты были для него лишь разновидностью долгих гласных. Фортунатов же признавал долготу сонантов безотносительно к позиции. Он допускал существование не только долгих слоговых сонантов, но также долгих неслоговых сонантов. При этом долгие сонанты, как слоговые (кроме *i* и *ɥ*), так и неслоговые, рассматривались им как разновидность долгих согласных.

Различие этих точек зрения особенно ясно сказывается в определении полной ступени от долгих слоговых сонантов. Де Соссюр восстанавливал ее в виде двухслоговых сочетаний типа *eɥā*, *erā*, где *ə* особая общиндо-европейская гласная фонема, определяемая соответствием др.-инд. *i*, греч. *ε*, *α*, *ο*, слав. *o*, лат., лит. и герм. *a*. Он опирался при этом на такие случаи чередования корней, как в др.-инд. *bhūtis* «происхождение» и *bhāvitum* «быть», где долгий сонант *ī* является ступенью редукции от



сочетания *avi* из более древнего \**euā*, или как в др.-инд. *jātas* «рожденный» при *janitar* «родитель», где долгий сонант  $\bar{n}$  (= др.-инд. *a*) предполагает полную ступень *enā* (= др.-инд. *ani*). Но полная ступень с гласным *э* засвидетельствована далеко не во всех индоевропейских языках. В ряде языков, как, например, славянских и балтийских, встречается полная ступень без *э*. Ср. лит. *girtas* «пьяный», где *ir* из  $\bar{r}$  (или, по Фортунатову, из  $a\bar{r}$ ), и *gerti* «пить», где *ér* — полная ступень без *э*. Или еще лит. *pažinti* «знать» с *in* из  $\bar{n}$  (или, по Фортунатову, из  $a\bar{n}$ ) и *ženklas* «знак» с полной ступенью  $\bar{en}$  без *э*. Если де Соссюр при реконструкции общеиндоевропейской полной ступени, соответствующей долгим слоговым сонантам, исходил из двухсловных сочетаний с гласным *э*, то Фортунатов предпочитал брать за основу дифтонги и дифтонгические сочетания без *э*, определяя сонант в таких дифтонгах и дифтонгических сочетаниях как долгий. Нельзя не заметить, что такая реконструкция придает теории сонантов Фортунатова особую стройность и последовательность. По сути дела теория сонантов Фортунатова является теорией дифтонгов и дифтонгических сочетаний. Во всех рассматриваемых случаях мы имеем дело, согласно этой теории, только с дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями, которые различаются между собой в зависимости от количества звука в сонантах и места ударения в слове. Параллелизм в поведении краткосонантных и долгосонантных групп оказывается при таком рассмотрении полным: в слабой позиции как те, так и другие одинаково видоизменяются, ослабляя гласный элемент. Соссюровская теория сонантов такого параллелизма не знает, и в ней переход от полной ступени к ступени редукции совершается в разных случаях неодинаково.

Но на чем основывался Фортунатов, допуская долготу сонанта в полной ступени? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к его учению о балтийско-славянской и, шире, общеиндоевропейской интонационной системе. И здесь мы можем отметить еще одну существенную особенность фортунатовской теории сонантов, отличающую ее от общепринятой, а именно — ее органическую связь с акцентологией.

В 1880 г. в статье, посвященной сравнительной акцентологии балтийских и славянских языков, Фортунатов в числе других положений выдвинул «чрезвычайно новую и неожиданного рода идею»<sup>3</sup> о связи литовских слоговых интонаций с количественными различиями в вокализме древнеиндийского, греческого и латинского языков<sup>4</sup>. Здесь впервые было замечено, что литовским дифтонгическим сочетаниям  $i\bar{r}$ ,  $i\bar{l}$  (с циркумфлексной интонацией) в древнеиндийском соответствует  $\bar{r}$ , восходящее к общеиндоевропейским кратким слоговым сонантам  $\bar{r}$  и  $\bar{l}$ , а тем же литовским дифтонгическим сочетаниям с акутовой интонацией *ir*, *il* в древнеиндийском соответствуют  $\bar{r}$ ,  $\bar{r}$  из общеиндоевропейских долгих слоговых сонантов  $\bar{r}$  и  $\bar{l}$ . Ср. лит. *miřtas* и др.-инд. *mṛtā* «мертвый», лит. *vilkas* и др.-инд. *vřka* «волк» и, с другой стороны, лит. *žirnis* «горошина» и др.-инд. *řrnam* «истертое», лит. *pilnas* и др.-инд. *pūrna* «полный». Впоследствии было установлено, что подобные отношения наблюдаются и в дифтонгических сочетаниях с носовыми сонантами.

Открытие древних связей литовского (и, шире, балтийско-славянского) циркумфлекса с краткостью сонанта, а литовского (балтийско-славян-

<sup>3</sup> F. de Saussure, A propos de l'accentuation lituanienne, «Recueil des publications scientifiques», Heidelberg, 1922, стр. 496.

<sup>4</sup> См. Ph. Fortunatov, Zur vergleichenden Betonungslehre der lituslavischen Sprachen, «Archiv für slavische Philologie», Bd. IV, 1880.

ского) акута с долготой сонанта на ступени редукции позволило Фортунатову реконструировать аналогичные отношения и для полной ступени.

Что касается полной ступени от кратких слоговых сонантов, отличающейся в балтийских и славянских языках циркумфлексной интонацией, то связь ее с общеиндоевропейскими дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями с кратким сонантом лежит, так сказать, на поверхности. Ср. лит. *snīėgas* «снег», серб. *snēg* из и.-е. \**sneigʰh*, либо еще: лит. *gārdas*, русск. *гѣрод*, серб. *grād* из и.-е. \**ghordh-*, с циркумфлексом, в литовском и сербском засвидетельствованным непосредственно, а в русском языке — косвенно, в виде ударения на первом гласном в полногласном сочетании *оро*. Труднее показать, что дифтонги и дифтонгические сочетания, представляющие в балтийских и славянских языках полную ступень от долгих слоговых сонантов и выявляющие закономерно акутовую интонацию (ср. лит. *bėrzas*, русск. *берѣза*, серб. *brėza* с акутированным дифтонгическим сочетанием *ėr*, составляющим полную ступень к и.-е.  $\bar{r}$  или, по Фортунатову,  $a\bar{r}$ , засвидетельствованному в др.-инд. *bhūrja-*), продолжают общеиндоевропейские дифтонги и дифтонгические сочетания с долгим неслоговым сонантом. Фортунатов показал это путем сложных сопоставлений и умозаключений.

Он установил прежде всего, что древнейшим типом акутированных дифтонгов и дифтонгических сочетаний в балтийско-славянском являются дифтонги и дифтонгические сочетания с долгим неслоговым сонантом, прямо засвидетельствованные в латышском языке и обнаруживаемые при помощи реконструкции в русском. Он показал далее, что балтийско-славянские интонации и количественные отношения полнее и лучше отражают общеиндоевропейское состояние, чем соответствующие данные других индоевропейских языков. Поэтому, когда перед Фортунатовым встала необходимость определить, какая из двух форм полной ступени является более древней — двухслоговая ли форма типа *eiə*, *eə*, как она выступает в древнеиндийском и некоторых других индоевропейских языках, или же акутированные дифтонги и дифтонгические сочетания типа *eī*, *eĕ*, предполагаемые всей системой балтийско-славянских фактов, — то предпочтительно в этом отношении было оказано балтийско-славянскому типу.

Фортунатов писал по этому поводу: «... в индоевропейских дифтонгах и дифтонгических сочетаниях на сонорную согласную по отношению к количеству целого дифтонга или дифтонгического сочетания (без отношения к количеству слоговой части) я определяю различие между дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями с кратко неслоговою частью и дифтонгами и дифтонгическими сочетаниями с не кратко неслоговою частью...»<sup>5</sup>. И в другом месте: «Иначе смотрят другие, например немецкие лингвисты, на природу общеиндоевропейских дифтонгов и дифтонгических сочетаний, так как они не находят долгой неслоговой части в общеиндоевропейских дифтонгах и дифтонгических сочетаниях»<sup>6</sup>.

Фортунатов полагал, что количественные различия как в гласных, так и в сонантах еще в индоевропейском языковом состоянии были неразрывно связаны с интонационными различиями. Так, об общеиндоевропейских дифтонгах *ei*, *oi*, *ai* и *eu*, *ou*, *au* он писал, что в них «... по отношению к количеству неслоговой части различались дифтонги с краткими *i* и *u* и дифтонги с долгими *ī* и *ū*, причем в последнего рода

<sup>5</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Об ударении и долготе в балтийских языках, I—Ударение в прусском языке, «Русский филологический вестник», т. XXXIII, 1895, стр. 283.

<sup>6</sup> Из неопубликованных заметок Ф. Ф. Фортунатова по поводу статьи И. Шмидта «Тройная долгота в латышском языке» (Архив АН в Ленинграде, фонд 90, оп. 1, № 31, стр. 54).

дифтонгах количество целого дифтонга представляло долготу длительную по качеству...»<sup>7</sup> Та же «длительная долгота» или, в переводе на обычную терминологию, та же акутовая интонация прослеживалась Фортунатовым и в дифтонгических сочетаниях с долгими сонантами, а также в ступени редукции всех дифтонгов и дифтонгических сочетаний с долгим сонантом<sup>8</sup>. Соответственно в дифтонгах и дифтонгических сочетаниях с кратким сонантом, а также в их ступени редукции прослеживалась «прерывистая долгота» или, что то же, циркумфлексная интонация. Таким образом, данная в приведенной выше таблице характеристика общеиндоевропейских дифтонгов и дифтонгических сочетаний по Фортунатову должна быть теперь дополнена указаниями на их акцентологические свойства.

Характерной отличительной особенностью фортунатовской теории сонантов является также признание общеиндоевропейского чередования кратких и долгих сонантов. «Долгие сонорные согласные, — писал Фортунатов, — как неслоговые, так и слоговые, могли чередоваться в общеиндоевропейском языке с соответственными по качеству краткими сонорными согласными»<sup>9</sup>. Так, например, сопоставляя греч. *καρδία* при *καρδίη* «сердце» с лат. *cor* (из \**cord*), ст.-слав. *сръдъце*, русск. *сѣрдце*, серб. *срѣце*, лит. *širdis* (вин. п. ед. ч. *širdį*), Фортунатов вскрывал в основе славянских и балтийских примеров балт.-слав. *ir* с долгим слоговым плавным и, соответственно, акутовой интонацией, чередующееся с краткосонантным *ar*, лежащим в основе примеров из греческого и латинского<sup>10</sup>. Рядом с отрицательной приставкой *ar-* (с кратким носовым сонантом), представленной в др.-инд. *a-pād* «безногий», греч. *ἄ-πους*, им отмечалась приставка *ar-* (с долгим носовым сонантом) в греч. гомер. *ἀμφαδίη* «отсутствие способности говорить»<sup>11</sup>.

Чередования гласных по количеству, как и чередования сонантов по количеству, определяли собой различные морфологические варианты одного корня и играли существенную роль в общеиндоевропейской морфологии. Дополняя теорию общеиндоевропейского чередования гласных данными о чередовании сонантов, фортунатовская теория сонантов поднимала большой вопрос о существовании в общеиндоевропейском языке разветвленной системы чередований согласных наряду с чередованиями гласных.

Особенности теории сонантов Фортунатова не исчерпываются только что рассмотренными моментами. С этой теорией связаны и из нее вытекают выводы по таким смежным вопросам сравнительной грамматики, как определение происхождения и свойств общеиндоевропейского «неопределенного» гласного (ə), проблема удлинения гласных и выяснение роли и места долгих согласных в фонетической системе индоевропейских языков. Краткое рассмотрение этих добавочных вопросов поможет понять значительность разработанной Фортунатовым теории сонантов.

1. Фонема ə. Господствующие воззрения на природу и происхождение фонемы ə были, как известно, впервые сформулированы де Соссю-

<sup>7</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков, Пб., 1922, стр. 148.

<sup>8</sup> См. там же, стр. 187, 198 и 43.

<sup>9</sup> Там же, стр. 43.

<sup>10</sup> См. там же, стр. 51.

<sup>11</sup> См. там же, стр. 66 и 70.

ром. Опираясь на тот факт, что фонема *ə* в ряде случаев выступает в качестве ступени редукции от так называемых исконных долгих гласных, де Соссюр счел возможным свести это чередование фонемы *ə* с «исконными» долгими гласными к обычному типу индоевропейского чередования гласных, предположив, что «исконные» долгие гласные являются следствием слияния краткого гласного с исчезнувшими гипотетическими сонантами и что фонема *ə* отражает такой гипотетический сонант в слоговой функции. Таким образом, гипотетические сонанты приравнивались к фактически засвидетельствованным сонантам *i, u, r, l, m, n* в том смысле, что и за ними признавалось в ступени редукции свойство превращаться в слоговой звук. Вместе с тем гипотетическим сонантам приписывалось свойство исчезать в полной ступени, соответственно удлиняя предшествующий краткий гласный. Впрочем де Соссюр полагал, что гипотетические сонанты обладали свойством удлинить при своем исчезновении не только гласные полного образования, но также обычные слоговые сонанты; общеиндоевропейские долгие слоговые сонанты *i, u, r, l, m, n* расшифровывались с этой точки зрения как следствие слияния соответственных кратких слоговых сонантов с *ə*.

В соссюрской трактовке фонемы *ə* был один уязвимый пункт. Дело в том, что фонема *ə* реально встречается не только как ступень редукции от исконных долгих гласных, но и в таких случаях, когда чередование с долгими гласными практически не засвидетельствовано, как в «двухслоговых» корнях типа *ḡenə-* (др.-инд. *janī-*, греч. *γάνη-*). Встает вопрос, можно ли и в случаях последнего рода рассматривать *ə* как рефлекс общеиндоевропейского слогового сонанта и, следовательно, как ступень редукции. Немецкий компаративист Г. Хирт распространил формулу де Соссюра на все случаи, допустив, что и в «двухслоговых» корнях фонема *ə* является следствием редукции исконного долгого гласного и что «двухслоговой» корень типа *\*ḡenə-* должен быть возведен к гипотетической «базе» типа *\*ḡenē-* как его полной ступени. Однако гипотетические «базы» этого рода фактически ни в одном индоевропейском языке не засвидетельствованы, и ученик Фортунатова В. К. Поржезинский был прав, назвав их «теоретической реконструкцией»<sup>12</sup>.

Фортунатов высказался против одинаковой трактовки фонемы *ə* во всех случаях. Имея в виду «двухслоговые» корни, он писал: «По господствующему мнению лингвистов (не отличающих в общеиндоевропейском языке долгие неслоговые звуки от кратких), общеиндоевропейская гласная *ə* имела в этих случаях такое же фонетическое происхождение, как и в случаях первого рода, т. е. получалась вследствие сокращения гласных *a* различного качества... Я думаю, однако, что в случаях второго рода общеиндоевропейская гласная *ə* по самому происхождению не находилась в чередовании с *a* различного качества и представляла собою такую гласную, которая развивалась фонетически, т. е. вставлялась после долгого неслогового звука... в положении перед известными согласными или группами согласных, и притом употреблялась не одинаково во всех диалектах»<sup>13</sup>.

В случаях типа *\*ḡenə-* фонема *ə* является, следовательно, согласно Фортунатову, своего рода фонетической вставкой, развившейся в определенном положении после долгого сонанта, первоначально замыкавшего такие корни, другими словами, *\*ḡenə-* из более раннего *\*ḡēy-*.

<sup>12</sup> В. Поржезинский, Очерк сравнительной фонетики древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков, М., 1912, стр. 41.

<sup>13</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков, стр. 27–28.

2. Удлинение гласных. Помимо «исконных» долгих гласных сравнительная грамматика выделяет, как известно, в общеиндоевропейском языке состоянии еще долгие гласные вторичного происхождения. Если «исконные» долгие гласные чередуются с *ə* как своей ступенью редукции, то вторичные долготы чередуются с соответственными краткими гласными в качестве «ступени удлинения» последних. Происхождение ступени удлинения пытался выяснить немецкий лингвист В. Штрейтберг, теория которого получила весьма широкое распространение. Этой теории противостоит теория Фортунатова, вытекающая из его теории сонантов.

Согласно теории Штрейтберга, удлинение гласных было по происхождению заменительным, т. е. появлялось в ударенном гласном в результате утраты гласного следующего слога, как бы заменяя, компенсируя утраченную мору продлением предшествующего гласного и оставляя количество звука в слове неизменным. В специальной статье, посвященной этому вопросу, Штрейтберг особое внимание уделил происхождению литовского акута, усматривая в фактах этого рода наглядное подтверждение своей теории. Литовский акутовый слог, например *bēr-* (в *bėrnas* «батрак, парень»), соответствует, как сказано, двухслоговому сочетанию *bherə-* в других индоевропейских языках (например, в др.-инд. *bhari-man* «бремя», греч. *φέρρ-τρον* «носилки»). Считая, согласно общепринятому мнению, двухслоговый комплекс в случаях этого рода первичным, а акутовый слог позднейшим видоизменением этого комплекса, Штрейтберг, отмечая долготу *e* в лит. *bēr-*, видел в ней прямое следствие отпадения *ə*<sup>14</sup>.

Опираясь на свою теорию сонантов, Фортунатов выдвинул иное объяснение «протяженного звукового вида». Фортунатов не считал возможным поддержать штрейтберговскую трактовку литовских фактов, согласно которой долгота гласного *e* (или *a*) в акутовом дифтонге или дифтонгическом сочетании является следствием утраченного гласного в последующем слоге. Ссылка на литовские факты должна быть, по мнению русского языковеда, устранена хотя бы потому, что она не поддерживается фактами других балтийских, а также славянских языков. «Сравнение с другими балтийскими языками не допускает... никакого сомнения в том, что долгота этих литовских *a* и *e*, равно как и бывшая некогда в общелитовском языке полудолгота их..., представляет собою явление специально литовское»<sup>15</sup>, т. е. явление, не свойственное балтийским и славянским языкам в целом.

Сам Фортунатов видел в удлинении гласных следствие перехода к ним долготы от стоящего рядом долгого сонанта. «В литовск. *kālti*, латышк. *kāļt*, — писал он, — я вижу индоевроп. *ka<sup>o</sup>ṛ-* перед согласною, точно так же, как, напр., из литовск. *vaṛna*, латышк. *varna* (русск. *ворона*, сербск. *vrāna* и т. д.) я вывожу индоевроп. *va<sup>o</sup>ṛ-* перед согласною; в латышк. *kāļt*, *varna* и т. п. случаях до сих пор сохраняется полная (и притом «длительная», т. е. «непрерывистая») долгота сонорной согласной»<sup>16</sup>. Встречающиеся в латышских диалектах формы с долгим гласным типа *varna* произошли, с этой точки зрения, из *vaṛna*, и по аналогии с балтийскими фактами *ā* в др.-инд. *anī-* «втулка, чека», *panī*

<sup>14</sup> См. W. Streitberg, Die Entstehung der Dehnstufe, «Indogermanische Forschungen», Bd. III, 1893, стр. 315—317.

<sup>15</sup> Из неопубликованных заметок Ф. Ф. Фортунатова по поводу статьи И. Шмидта «Тройная долгота в латышском языке», стр. 56.

<sup>16</sup> Ф. Ф. Фортунатов, Индоевропейские шлавные согласные в древнеиндийском языке, «Характериз. Сб. статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша», М., 1896, стр. 483.

«рука» и др. может быть объяснено из более древнего  $\bar{a}l$ , с последующим удлинением  $a$  за счет долгого  $l$  и утратой  $l$  в позиции перед зубным согласным.

Пока все обстоятельства, сопутствовавшие процессу удлинения гласных, не будут полностью выявлены, трудно окончательно предпочесть одну теорию заменительного удлинения другой, тем более, что принцип сохранения количества звука в слове, лежащий в основе заменительных теорий, отнюдь не столь очевиден и сам нуждается в обосновании. Как одна теория удлинения гласных, так и другая не представляют собой изолированной концепции и тесно связаны с представлениями о многих других явлениях, не получивших еще исчерпывающего объяснения. Вопрос, следовательно, в целом остается пока открытым. В этих условиях было бы неправильно сбрасывать со счетов, как это нередко делается, предложенное Фортунатовым объяснение и исходить из теории Штрейтберга как якобы более вероятной.

3. Долгие согласные. Согласно господствующему мнению, общеиндоевропейскому языковому состоянию были чужды геминаты или, точнее, долгие согласные<sup>17</sup>. Исключение допускается лишь в отношении небольшого количества слов, например: др.-инд. *atta* «отец», греч.  $\alpha\tau\tau\alpha$ , лат. *atta*, гот. *atta* и т. д. или греч.  $\pi\acute{\alpha}\tau\tau\alpha\varsigma$  «дедушка», др.-инд. *amba* (по всей вероятности, из *amma*), *akka*, *alla* «мать», лат. *pappare* «есть» и т. д., где за удвоенными согласными признается общеиндоевропейская давность. Но в таких словах, которые объёмляются словами «летского языка» или экспрессивными словечками, вилят скорее отражение общечеловеческих речевых тенденций, чем проявление специфических черт родства индоевропейских языков.

Фортунатов и в этом вопросе разошелся с общепринятыми взглядами и выработал свою оригинальную точку зрения.

Выше уже отмечалось, какое большое значение Фортунатов придал долгим сонантам в системе общеиндоевропейского консонантизма. Рядом с долгими сонантами Фортунатов различал в общеиндоевропейском языковом состоянии и другие долгие согласные. Так, двухслоговой корень *pet-*, представленный в др.-инд. *pátitum* «лететь», *patiṣyáti* «будет лететь», греч.  $\pi\acute{\epsilon}\tau\alpha\iota$  «лечу», он возводил к *pet-* (с долгим  $\bar{e}$ ). Равным образом, гласный  $\bar{e}$  в др.-инд. *duhitā-* «дочь», греч.  $\delta\upsilon\gamma\acute{\alpha}\tau\eta\rho$  он относил к случаям, где  $\bar{e}$  возникло в качестве фонетической вставки после долгого согласного<sup>18</sup>. Долгота согласного во всех таких случаях являлась, по Фортунатову, закономерной чертой структуры индоевропейского корня.

Специфическая черта общеславянского языка, не допускавшего, как известно, удвоенных согласных и проявлявшего общую тенденцию к открытым слогам, объяснялась Фортунатовым как результат упрощения былых долгих согласных, частью продолжавших общеиндоевропейские долгие согласные (как в слове *отец*, где  $t$  из  $tt$ ), частью же возникших на местной почве. Особый разряд смягченных согласных в общеславянском возник, по его мнению, из долгих согласных, существовавших некогда в позиции перед  $j$ . Так  $tj$ ,  $dj$  превращались сначала в  $\bar{t}'$ ,  $\bar{d}'$ , позднее в  $\bar{z}$ ,  $\bar{g}$ , что дало в большинстве славянских языков *шт* (непосредственно из *шч*) и *жд*, а в русском языке — *ч* и *ж*<sup>19</sup>.

Характерное для общеславянского состояния упрощение групп со-

<sup>17</sup> Ср., например, Н. Нirt, *Indogermanische Grammatik*, Teil I, Heidelberg, 1927, § 254.

<sup>18</sup> См. Ф. Ф. Фортунатов, Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков, стр. 32—33.

<sup>19</sup> См. там же, стр. 231.

гласных протекало, по Фортунатову, также через геминацию. Так, сочетание согласных *kt* перед гласным переднего ряда изменялось сначала в долгое *m*, которое затем упрощалось; ср. ст.-слав. *дѣштити*, русск. *дочь* и лит. *duktė* или инфинитив *pešiti*, русск. *печь*, при *pek-* в *пекж*, русск. *пеку*.

В лекциях по готскому языку Фортунатов отмечал рефлексы общеиндоевропейских долгих согласных в германских языках, явно не соглашаясь с господствующими воззрениями, согласно которым германские геминаты представляют собой специфически германское явление. Сюда относятся прежде всего некоторые случаи с общегерманским  $\bar{i}$  (=гот. *ddj*), где оно более или менее явно прослеживается как продолжение общеиндоевропейского  $\bar{i}$ . Так, гот. *twaddje* «двух» может быть сопоставлено с лит. *dviejū*, где *ie* из дифтонга *ai* либо *ei*, и с греч. *δῖος*, где *i* не может восходить к простому индоевропейскому *i*. Фортунатов возводит все эти формы к общеиндоевропейской основе им. падежа *dvoī*, где к конечному *i* основы присоединился суффикс *-ia*. Если гот. *waddjus* «стена» от того же корня, что ст.-слав. *вити* или др.-инд. *vayati* «ткет», то герм.  $\bar{i}$  позволительно возводить здесь к общеиндоевропейскому *i* в дифтонге с долгим сонантом *eī*. Аналогичное толкование допустимо и в некоторых примерах с другими долгими согласными. В гот. *triggws* «верный», где *ggw* из общегерм.  $\bar{w}$ , Фортунатов усматривал отражение общеиндоевропейского дифтонга *eū*. Долгое *r* в гот. *fairra* «далеко» отражает общеиндоевропейское  $\bar{r}$ , как долгое *n* в гот. *kann* «я знаю» или *kinnus* «щека» может восходить к общеиндоевропейскому  $\bar{n}$ . Не отрицая возможности появления новых долгих согласных в германских языках, Фортунатов настаивал на мысли, что в ряде случаев германские геминаты свидетельствуют о более древних, общеиндоевропейских долгих согласных<sup>20</sup>.

\*

С тех пор как Фортунатов разработал теорию сонантов, сравнительная грамматика успела накопить новые материалы и во многом уточнить свои выводы. Как же выглядят основные положения фортунатовской теории теперь, спустя четыре десятилетия после смерти ее автора в свете новых данных?

Мы видели, что одним из основных положений, выдвинутых Фортунатовым в связи с его теорией сонантов, было допущение, вопреки господствовавшему мнению, долгих сонантов и, шире, долгих согласных вообще при характеристике структуры общеиндоевропейского корня. Следует подчеркнуть, что в дальнейшем развитии науки все яснее стала обозначаться тенденция в пользу признания долгих согласных в качестве закономерного элемента общеиндоевропейской фонетической системы.

А. Мейе был одним из первых, кто сделал существенный шаг в этом направлении. Продолжая стоять на позициях «экспрессивной геминации», Мейе тем не менее отошел от старых представлений в том смысле, что признал факт широкого распространения этого явления в общеиндоевропейском. «Экспрессивное удвоение, — писал он, — часто встречается в индоевропейском; оно, конечно, было особенно употребительно в обиходном языке, который плохо поддается сравнительному изучению»<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Из неопубликованных лекций Ф. Ф. Фортунатова по готскому языку 1889—1890 akad. г. в записи В. Поржезянского (Архив АН в Ленинграде, фонд 90, оп. 1, № 50, стр. 37—38, 44, 46—48).

<sup>21</sup> А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 154.

Что касается самого понятия «экспрессивности», к которому прибегает Мейе для объяснения общеиндоевропейской геминации, то оно на проверку оказывается весьма неопределенным и расплывчатым. Так, например, к «экспрессивным» словам Мейе относит гот. *twaddje*, др.-в.-нем. *zweio* «двух», значение которых лишено какого бы то ни было оттенка «экспрессии».

Рассматривая удвоение сонантов *i* и *u* в германском, которое обычно трактуется как специфически германское явление, Мейе писал: «... на самом деле речь идет об экспрессивном удвоении, унаследованном из индоевропейского языка и получившем большое распространение в германском. Тип др.-в.-нем. *zweio* следует сопоставить с греч. *doiios* „двойной“ из старого \**dwoiyós*, т. е. \**dwoyuyós*. Тип др.-в.-нем. *triuwi* можно сравнить с типом лат. „*lippus*“»<sup>22</sup>.

Сходная трактовка гевезиса долгих согласных наблюдается в ряде специальных исследований, посвященных геминатам в отдельных индоевропейских языках.

В германском языкознании, после работ Р. Траутмана, В. Висмана, А. Мартина и др., окончательно подорвано доверие к старой теории Беценбергера-Клуге, рассматривавшей геминацию смыхных согласных в германских языках как позднее и специфически германское явление, будто бы возникшее в результате процессов ассимиляции. В свете новых данных обнаружилось общеиндоевропейское происхождение «экспрессивной» геминации, ее значительный удельный вес в фонетике германских языков и, что особенно важно, ее морфологическая значимость.

Широкая морфологическая значимость чередований долгих согласных с краткими в германских языках может быть иллюстрирована рядом примеров. Долгие согласные используются в глаголах для выражении интенсивности, частоты, повторяемости или длительности действия. Ср. др.-в.-нем. *snīdan* «резать» и ср.-в.-нем. *snitzen* «вырезать по дереву» (где *tz* — последствие геминации); гот. *skiuban* «двигать», др.-исл. *shúfa* и норв. диалект. *skuppen* «толкать»; гот. *tiuhan* «тянуть, тащить», др.-в.-нем. *ziohan* и ср.-англ. *tuck* «подвертывать, засучивать», нем. *zucken* «вздрагивать, подергиваться»; др.-исл. *gala* «петь», др.-в.-нем. *galan* и др.-исл. *gialla* «кричать», др.-в.-нем. *gellan*; др.-исл. *vega* «двигать(ся)», др.-в.-нем. *wegen* и норв. *vagge* «идти покачиваясь». В прилагательных долгие согласные выражают усиление, высокую степень, полноту или постоянство качества. Ср. др.-исл. *gramr* «гневный» и *grimmr* «свирепый, яростный»; др.-англ., др.-в.-нем. *crumb* «кривой» и др.-в.-нем. *crumpf* (с *pf* из *pp*) «извилистый, витой», *crampf* «скрюченный». С другим оттенком значения — гот. *alls*, др.-исл. *allr* «весь, полный», но в качестве первого элемента сложных слов гот. *ala-*, др.-исл. *al-* без удвоения. В именах существительных удвоение служит для выражения уменьшительности, ласкательности или увеличительности, в отглагольных именах — для выражения постоянства и повторяемости действия, в именах, образованных от прилагательных, — для выражения высокой степени качества. Ср. гот. *brihan* «ломать» и др.-исл. *Brokkr* — имя мифологического кузнеца; др.-в.-нем. *Itta* — имя собственное, уменьшительное от полного имени *Itaberga*; др.-англ. *dýfan* «нырять» и отглагольное имя *doppe* «какая-то выряющая птица»; др.-в.-нем. *scioban* «двигать» и *scipfa* (где *pf* из *pp*) «качели»; др.-в.-нем. *bret* (род. п. *bretes*) «доска» и с геминацией *brettan* «бревно, брус», ср.-в.-нем. *pretan* «большое бревно»; др.-исл. *vit* «ум, разум» и *vitt* «чародейство»; др.-исл. *mjöl* «мука», но с

<sup>22</sup> А. Мейе, Основные особенности германской группы языков, М., 1952, стр. 65.



удвоением *mjoll* «мелкий, свежавыпавший снег»; др.-англ. *fæg* «пестрый» и *fasc* «вид камбалы».

Фортунатов, как мы видели, подчеркивал значение чередований долгих согласных с простыми в образованиях и формах от одного корня. Не будет преувеличением сказать, что в приведенных здесь и аналогичных им примерах чередование согласных выполняет функцию, сходную с функцией, выполняемой чередованием долгих и кратких гласных в таких случаях, как, например, греч. φέρω «несу» и φωρ «вор» («постоянно уносящий?»), μέδομαι «думаю о чем-либо» и μῦδομαι «обдумываю, взвешиваю» или др.-инд. *nabhas* «облако» и *nabh* «облака, тучи».

Мнение о былой распространенности геминат неоднократно высказывалось в последние десятилетия и применительно к славянским языкам. Правда, в большинстве случаев восстанавливаемые в славянском геминаты относятся исследователями не к общеиндоевропейской эпохе, а к более поздним временам. Во всех случаях, однако, находит себе подтверждение положение Фортунатова об относительно позднем происхождении «закона открытых слогов» в славянском и важной роли долгих согласных в фонетическом и морфологическом строе индоевропейских языков на ранних ступенях их развития.

Происхождение смягченных согласных из геминат, выдвинутое Фортунатовым, воспроизводится в работах Н. Ван Вейка и А. Вайана, особенно последнего<sup>23</sup>. Упрощение групп согласных и образование в результате такого упрощения открытых слогов происходило, по Вайану, именно так, как это предполагал Фортунатов, т. е. через промежуточную ступень геминации. С этой точки зрения русск. *дно* из старого *дъно* возникло из \**дъбно* (ср. лит. *dūgnas* из \**dūbnas*) через промежуточную фазу \**дънно*.

В качестве параллели к греческим и германским ласкательным формам с удвоенными согласными типа греч. Κλέρις к Κλερένης или др.-в.-нем. *Itta* к *Itaberga* Вайан приводит интересные славянские факты. Русск. *кума*, серб. *кума* являются преобразованием ст.-слав. *къмотра*, заимствованным из романского *commatre*. Форма *кума* обычно объясняется из \**kōma* с удлинением гласного, но лучше выводить ее из \**kāmma* с удлинением согласного, где группа *umt* закономерно превратилась впоследствии в *om*, и с утратой носового гласного в *um*. А. Вайан допускает аналогичный путь развития — через геминацию — и для других ласкательных образований в сербском, как *Бѣжо* от *Бѣждар* или *ѹчо* от *ѹчитель* «учитель»<sup>24</sup>. Долгие гласные в таких образованиях являются позднейшей заменой долгих согласных, что хорошо согласуется с мыслями Фортунатова об удлинении гласных как возможной замене старых долгих согласных.

Одним из важнейших открытий, сделанных в области сравнительной грамматики индоевропейских языков после смерти Фортунатова, является обнаружение ларингальных. Выше уже упоминалось о гипотезе де Соссюра, согласно которой в основе общеиндоевропейских «исконных» долгих гласных, а также «твухслоговых» корней лежали особые согласные, обладавшие свойствами сонантов. Польскому ученому Е. Куриловичу удалось в 1927 г. подтвердить гипотезу де Соссюра фактами незадолго до того дешифрованного хеттского языка, и с тех пор гипотеза де Соссюра приобрела значение достоверного факта. Это, конечно, не значит, что теория ларингальных может быть принята во всех деталях: слишком

<sup>23</sup> См.: N. van Wijk, *Geschichte der altkirchenslavischen Sprache*, B1. I, Berlin und Leipzig, 1931, стр. 72—73; A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, t. I, Lyon — Paris, 1950, стр. 65 и сл.

<sup>24</sup> См. там же, стр. 99.

много здесь еще противоречивого и неясного во всем, что касается установления первоначального числа ларингальных, определения фонетической природы каждого из них и их взаимоотношений с другими фонемами. Спорным является также вопрос о правомерности отождествления былых ларингальных с сонантами. Но самый факт происхождения «исконных» индоевропейских долгих гласных, а также «двухсловных» корней из сочетаний с ларингальными не подлежит сомнению. Об этом говорит довольно большое число достоверных этимологий. Вот некоторые из них. Для общеиндоевропейских «исконных» долгих гласных: ср. хет. *paḥs-* «охранять» и др.-инд. *pāti* «охраняет», лат. *pāscō* «пасу», ст.-слав. *пасѣ*; хет. *meḥur* «время» и др.-инд. *māti* «мерит, измеряет», греч. *μῆτις* «разум», лат. *melior* «мерю, измеряю», ст.-слав. *мѣра*, гот. *mel* «время». Для «двухсловных» корней: ср. хет. *palḥiṣ* «широкий» и лат. *planus* «плоский, ровный», лит. *plonas*; хет. *parḥ-* «толкать, гнать» и греч. *περάω* «проникаю, проезжаю», русск. *паром*; хет. *arḥ-z* (аблятив) «снаружи» и греч. диалект. *ἄρατρον* «плуг», лит. *arūti* «пахать», лит. диалект. *orañ* «снаружи»; хет. *sanḥ-* «искать» и др.-инд. *satā-* «выигранный», наст. время *sanōti* «выигрывает».

Согласно де Соссюру, ларингальные обладали свойством при своем исчезновении удлинять предшествующий гласный. Чтобы согласовать теорию ларингальных с фортунатовскими взглядами на долгие согласные и, в частности, на долгие сонанты, достаточно допустить, что ларингальные обладали свойством удлинять не только гласные, но и согласные. Некоторой опорой для такого предположения могут служить не только данные сравнения, но и факты самого хеттского языка, отдельно взятого. Как отмечает И. Фридрих, в хеттском языке в одних и тех же словах встречается двойное написание согласных паряду с обозначением сочетания согласного с ларингальным; ср. *eṣḥar* «кровь» (род. п. ед. ч. *eṣ.anas*) и *eṣṣar* (род. п. ед. ч. *eṣnas*), либо еще: *idalapaḥatti* «ты делаешь зло» с *tt* вместо обычного *ht* в *id.lapaḥatti*<sup>25</sup>.

Свойство ларингального удлинять предшествующий звук — будь то гласный или согласный — легко представить себе с фонетической точки зрения, если учесть, что речь идет о гортанном или фарингальном звуке, смычном или щелевом, который может быть воспринят как некий призывок, сопутствующий смежному гласному или согласному. После того как «гортанный оттенок» распространяется на стоящий рядом звук, оба окрашенных в одинаковый тембр звука сливаются в один долгий<sup>26</sup>.

Ларингальная теория хорошо согласуется с воззрениями Фортунатова еще в одном пункте. Одной из важнейших особенностей теории сонантов Фортунатова является, как отмечалось выше, ее органическая связь с акцентологией. Дифтонги и дифтонгические сочетания с долгими сонантами генетически связаны, согласно этой теории, с «длительной долготой», или, в общепринятой терминологии, акутовой интонацией. Теория ларингальных помогает понять эту связь.

Известно, что в латышском языке и в некоторых литовских говорах существует особая акутовая интонация, сопровождаемая смычкой голосовой щели, что приводит к ослаблению или даже полному перерыву голоса. В последнее время было высказано мнение, что из двух компонентов акутовой интонации — высоты тона и гортанной смычки — именно по-

<sup>25</sup> И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, § 30.

<sup>26</sup> Происхождением долгих гласных в лезгинском в результате «глоттизации» отмечает П. К. Усларом («Этнография Кавказа. Языковедение. VI — Кюринский язык», Тифлис, 1896, стр. 9) и Ч. И. Жирковым («Грамматика лезгинского языка», Махачкала, 1941, стр. 23).

следний является более важным в генетическом отношении. Не только балтийско-славянская акутовая интонация, но и древнегреческая может быть определена по своему происхождению как «резкая» интонация с гортанной смычкой и толчкообразным усилением и повышением голоса. Если такое фонетическое определение общеиндоевропейской акутовой интонации верно, то оно хорошо объясняется наличием былых ларингальных<sup>27</sup>. Ларингальные не только обуславливали появление долгих гласных и согласных, но и благодаря особенностям своей артикуляции вели к образованию особой интонации. Давно отмеченная исследователями связь балтийско-славянского акута с «исконной» долготой гласных и с «двухслоговыми» корнями находит себе, таким образом, ясное и убедительное объяснение и, если вместе с Фортунатовым принять балтийско-славянские данные как лучшее свидетельство общеиндоевропейских интонационных отношений, то можно как в общеиндоевропейском акуте, так и в общеиндоевропейских долготах равным образом видеть следы исчезнувших ларингальных.

Говоря о ларингальном происхождении акута, необходимо отличать случаи этимологического акута, где акут действительно отражает былой ларингальный, от случаев так называемого метатонического акута, т. е. акута, занесенного в циркумфлексы по происхождению корни. Чередование акута и циркумфлекса стало весьма рано таким же средством морфологического чередования в одном корне, как чередование гласных. Но случаи вторичного или метатонического акута требуют особого объяснения и не могут быть рассмотрены в настоящей статье.

\*

Разногласия между Фортунатовым и господствовавшими в современном ему языкознании направлениями не только касаются частных вопросов, но поднимаются в ряде пунктов до уровня принципиальных расхождений в трактовке сравнительно-исторического метода. В рамках настоящей статьи мы можем лишь весьма кратко остановиться на этих принципиальных расхождениях.

Еще А. Брюкнер отмечал самобытность Фортунатова и основанной им лингвистической школы не только в выдвигаемых положениях и специальных выводах, но и «в методе, во всей манере»<sup>28</sup>.

Расхождения эти касаются прежде всего понимания фонетических законов и процесса их осуществления. Фортунатов постоянно стремился дать фонетико-физиологическое обоснование звуковым переходам и по возможности восстановить все промежуточные фазы в развитии звука от предполагаемого древнейшего его состояния до нынешнего. Выше мы видели, как Фортунатов объяснял появление *э*, возникавшего в ряде случаев из долгих сонантов в качестве своего рода «фонетической вставки», как точно стремился он представить себе фонетический облик слоговых сонантов и т. д. Его интересовали не только «спряязыковые символы», не только место того или иного звука в общей схеме реконструируемых отношений, но конкретные звучания и конкретные исторические изменения звуков. Брюкнер в названной работе упрекал Фортунатова в конструировании бесконтрольных переходов, придумывании слишком тонких нюансов и т. п. Но, как мы видели, далеко не все то, что казалось современникам Фортунатова надуманным и необоснованным в его иссле-

<sup>27</sup> См. A. Vaillant, *Grammaire comparée des langues slaves*, t. I, стр. 244—245.

<sup>28</sup> См. A. Brückner, *Slavisch—Litauisch*, в кн. «Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft...», hrsg. von W. Streitberg, II, 3, Strassburg, 1917, стр. 50.

дованиях, является таковым на самом деле и заслуживает осуждения. Современные исследования подтверждают многие гипотетически построенные Фортунатовым представления о конкретных фонетических процессах. К тому же стремление к раскрытию внутренней связи и взаимодействия между реальными фактами не может быть дискредитировано, даже если исследователь терпит на этом пути отдельные неудачи.

С только что отмеченной особенностью фортунатовской манеры исследования тесно связана и другая ее особенность, именно — установка на прослеживание процессов развития в языке. В зарубежном историческом языкознании того времени, и особенно в последующую эпоху, резко сказалась тенденция к отходу от идеи развития к извращенному пониманию языковых процессов как лишенных закономерности и определенной направленности. Эта тенденция проявлялась в истолковании реконструируемых явлений как «простых символов», а также в признании всеобщей обратимости языковых процессов и т. д. Фортунатов не считал для себя допустимым ограничиваться простой констатацией формул соответствий и всегда стремился вскрыть зарождение явления, его историческое движение. Не скрывая своего скептического отношения к исторической установке исследований Фортунатова, Брюкнер в целом все же не мог не признать, что историзм русского языковеда «доставляет триумфы в отдельных частностях» и что во всяком случае такой метод исследования «решительно разделяется со старой шлейхеровской концепцией, воспринимавшей все новейшее развитие языка только как упадок и крушение великолепного здания древнейшей языковой структуры, и подчеркивает только органическое развитие и движение вперед»<sup>29</sup>.

В числе особенностей фортунатовского метода исследования нужно, наконец, назвать еще и отсутствие предвзятости при выборе прототипов для реконструкции древнейшего состояния языка. Историческое развитие сравнительного языкознания привело к тому, что в роли прототипа древнейших отношений долгое время выступал древнеиндийский язык, к которому в последней четверти прошлого века присоединился еще греческий язык. Эти два языка служили как бы эталоном общеиндоевропейской древности, и общая картина реконструкции во многом была списана с этого образца. Фортунатов был одним из первых, кто понял, что древние черты, допускающие реконструкцию тех или иных сторон общеиндоевропейского языкового состояния, могут сохраняться в каждом индоевропейском языке. Благодаря его исследованиям стало очевидным большое значение славянских и балтийских материалов для такой реконструкции. Именно привлечение материалов славянских и балтийских языков придает предложенной Фортунатовым реконструкции древнейших интонационных отношений, его теории сонантов и другим высказанным им мыслям внутреннюю стройность и убедительность, поскольку эти языки дают в названных случаях солидную фактическую опору для далеко идущих выводов. Совершающийся ныне критический пересмотр общей схемы праязыковых отношений, представленной в старых исследованиях, — пересмотр, вызванный расхождением между вновь открытыми фактами кетского языка и старой картиной реконструкции, имеет, таким образом, в лице Фортунатова одного из выдающихся своих предшественников.

<sup>29</sup> См. A. Brückner, *Slavisch — Litauisch*, стр. 52.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. М. ДУНАЕВСКАЯ

## О ХАРАКТЕРЕ И СВЯЗЯХ ЯЗЫКОВ ДРЕВНЕЙ МАЛОЙ АЗИИ

Вопрос о характере малоазиатских языков и об их связях с языками народов Закавказья неоднократно поднимали в своих работах И. Джавахишвили, С. Джанашиа и А. С. Чикобава (применительно к картвельским языкам), а также Г. Капанцян (применительно к армянскому). Однако материал этих языков, к сожалению, мало доступен и к тому же разбросан по многочисленным специальным изданиям, где не всегда легко отличить точные данные, соответствующие современному уровню науки, от устаревших или недостаточно обоснованных соображений. Это обстоятельство нередко приводит к некритическому использованию разрозненных сведений, полученных из вторых рук и не являющихся вполне достоверными<sup>1</sup>. Естественно, что проводимая на основе таких данных классификация языков древней Малой Азии может иметь серьезные погрешности.

В связи с этим мне кажется целесообразным привести в настоящей статье основные данные о языках древней Малой Азии, с тем чтобы было ясно, когда мы опираемся на достоверный языковой материал, а когда вынуждены основывать свои гипотезы на предварительных данных или даже на догадках.

\*

Как известно, письменными памятниками II тысячелетия до н. э. засвидетельствованы четыре малоазиатских языка — хаттский (иначе «протохеттский»<sup>2</sup>), неситский (иначе несийский, хеттский, хеттский клинописный<sup>3</sup>), лувийский, хурритский. Памятниками I тысячелетия до н. э. засвидетельствованы хеттский иероглифический, ликийский и близкий ему милийский<sup>4</sup>, карийский, лидийский, фригийский и мисийский<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Ср. ссылки А. С. Чикобава («Введение в языковедение», ч. I, 2-е изд., М., 1953, стр. 212, 225, 226) на работу Ч. Лоукотки «Развитие письма» (перевод с чешского, М., 1950).

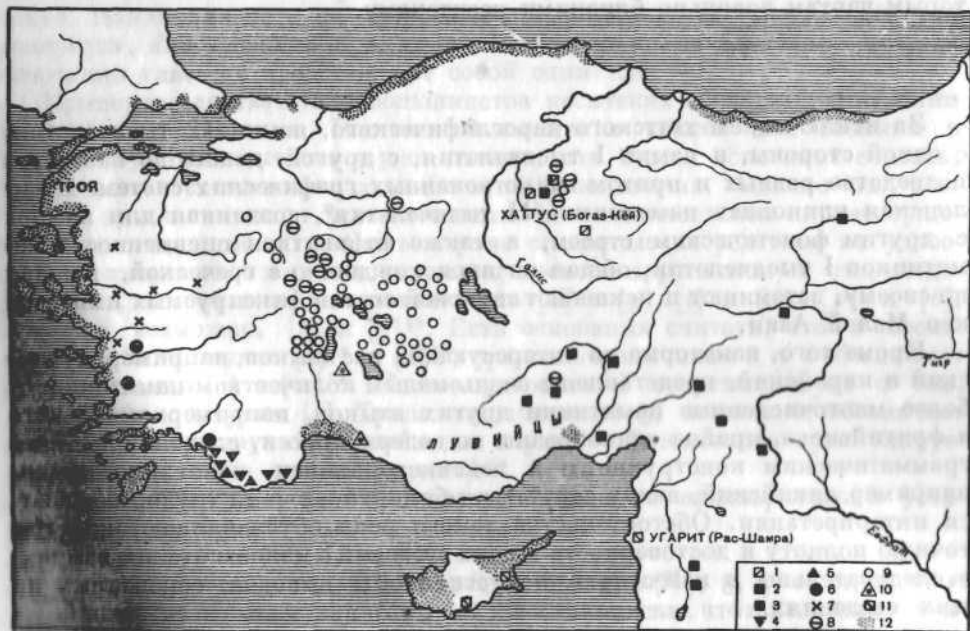
<sup>2</sup> Иногда неправильно именуется хеттским или протохаттским.

<sup>3</sup> В памятниках II тысячелетия упоминается, кроме того, палайский язык. Существует точка зрения, что так во II тысячелетии назывался язык хеттских иероглифов, условно именуемый теперь «хеттским иероглифическим». По мнению Г. Оттена, в дошедших до нас памятниках хеттского государственного архива среди документов, содержащих не неситские глоссы, цитаты и т. д., имеются и небольшие выдержки из палайских текстов, близкие по языку к неситскому и лувийскому. Однако выводы автора нельзя считать окончательными (ср. H. Otten, Zum Palaischen, «Zeitschrift für Assyriologie», N. F., XIV, 1944, стр. 119 и сл.).

<sup>4</sup> Обычно считается диалектом ликийского и называется «ликийский Б».

<sup>5</sup> За исключением хеттского иероглифического нет ни одного языка Малой Азии, который был бы засвидетельствован и во II, и в I тысячелетиях до н. э. Ввиду того,

Пока еще трудно в какой-то мере точно определить территорию распространения отдельных языков в Малой Азии во II и I тысячелетиях до н. э. Единственное, что может нас здесь ориентировать, — это места находок письменных памятников (см. карту). Из всех языков древней Малой Азии наиболее богат памятниками неситский; к тому же неситские памятники очень разнообразны по содержанию. Неситский язык хорошо



#### Важнейшие места находок надписей

II тысячелетие до н. э.: 1 — хеттские-неситские (а также хаттские, лувийские и др.), 2 — хаттские иероглифические; I тысячелетие до н. э.: 3 — хеттские иероглифические (также в Ашшуре), 4 — ликийские, 5 — «милийские», 6 — карийские (также в Египте), 7 — лидийские, 8 — фригийские (с туземным алфавитом), 9 — фригийские поздние и мисийские, 10 — писидийские, 11 — этеокирские, 12 — районы греческой колонизации

интерпретирован и глубоко изучен. Его индоевропейский характер установлен почти 40 лет назад Б. Грозным<sup>6</sup>; в ходе дальнейших исследований это подтверждено на обширном материале целым рядом исследователей<sup>7</sup>. Однако до самого последнего времени, вопреки языковым материалам, все еще делаются попытки отнести неситский к другим языковым семьям<sup>8</sup>.

что окончательная дешифровка хеттских иероглифов является достижением буквально последних лет в полной интерпретация языка хеттских иероглифических надписей еще представляет собой дело будущего, мы пока не в состоянии учесть исторических изменений рассматриваемых языков на протяжении II и I тысячелетий до н. э.

<sup>6</sup> Б. Грозный, *Die Sprache der Hethiter, ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm*, Leipzig, 1917.

<sup>7</sup> С. Марстрандер, *Caractère indo-européen de la langue hittite*, Christiania, 1919; Т. Милевски, *L'indo-hittite et l'indo-européen*, Cracovie, 1936; Н. Педерсен, *Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen*, København, 1938; Е. Н. Стуртевант и Е. А. Набн, *A comparative grammar of the hittite language*, vol I, rev. ed., New Haven — London, 1951 (1-е изд.: Philadelphia, 1933).

<sup>8</sup> Так, все древние языки Малой, а также Передней Азии объединяются иногда вместе с кавказскими языками в одну так называемую хеттско-иберийскую или иберийско-кавказскую семью языков, ср.: Н. Бердзенишвили, И. Джавахид

В гораздо менее благоприятных условиях находится изучение других языков древней Малой Азии, тем не менее за последнее десятилетие и в этой области достигнуты значительные успехи. Исследование лувийских материалов, осуществленная, наконец, дешифровка хеттских иероглифов и дальнейший анализ ликийских и лидийских надписей дают основания считать лувийский, хеттский иероглифический и ликийский, а также, возможно, и лидийский индоевропейскими языками и по некоторым чертам довольно близкими неситскому.

\*

За исключением хеттского иероглифического, языки II тысячелетия, с одной стороны, и языки I тысячелетия, с другой, дошли до нас через посредство разных и притом заимствованных графических систем. Вавилонская клинопись памятников II тысячелетия<sup>9</sup>, созданная для языков с другим фонетическим строем, а также алфавитная письменность памятников I тысячелетия, общая по происхождению с греческой, каждая по-своему, затемняют и искажают звуковой состав фиксируемых ими языков Малой Азии.

Кроме того, некоторые из интересующих нас языков, например лувийский и карийский, представлены очень малым количеством памятников<sup>10</sup>; более многочисленны памятники других языков, например лидийского и фригийского, крайне однообразны по содержанию и, следовательно, по грамматическим конструкциям и лексике; наконец, некоторые языки, например ликийский, ввиду отсутствия билингв, весьма трудно поддаются интерпретации. Обстоятельства такого рода обуславливают недостаточную полноту и достоверность наших сведений о малоазиатских языках, а следовательно, и известную дискуссионность выводов, основанных на этих сведениях.

\*

Как уже говорилось, памятники неситского языка написаны клинописью. Неситская клинопись по выбору и форме знаков восходит к вавилонскому варианту аккадской клинописи. Клинописная система письма, заимствованная самими аккадцами у шумеров, но без труда и не полностью была приведена в соответствие с аккадской фонетикой. Естественно, что звуковой состав неситского языка отражается клинописью еще более несовершенно и приблизительно. Поэтому мы не можем дать точную фонетическую характеристику неситских звуков<sup>11</sup>.

Написание некоторых слов то через *a*, то через *e* для случаев, где нет оснований ожидать чередования, позволяет предположить, что в неситском языке различались два *e* — более закрытое и более открытое. И в аккадском, и в неситском языках имеются знаки для *e* и для *i*, но так как каждый слоговой знак, содержащий «согласный + *i*», может также

швили, С. Джанашиа, История Грузии, ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 16 и, в известной степени, также Арн. Чикобава, Картвельские языки, их исторический состав и древний лингвистический облик, сб. «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси 1948, стр. 255. Нет четкой постановки вопроса и в указ. работе А. С. Чикобава «Введение в языковедение» (см. стр. 211—212, 227). См. также Г. Капанцян, Хайаса — колыбель армян, Ереван, 1947 [обл.: 1948], стр. 247—248.

<sup>9</sup> Заимствована через хурритов Передней Азии.

<sup>10</sup> Фактически можно считать, что собственно лувийские памятники до нас не дошли — имеются лишь вставки на лувийском языке в неситских текстах.

<sup>11</sup> О звуковой системе неситского языка см. И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952.

рассматриваться как содержащий «согласный + е», то в ряде случаев трудно сказать, где действительно *i*, а где *e*.

В неситском — два знака для *u*, которые обозначаются в транслитерации *u* и *ū*. Употребление *u* в одних словах, а *ū* в других проводится довольно последовательно. Это дает повод предполагать, что звуки, обозначаемые *u* и *ū*, различались и что один из этих звуков мог быть *o*<sup>12</sup>.

Спорным является вопрос о том, были ли в неситском языке дифтонги. Написания *ai* и *au* встречаются, например *ais* «рот», *nais* «он повернул», *dau* «возьми» и т. д.; но окончательно не доказано, что эти сочетания гласных представляют собой один слог<sup>13</sup>.

Примерное соответствие большинства неситских согласных аккадским не вызывает сомнения. Постоянное смещение знаков для звонких и глухих шумных смычных звуков давало, как будто, основание считать, что для неситского языка звонкость не фонематична. Однако за последнее время считается установленным<sup>14</sup>, что в неситском письме существовала тенденция обозначать глухие согласные посредством их удвоения (примерно так же, как это имеет место в хурритском) и что, следовательно, в произношении различались [*k*] и [*g*], [*t*] и [*d*], [*p*] и [*b*], а также, возможно, [*ḫ*] и [*γ*]<sup>15</sup>. Есть основания считать, что в неситском не было звуков [*š*]<sup>16</sup> и [*z*]<sup>17</sup>; транслитерационные *š* и *z* обозначают соответственно [*s*] и [*ts*]<sup>18</sup>. Частое удвоение *š* свидетельствует о том, что оно было глухим [*s*]. Транслитерационное *ḫ*, возможно, обозначает в неситском три звука: звонкий и два глухих — более сильно артикулируемый и более слабо артикулируемый<sup>19</sup>.

Таким образом, в неситском языке считается предварительно установленным следующий звуковой состав:

гласные — *a*, *e* (*eʔ*), *i*, *u*, (*oʔ*);

согласные — *w* (*wʔ*)<sup>20</sup>, *j* (*iʔ*)<sup>20</sup>, *p*, *b*, *t*, *d*, *k*, *g*, *h* (?), *ḫ*, *γ*, *s*, *m*, *n*, *l*, *r*.

Лувийские отрывки написаны той же клинописью, что и неситские тексты, в которые они выакут вставлены<sup>21</sup>. Так как до последнего времени было известно довольно мало таких отрывков, то до сих пор не удалось выявить какие-либо различия между звуковым составом лувийского языка и неситского.

Существует предположение, что наиболее ранние хеттские иероглифические памятники являются по языку лувийскими. Однако, даже если оно будет доказано, это ни в коем случае не дает основания отождест-

<sup>12</sup> Аналогичные явление см. в хурритском языке.

<sup>13</sup> Доводом в пользу того, что такого рода написания отражают дифтонги, является наличие соответственных слов с дифтонгами в индоевропейских языках.

<sup>14</sup> E. H. Starbuck and E. A. N. H. n, A comparative grammar of the hitite language, vol. 1, стр. 26.

<sup>15</sup> Поэтому транслитерация должна обязательно отражать удвоение согласных.

<sup>16</sup> Во встречающихся в неситских текстах аккадских словах знаки, содержащие *š*, и знаки, содержащие *s*, употребляются безразлично; в египетском языке, где [*š*] и [*s*] различались, неситские имена, написанные знаками, содержащими *š*, транскрибируются посредством *s*.

<sup>17</sup> Ср. *es-za-zi* «он ест» от основы *et* «есть», *si-pa-an-za-ki-iz-zi* (читать *spantskitsi*) «он подливает» от основы *s(i)pan* «возливать» и т. д.

<sup>18</sup> *ts* — либо аффрикат, [*tʃ*], либо сочетание [*t*] или [*d*] с [*s*].

<sup>19</sup> В пользу последнего свидетельствует наличие написаний *essar*, род. падеж *esnas* «прива» наряду с *esnar*, род. падеж *esnas* (с тем же значением).

<sup>20</sup> Щелевые согласные *w* и *j*, возможно, могли быть в неситском также неслогообразующими гласными *u* и *i*.

<sup>21</sup> Г. Оттену удалось собрать 157 отрывков (Bruchstücke) лувийских текстов, в том числе, как будто, два эпических (№№ 107, 108), которые опубликованы в автографии (см. «Keilschrifturkunden aus Boghazköi.» Bd. XXXV), а также в транслитерации (см. H. Otten, Luvische Texte in Umschrift, Berlin, 1953).



вить язык всех хеттских иероглифических текстов с лувийским. Язык большинства исследованных хеттских иероглифических надписей — особый, несомненно отличающийся от лувийского. Более правдоподобно, хотя и не обязательно, отождествление хеттского иероглифического языка с палайским<sup>22</sup>.

Лишь в самое последнее время, в связи с находкой двуязычной надписи из Каратепа и уже появившимися исследованиями хеттского иероглифического<sup>23</sup> и финикийского<sup>24</sup> текстов этой надписи, можно говорить о том, что дешифровка хеттских иероглифов, в основном, закончена и является достоверной. Разумеется, фонетические значения хеттских иероглифов, выясненные посредством сопоставления имен собственных в двуязычных памятниках (таких, как печати с иероглифическими и клинописными легендами, различные мелкие финикийско-иероглифические надписи и т. п.), а также при помощи анализа вариантов написания одного и того же слова, дают лишь самое примерное представление о звуковом составе языка хеттских иероглифов.

Мы знаем, что в хеттском иероглифическом языке были гласные *a*, *i*, *u*; существовало ли *e* — неясно. Некоторые из тех знаков, которые И. Гельб считает соответствующими *e* и сочетанию «согласного + *e*», чередуются на письме со знаком для *a* и со слоговыми знаками, содержащими *a*, другие же — со знаком для *i* и со слоговыми знаками, содержащими *i*; соответственно, знаки, которые Гельб транслитерирует как *e*, *he*, *le*, *ne*, *te*, *ē*, *me*, *se*, транслитерируются как *á*, *há*, *lá*, *na*, *ta*, *i*, *mí*, *sí*<sup>25</sup>, а наличие *e* ставится под сомнение. Сogласный *n* в позиции после гласной и перед согласной, по видимому, не обозначался; становилась ли предыдущая гласная носовой или долгой или же оставалась без изменений — не вполне ясно. Две наклонные линии под знаком для гласного, часто появляющиеся в тех случаях, когда отсутствует *n*, ожидаемое нами по этимологическим соображениям (ср. *pātu* «пусть они дадут», *ajāta* «они делали», *āta* «в»; ср. несит. *anta* «в»), И. Гельб предлагает рассматривать как обозначение носовой окраски гласного<sup>26</sup>. Эта точка зрения кажется убедительной, и мы можем, со значительной долей вероятности, считать, что в хеттском иероглифическом были носовые гласные, которые транслитерируются как *ā* и *ī*<sup>27</sup>. Предварительно установлен следующий состав согласных в хеттском иероглифическом: *w*, *p*, *t*, *k*, *h*, *s*, *š*, *n*, *m*, *l*, *r*.

В отличие от неситского и лувийского (которые известны нам по клинописным надписям II тысячелетия), ставших достоянием науки лишь в XIX в., лийкийский дошел до нас в памятниках I тысячелетия (V—IV века до н. э.), которые изучаются уже около ста лет. Почти все 150 имеющихся надписей являются очень однообразными по содержанию надгробными надписями. Самый крупный памятник — так называемая

<sup>22</sup> Эта мысль принадлежит Б. Грозному (см. В. Грозный, Les inscriptions «hittites» hiéroglyphiques de Boubeurunari et le problème de la langue paláite, «Archiv orientální», vol. VII, № 1—2, 1935, стр. 156 и 177).

<sup>23</sup> См. H. Th. Bossert, Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe, «Archiv orientální», vol. XVIII, № 3, 1950 и др.

<sup>24</sup> См. И. Н. Виноков, Новые финикийские надписи из Киликии, «Вестник древней истории», 1950, № 3.

<sup>25</sup> По И. Фридриху.

<sup>26</sup> См. I. J. Gelb, Hittite hieroglyphs, II, Chicago, III., стр. 9 и сл.

<sup>27</sup> Между прочим, отсутствие третьего знака, подчеркнутого двумя наклонными линиями, может косвенно свидетельствовать о том, что в хеттском иероглифическом не было звука *e*, так как он, по всей вероятности, также мог бы получать носовую окраску, которая скорей всего обозначалась бы тем же способом, что и носовая окраска у других звуков.

«стола из Ксанфа» представляет собой довольно обширный исторический текст, который, за вычетом нескольких предложений, до сих пор не удается интерпретировать.

Ликийские тексты написаны алфавитным письмом западногреческого происхождения. Орфография очень произвольна, поэтому трудно отличить фонетические различия от графических колебаний. В установлении фонетических значений ликийских знаков важную роль сыграли двуязычные (греко-лийские) легенды монет.

Для ликийского установлен следующий примерный состав гласных<sup>28</sup>: *a, e, i, u; e*, очевидно, было открытое, так как в одном и том же слове пишется то *e*, то *a*. Ликийское *e* к тому же в греческом часто передается через *α*; знак для *e* — вариант буквы *Α* (греческое *e* в ликийском обозначает не *e*, а *i*); *o* в ликийском, очевидно, не было, так как греческая *ω* передается посредством *a*. Ликийское *o* обозначает *u*, что явствует из передачи этого знака в греческом посредством *ο*. В ликийском были также носовые гласные *ā* и *ē* (установлены посредством анализа различных вариантов ликийских написаний и греческой транскрипции).

Ликийские согласные транслитерируются следующим образом: *w, j*<sup>29</sup>, *p, b, β, t, τ, d, k, q, g, s, h, θ, χ, x, m, ṁ, n, ñ, l, r, z*; *m* и *n* употребляются только в начале слога; *ṁ* и *ñ* обозначаются другими знаками и употребляются только в конце слога; *ṁ* и *ñ*, вероятно, могли быть слогаобразующими, например *lusñtre* наряду с *lusañtra* — Λουσαντρος, *hñprāma* — Ἡμπρωμος; после *ṁ* и, может быть, после *ñ* транслитерационные *p* и *t* произносились звонко; *t* очень редко чередуется в написании с *τ* (условия этой замены неясны); *k* в греческом транскрибируется то как *σ*, то как *κ* и употребляется в ликийском для обозначения иранского *č*<sup>30</sup>; очевидно, ликийское *k* было сильно палатализованным [*k'*]; щелочной характер *β* не вызывает сомнений, но для *b* и *d* его нельзя считать твердо установленным; предполагают, что *h* было глухим, фарингальным и произошло из *s*; *θ* чередуется на письме с *z* и *s* и, вероятно, представляет собой [θ], тем более, что для передачи греческой *θ* (*t* с придыханием) в ликийском используется *t*; *χ*, очевидно, — заднеязычный спирант, тождественный звуку, транслитерируемому в неситском языке и других посредством *ħ*<sup>31</sup>; *x* встречается чрезвычайно редко; характер его неясен; *z*, повидимому, аффрикат [*ts*].

Для ликийского письма весьма характерно удвоение знаков, обозначающих согласные (кроме *b, k* и *r*), — оно может иметь место после всех согласных, кроме *ṁ* и *ñ*; *t, d* и *z* удваиваются также в начале слога и в интервокальном положении. Фонетическое значение этого графического явления неясно.

Наши сведения о лидийском языке и, в частности, о его звуковом составе очень ограничены. Известна 51 лидийская надпись (V—IV вв. до н. э.). Почти все надписи найдены археологами в 1910—1923 годах, однако первая лидийская надпись стала известна еще в 1873 г. Значительная часть надписей — надгробные; есть посвятельные, а также надписи на сосудах. Интерпретация лидийского языка основывается преимущественно на лидийско-арамейской билингве, в которой, однако, лидийские и арамейский текст не вполне соответствуют друг другу,

<sup>28</sup> Разумеется, греческие транскрипции не дают нам адекватного представления о ликийских звуках.

<sup>29</sup> Неясно, могли ли *j* и *w* быть также неслогообразующими гласными *i* и *u*.

<sup>30</sup> Лик. *kizapñna* — иран. *Čiçafarna*.

<sup>31</sup> Для удобства сопоставления ниже будем вместо *χ* употреблять *ħ*.

причем последний сам по себе представляет графические и языковые трудности.

Лидийская письменность, как и ликийская, греческого происхождения, имеет те же, что и в ликийском, дополнительные знаки, однако звуковое значение их иное (где по-ликийски  $\tilde{\eta}$ ,  $\chi$ ,  $\tilde{\epsilon}$ , там по-лидийски соответственно  $\tau$ ,  $\tilde{\epsilon}$ ,  $\lambda$ ). Примерный звуковой состав лидийского языка установлен частью по греческой и арамейской транскрипции имен собственных, частью по форме знаков.

Лидийские знаки транслитерируются следующим образом:

гласные —  $a$ ,  $e^{32}$ ,  $i$ ,  $i^{33}$ ,  $o$ ,  $u$  (чистые);  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{\epsilon}$  (носовые);  
согласные —  $b$ ,  $d$ ,  $v^{34}$ ,  $k$ ,  $l$ ,  $m$ ,  $n$ ,  $r$ ,  $s$ ,  $\acute{s}$ ,  $t$ ,  $f$ ,  $p$ ,  $\tau$ ,  $\lambda$ ,  $\nu$ ,  $q$  (?),  $g$  (?).

В написании  $b$  чередуется с  $f$ , следовательно,  $b$  было спирантным; возможно, спирантным было и  $d$ , так как греческая  $\delta$  передается в лидийском посредством  $t$ . Греческая  $\sigma$  транскрибируется в лидийском при помощи  $s$  и  $\acute{s}$ , однако в лидийском  $s$  и  $\acute{s}$  различаются довольно строго. Перед  $\nu$  встречаются только носовые гласные;  $\tau$  может транскрибироваться греческой  $\delta$  (например,  $\acute{s}an\tau\acute{s}$  —  $\Sigma\acute{\alpha}\nu\delta\acute{\alpha}\varsigma$ );  $q$  может быть слогообразующим и неслогообразующим. Чтения  $\tau$ ,  $p$ ,  $\lambda$ ,  $q$  и  $g$  не вполне достоверны; вместо  $p$  для того же знака предлагается чтение  $h$ .

Подводя итог всему сказанному, мы должны признать ограниченность наших сведений о звуковом составе и, тем более, об исторической фонетике языков Малой Азии II и I тысячелетий. Это приводит к тому, что родственные черты в грамматике и в особенности в лексике могут улавливаться лишь частично. Возможности сравнительных сопоставлений неизмеримо возросли бы, если бы мы могли установить систему фонетических соответствий древнеанатолийских языков как между собой, так и с известными нам многочисленными живыми и мертвыми индоевропейскими языками.

Как и следовало ожидать, сравнительное изучение языков древней Малой Азии показывает, что черты наибольшего сходства этих языков между собой и с другими индоевропейскими языками мы имеем в области морфологии. Естественно, что изложение этого вопроса должно опираться прежде всего на факты неситского языка как лучше интерпретированного и изученного.

В настоящее время мы имеем довольно полное представление о неситском словообразовании и словоизменении как в описательном<sup>35</sup>, так и в сравнительно-лингвистическом плане<sup>36</sup>. Однако характер этой статьи вынуждает нас ограничиться ссылкой на существующую литературу.

Сравнение падежных окончаний в неситском, греческом (3-е склонение) и в санскрите дает ясное представление об индоевропейском характере неситского склонения<sup>37</sup> (см. табл. на стр. 70).

<sup>32</sup> Гласный  $e$  — открытый, так как греческое  $\epsilon$  передается посредством  $i$ .

<sup>33</sup> Различие между  $i$  и  $i^{33}$  не установлено.

<sup>34</sup> Разница в транслитерационных знаках  $\omega$  и  $\upsilon$  связана здесь с научной традицией.

<sup>35</sup> См. И. Фридрих, указ. соч.

<sup>36</sup> См. Е. Н. Sturtevant and E. A. Hahn, указ. соч., а также статью А. В. Десницкой «О хеттском языке» [предисловие к кн. И. Фридриха «Краткая грамматика хеттского языка» (М., 1952)].

<sup>37</sup> Даны падежи, представленные во всех трех языках; в неситском, кроме того, имеются отложительный падеж на  $-z$  и творительный на  $-it$ .

Падежи	Единственное число		
	несит.	греч.	санскрит.
Им.	-s	-ς	-h
Род.	-s	-ος	-h
Дат.	-i	-ι	-e
Вин.	-n	-ν	-m

В глагольной системе неситского языка также преобладают индоевропейские черты. Так, например, суффиксы каузативных и итеративных глаголов и большинство глагольных приставок имеют достоверные индоевропейские соответствия; то же можно сказать об окончаниях причастия повелительного наклонения и медио-пассивного залога. В неситском два спряжения, которые по флексии 1-го лица ед. числа наст. времени называются спряжением на *-mi* и спряжением на *-hi*.

Личные окончания обоих спряжений в настоящем времени активного залога следующие:

## Актив

Спряжение на *-mi*      Спряжение на *-hi*

## Ед. число

1-е лицо	<i>-mi</i>	<i>-hi</i> ( <i>-ahhi</i> )
2-е лицо	<i>-si</i>	<i>-ti</i>
3-е лицо	<i>-zi</i>	<i>-i</i>

## Мн. число

1-е лицо	<i>-weni</i>
2-е лицо	<i>-teni</i>
3-е лицо	<i>-anzi</i>

## Медиопассив

Спряжение на *-mi*      Спряжение на *-hi*

## Ед. число

1-е лицо	<i>-hahari</i> ( <i>-hari</i> )
2-е лицо	<i>-ta</i> ( <i>-ti</i> )
3-е лицо	<i>-tari</i> ( <i>-ta</i> ) <i>-ari</i> ( <i>-a</i> )

## Мн. число

1-е лицо	<i>-wastati</i> ( <i>-wasta</i> )
2-е лицо	<i>-tuma</i> ( <i>-tumari</i> )
3-е лицо	<i>-antari</i> ( <i>-anta</i> )

Обзор неситской морфологии показывает ее бесспорно индоевропейский характер. Наши сведения о морфологии остальных языков древней Малой Азии гораздо более ограничены, поэтому их сравнительное описание носит весьма отрывочный характер. Так, известные нам факты лувийской морфологии говорят о несомненной близости лувийского языка неситскому. У лувийского имени, как и у неситского, различаются основы на *-a*, *-i* и *-u* (в отличие от неситского имеется еще основа на *-ja*, в некоторых падежах совпадающая с основами на *-i*). Лувийские

окончания именительного, винительного и дательного падежей единственного числа совпадают с соответственными неситскими; однако родительный падеж в лувийском отсутствует, его роль играют притяжательные прилагательные на *-sas* или *-ses*; нет и творительного падежа, в ряде случаев ему бывает близок так называемый *adverbialis* на *-ti*. Именительный падеж множественного числа в лувийском *-nzi*, винительный падеж множественного числа *-nza*.

В глагольной системе лувийского и неситского языков также много общих черт. Так, лувийский глагольный суффикс *-ss-* (иногда *-sk-*) соответствует неситскому итеративному суффиксу *-sk-* (ср. лув. *tijane-ss-*, а также *tijane-sk-* и *hahre-sk-* «насмехаться»). Лувийская форма 3-го лица ед. числа императива совпадает с неситской (ср. лув. *awi-tu* «пусть увидит!»). В лувийском, как и в неситском, активному залогу противостоит медиопассивный с формами на *-r* (например, лувийский медиопассив: 2-е лицо мн. числа на *-(u)wari* и 3-е лицо мн. числа на *-ntari*). Лувийские личные окончания 1-го и 2-го лица ед. числа наст. времени *-wi* и *-si* соответствуют окончаниям неситского спряжения на *-mi* (окончание *-mi* встречается в лувийском редко: как правило, *-mi* уже перешло в *-wi*; 3-е лицо ед. числа наст. времени в лувийском *-ti*, *-anti* вместо неситского *-zi*, *-anzi*), а окончания лувийского прошедшего времени (1-е лицо ед. числа *-ha* и 3-е лицо ед. числа *-nta*) соответствуют окончаниям неситского спряжения на *-hi*. Мы видим, однако, что, хотя формы личных окончаний в лувийском в общем те же, что и в неситском, распределение их, насколько пока известно, — иное: возможно, лувийский, в отличие от неситского, имеет не два типа спряжения, а один<sup>38</sup>.

Интерпретация языка недавно, наконец, дешифрованных хеттских иероглифов пока еще не особенно продвинулась. Однако исследования Э. Форрера, Б. Грозного, И. Гельба, Дж. Бонфанте, П. Мериджи, Х.Т. Боссерта и др., с одной стороны, позволяют утверждать, что хеттский иерогли-

Падежи	Единственное число		Множественное число	
	Общий род	Средний род	Общий род	Средний род
Им.		<i>-s</i> <sup>39</sup>	<i>-i</i> , <i>-ia</i>	<i>-an</i> <sup>42</sup>
Вин.	<i>-n</i>	<i>-in</i> <sup>40</sup>	<i>-i</i> , <i>-ia</i>	<i>-an</i> <sup>42</sup> , <i>-a</i> , <i>-i</i>
Род.		<i>-s</i>	<i>-sa</i> , <i>-sa</i>	
Дат.-местн.	ноль, <i>-a</i> , <i>-an</i> <sup>41</sup>		<i>-in</i> <sup>40</sup>	
Отл.-твор.		<i>-ta</i>	<i>-ta</i>	

<sup>38</sup> Палайский (?) язык, по мнению Оттена (см. указ. соч.), близок как неситскому, так и лувийскому. С неситским его сближают такие местоимения, как *kwis*, *kwit* и окончание им. падежа *-s*, а с лувийским — глагольные окончания *-ti* и *-anti*; аналогично с неситским и лувийским имеет, возможно, палайское повелительное наклонение (ср. пал. *as-tu* и *as-a-ntu*), а также медиопассив на *-r* (ср. палайскую глагольную форму *kitor*).

<sup>39</sup> Легко можно было бы предположить, что окончание им. падежа ср. рода должно совпадать с окончанием вин. падежа ср. рода, однако дело обстоит не так: как пишет И. Гельб, «... им. пад. ед. ч. ср. рода, вопреки ожиданиям, оканчивается на *-s*, повидимому, заимствованное из мужского-женского рода» (I. J. Gelb, *Hittite hieroglyphs*, III, Chicago, Ill., стр. 53).

<sup>40</sup> В транслитерации  $\tilde{i}$ .

<sup>41</sup> В транслитерации  $\tilde{a}$ ; назализация здесь, очевидно, вторичная.

<sup>42</sup> В транслитерации  $\tilde{a}$ .

фический язык не тождествен ни одному из ранее известных языков древней Малой Азии, с другой стороны, дают веские доводы в пользу индоевропейского характера хеттского иероглифического языка и его более тесного родства с другими индоевропейскими древнеанатолийскими языками, в частности, с лувийским и ликийским. В хеттском иероглифическом выявлены имена с основами на *-a*, *-i*, *-u*, а также на *-nt*. Установлено наличие, так же как и в неситском, двух грамматических родов — общего (иначе — так называемого мужского-женского) и среднего, двух чисел — единственного и множественного, пяти падежей — именительного, родительного, дательного-местного, винительного и отложительного-творительного. Окончания падежей приведены на стр. 71.

Стереотипность хеттских иероглифических надписей приводит к тому, что некоторые глагольные формы редки или вовсе не встречаются, поэтому глагольное словообразование и словоизменение в хеттском иероглифическом пока еще не достаточно ясно. Известен ряд личных глагольных форм, например от глагола *aja* «делать» (ср. лув. *aja*- и несит. *ija* — с тем же значением): *aja-ḫa*, *aja-na*<sup>43</sup>; *aja-nwa*, *aja-nta*, *aja-nḫa*, *aja-nru*, *aja-sxsi*<sup>44</sup>, *aja-sxta*, *aja-sxtara*.

Установлено, что *aja-ḫa* является формой 1-го лица ед. числа прош. времени, а *aja-ta* — формой 3-го лица ед. числа прош. времени. Обе эти формы совпадают с соответственными лувийскими. Этимологизация остальных хеттских иероглифических глагольных форм вызывает затруднения, хотя сравнение с другими древнеанатолийскими индоевропейскими языками дает известные основания для увязки неясных форм частью с настоящим временем (формы на *-si* и, может быть, на *-nta*), частью с прошедшим [формы на *-s(x)ta* и *-nta*, *-nḫa*, которые, возможно, соответствуют 2-му лицу ед. числа и 3-му лицу мн. числа], частью с медиопассивом (формы на *-ḫ*).

Ликийский язык, как говорилось, до сих пор плохо поддается интерпретации. Однако большинство выясненных фактов ликийской морфологии имеет соответствия в лувийском, палайском, хеттском иероглифическом и отчасти в неситском языке, что свидетельствует о принадлежности ликийского к древнеанатолийской группе индоевропейских языков.

Как и в других индоевропейских языках Малой Азии, в ликийском не различается мужской и женский род; неясно, существует ли здесь вообще категория грамматического рода. Выявлены именные (в ряде случаев они же и глагольные) основы на *-a* и *-e* и именные основы на *-i*. В единственном числе различаются четыре падежа — именительный (с нулевым окончанием), винительный (на *-n*, графически: *-ā*, *-ē*, *i*), дательный (на *-t*) и отложительный-творительный (на *-ti*); во множественном числе засвидетельствованы винительный падеж (на *-as*) и дательный (на *-a*). Как и в лувийском, имеются притяжательные прилагательные (оканчиваются на *-ahi*, *-ehi*; в вин. падеже на *-ḫn*).

Полная парадигма ликийского спряжения до сих пор неизвестна. Окончание 3-го лица ед. числа наст. времени — *-ti*, 3-го лица мн. числа — *-nti* (графически: *-āti* или *-ēti*), 1-го лица ед. числа прош. времени — *-ha*, 3-го лица ед. числа — *-te*, 3-го лица мн. числа — *-nte* (графически: *-āte* и *-ēte*), 3-го лица ед. числа императива — *-tu*, 3-го лица мн. числа — *-ntu* (графически: *-ātu*). Эти окончания совпадают с соответственными окончаниями лувийского, отчасти также хеттского иероглифического (1-го лица и 3-го лица ед. числа прош. времени) и в некоторых случаях

<sup>43</sup> *ā* транслитерируется здесь и в последующих примерах как *an*, чтобы не включать тематический гласный в личное окончание.

<sup>44</sup> *x* обозначает в транслитерации неустановленный гласный.

неситского (в частности, 3-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа императива).

Язык большинства ликийских памятников в общем един. Однако часть надписи на стеле из Ксанфа и одна надпись из Антифеллы имеют графические и фонетические особенности (вместо *h* — *s*, вместо *cb* — *tb*). Некоторые ученые (Имберт, Педерсен) рассматривают язык этих текстов как язык, отличный от ликийского, хотя и близко родственный ему, и называют его милдийским; большинство же считает его диалектом ликийского и называет «ликийским Б».

То немногое, что нам известно из лидийской морфологии, дает некоторые основания для отнесения лидийского языка к древнеанатолийской группе индоевропейских языков, но допускается также возможность иного истолкования (например, сближение лидийского с этрусским, который, впрочем, согласно мнению ряда исследователей, также является индоевропейским).

В лидийском языке установлено два грамматических рода: один имеет именительный падеж на *-s*, другой — на *-d*. Все названия лиц относятся к роду на *-s*, а названия предметов — к обоим родам. Известно два косвенных падежа — падеж на *-l* (со значением дательного, местного, отложительного и иногда винительного падежа единственного числа) и падеж на *-v* после согласного, реже на *-n* (со значением винительного падежа единственного числа; ср. неситский, лувийский, хеттский иероглифический и вообще индоевропейский винительный падеж единственного числа на *-n*); падеж на гласный (обычно *a*) плюс *v* является, очевидно, косвенным падежом множественного числа.

В лидийском, так же как в лувийском и в ликийском, нет родительного падежа, зато имеются притяжательные прилагательные, которые оканчиваются в именительном падеже, в зависимости от рода, на *-lis* (реже — на *-is* или *-sis*) или на *-lid* и имеют косвенный падеж на *-l*.

Из глагольных окончаний известно только окончание 1-го лица ед. числа наст. времени на *-i* (после согласной) и на *-o* (после гласной)<sup>45</sup> и 3-го лица ед. и мн. числа наст. времени на *-t* (или на *-d*)<sup>46</sup>.

Приведенный здесь краткий обзор показывает индоевропейский характер морфологии группы языков древней Малой Азии. Это положение приобретает большую наглядность и убедительность при сопоставлении некоторых парадигм склонения и спряжения.

#### Окончания склонения имен общего рода<sup>47</sup> в единственном числе

Падежи <sup>48</sup>	Несит.	Лувийск.	Хет. иероглиф.	Ликийск.	Лидийск.	Греч.	Санскрит.
Им.	<i>-s</i>	<i>-s</i>	<i>-s</i>	ноль	<i>-s</i>	<i>-ς</i>	<i>-h</i>
Род.	<i>-s</i>	<i>-<sup>49</sup></i>	<i>-s</i>	<i>-<sup>49</sup></i>	<i>-<sup>49</sup></i>	<i>-ος</i>	<i>-h</i>
Дат.	<i>-i</i>	<i>i</i>	ноль, <i>-a</i>	<i>-i</i>	<i>-l</i>	<i>-ι</i>	<i>-e</i>
Вин.	<i>-n</i>	<i>-n</i>	<i>-n</i>	<i>-n</i>	<i>-n</i>	<i>-v</i>	<i>-m</i>

<sup>45</sup> Ср. окончание лувийского 1-го лица наст. времени *-wi*.

<sup>46</sup> Ср. окончание ликийского 3-го лица ед. числа наст. времени *-ti*.

<sup>47</sup> Для греческого и санскритского — мужского рода.

<sup>48</sup> Даны падежи, представленные в большинстве языков.

<sup>49</sup> Значение отсутствующего в лувийском, ликийском и лидийском родительного падежа выражается сочетанием существительного и притяжательного прилагательного: в лувийском — на *-sas* или *-sis*, в ликийском — на *-ahi* или *ehi*, в лидийском — на *lis* (реже — на *-is* или *-sis*).

Окончания спряжения на *-mi* в настоящем времени

	Несит.	Лувийск.	Хет. иероглиф.	Ликийск.	Лидийск.	Греч.	Санскрит.
Ед. число							
1-е лицо	<i>-mi</i>	<i>-wi(-mi)</i>	?	?	<i>-u, -v</i>	<i>-μι</i>	<i>-mi</i>
2-е лицо	<i>-si</i>	<i>-si</i>	<i>-si (?)</i>	?	?	<i>-ς</i>	<i>-ṣi</i>
3-е лицо	<i>-zi</i>	<i>-ti</i>	?	<i>-ti</i>	<i>-t</i>	<i>-σι &lt; -τι</i>	<i>-ti</i>
Мн. число							
1-е лицо	<i>-weni</i>	?	?	?	?	<i>-μεν</i>	<i>-mah</i>
2-е лицо	<i>-teni</i>	?	?	?	?	<i>-τε</i>	<i>-thá</i>
3-е лицо	<i>-anzi</i>	<i>-nti</i>	<i>t</i>	<i>-nti</i>	<i>-t</i>	<i>-ασι(дор.-ντι)</i>	<i>-dnti</i>

Окончания спряжения на *-mi* в прошедшем времени

	Несит.	Лувийск.	Хет. иероглиф.	Ликийск.	Лидийск.
Ед. число					
1-е лицо	<i>-un</i>	<i>-ha</i>	<i>-ha</i>	<i>-ha</i>	} неизвестны
2-е лицо	<i>-ta</i>	?	<i>-sta (?)</i>	?	
3-е лицо	<i>-ta</i>	<i>-ta</i>	<i>-ta</i>	<i>-te</i>	
Мн. число					
1-е лицо	<i>-wen</i>	?	?	?	
2-е лицо	<i>-ten</i>	?	?	?	
3-е лицо	<i>-ir</i>	<i>-nta</i>	<i>-nta</i>	<i>-nte</i>	

Конечно, есть в древнеанатолийских языках и такие формы, которым оказывается затруднительным найти объяснение с точки зрения индоевропейского языкознания<sup>50</sup>, но это не меняет общей картины близкого родства.

\*

Убедившись в родстве группы языков древней Малой Азии с индоевропейскими языками в области морфологии, мы должны посмотреть, как обстоит дело в области лексики<sup>51</sup>.

Еще при первоначальном знакомстве с неситской лексикой Б. Грозный отметил несколько слов, индоевропейская этимология которых бросалась в глаза и впоследствии подтвердилась. В дальнейшем число слов

<sup>50</sup> Так, например, родительный падеж неситских местоимений (и числительных) *-el* лишь с большим трудом может быть принят как индоевропейский; объяснение его по связи с индоевропейскими притяжательными прилагательными, образованными при помощи форманта *-l-* (Х. Недерсен, А. В. Десницкая), не дает окончательного решения вопроса, так как притяжательные прилагательные на *-l-* имеются не только в латинском, греческом, славянском, литовском, но и в лидийском и этрусском, а также в хаттском и грузинском и в других языках. Не исключено, что формант *-l-* хаттско-кавказского происхождения (Г. Капанцян, В. Георгиев), а может быть, даже является одним из фактов, свидетельствующих о древнейших межсемейных языковых связях.

<sup>51</sup> Я позволю себе обойти здесь вопросы синтаксиса, так как сходство структуры предложения не свидетельствует о генетическом родстве.



с достоверной индоевропейской этимологией значительно увеличилось, но тем не менее большая часть неситской лексики по настоящее время считается неиндоевропейской<sup>52</sup>. Примерно так же обстоит дело и с лексикой остальных древнеанатолийских языков. Нужно, однако, сказать, что, если, может быть, не весь основной словарный фонд этих языков является индоевропейским, то зато все слова, индоевропейскую этимологию которых удалось выяснить, относятся к основному словарному фонду<sup>53</sup>.

В дальнейшем, когда удастся разработать историческую фонетику древнеанатолийских языков, слов с индоевропейской этимологией может оказаться в этих языках гораздо больше. Однако даже имеющихся в настоящее время фактов достаточно, чтобы подтвердить устанавливаемые преимущественно посредством сравнения грамматических формантов взаимосвязь и индоевропейский характер древнеанатолийских языков<sup>54</sup>.

Заслуживает внимания соотношение языков внутри древнеанатолийской группы. Этот вопрос еще не достаточно изучен. Имеющиеся пока данные (глагольная флексия<sup>55</sup> и др.<sup>56</sup>) говорят о более тесной связи лувийского, ликийского и хеттского иероглифического, тогда как неситский оказывается несколько обособленным.

По характеру отражения заднеязычных согласных особняком стоят ликийский и хеттский иероглифический, которые являются языками типа *satəm* (ср. лик. *sīta* «сто», *esb-* «лошадь»; хет. иероглифич. *ašūwa* «лошадь», *šiwana* «собака», *šurana* «рог»), тогда как неситский и, повидимому, лувийский относятся к типу *centum* [ср. несит. *karz(a)* «сердце», лув. *kwinzi* «которые»]. Этот факт важен для проблемы деления индоевропейских языков на группы *centum* и *satəm* вообще.

Неоднократно обсуждался вопрос о том, не следует ли отнести к древнеанатолийским также фракийский, фригийский и карийский языки и не находится ли армянский в более тесном родстве с древнеанатолийскими языками, чем с другими индоевропейскими. Наши сведения о фракийском и карийском чрезвычайно скудны. Так, из незначительного количества небольших (содержащих главным образом имена собственные) граффити карийских наемников в Египте мало что можно выяснить, тем более, что и чтение карийских знаков еще не во всех случаях является окончательным. Все же и в карийском языке выявлены некоторые черты, которые могут быть индоевропейскими, например род. падеж на *-he* (ср. лик. притяжательные прилагательные на *-hi*, миллийские — на *-si*).

<sup>52</sup> Впрочем, как и в любом индоевропейском языке (ср. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 385).

Так как мы исходим из бесспорного положения о том, что строй языка, его грамматика и, в частности, морфология являются той основой языка, которая меньше всего поддается изменениям, то установление родства в области морфологии является, по существу, достаточным основанием для суждения о родстве языков. Если к тому же удастся определить родство хотя бы части основного словарного фонда, то расхождение значительных лексических слоев не может поколебать соображений в пользу родства сравниваемых языков.

<sup>53</sup> О лексике неситского языка см. указ. предисловие А. В. Десницкой к книге И. Фридриха «Краткая грамматика хеттского языка»; о лексике хеттского иероглифического, ликийского, лидийского языков см. статью В. Георгиева «Вопросы родства средиземноморских языков» («Вопросы языкознания», 1954, № 4).

<sup>54</sup> Небезинтересно то обстоятельство, что некоторые слова, не имеющие индоевропейской этимологии, оказываются общими двум и более языкам древнеанатолийской ветви, что увеличивает внешне впечатление их близости, например: лид. *ber*, несит. *pīr* «дом»; лик. *pīlawa-* «строить», несит. *parna* «дом» (ср. хуррит. *parna* «дом?»); лув. *tapar-*, несит. *taparija-* «править» (ср. хат. *taparna* «царь»).

<sup>55</sup> Ср. таблицу на стр. 74.

<sup>56</sup> Подробнее см. F. J. Tritsch, Lycian, Luwian and Hittite, «Archiv orientální», vol. XVIII, № 1—2, 1950, стр. 508 и сл.

Еще хуже положение с памятниками фракийского языка: надпись имеется всего одна — очень краткая, на кольце; весь остальной материал — глоссы. О фригийском мы имеем более отчетливое представление. Этот язык существовал дольше других древних языков Малой Азии — со II тысячелетия до н. э. и до первых веков новой эры (во всяком случае, по V век включительно). Сохранившиеся фригийские надписи относятся к двум периодам — к VII в. до н. э. (так называемые старофригийские надписи) и к первым векам новой эры (так называемые новофригийские надписи). Известно также довольно много фригийских глосс. Однако билингв нет, и фригийский язык до сих пор в достаточной мере не интерпретирован. Тем не менее индоевропейский характер его грамматики и известной части лексики настолько очевиден<sup>57</sup>, что установленная издавна принадлежность фригийского языка к индоевропейским никогда не оспаривалась даже теми, кто отказывался считать индоевропейскими такие языки, как неситский, ликийский и т. д.<sup>58</sup> Но именно этот явный «индоевропеизм», сближающий фригийский язык скорее с греческим, вместе с тем отличает его от языков древнеанатолийской группы и заставляет возражать против включения фригийского языка в эту группу<sup>59</sup>.

Что касается соотношения армянского языка с индоевропейскими языками древнеанатолийской группы, то этот вопрос еще очень слабо разработан. Те сопоставления, которые до сих пор проводились в области морфологии этих языков, имели своей исходной точкой отрицание индоевропейского характера не только неситского, лувийского и других языков, но также и армянского. При доказанной в настоящее время ошибочности такого взгляда<sup>60</sup> эти сопоставления нуждаются в пересмотре. Что же касается выяснения неситско-армянских лексических связей, то здесь многое сделано академиком Г. А. Капанцяном. Однако его труд был бы еще более ценен, если бы было проведено различие между лексическими связями, обусловленными родством, лексическими связями, являющимися результатом заимствования, и, наконец, лексическими связями, возникшими вследствие частичной общности субстрата<sup>61</sup>.

<sup>57</sup> К явно индоевропейским чертам фригийского относятся, например, такие явления, как им. падеж ед. числа муж. рода на *-es* и *-os*, вин. падеж на *-n*, дат. падеж ед. числа муж. рода на *-i*, *-ei*; в глаголе — аугмент, суффикс *-men-* для пассивного причастия (например, *etitetikmenos* «прокляты»), окончание 3-го лица настоящего и будущего времени глагола на *-et* и прошедшего времени на *-es*, повелительная и пожелательная форма *eiti* от глагола «быть»; в области лексики — глагол *da* «ставить», *der-* «нести», имя существительное *materan* «мать» (в вин. падеже), относительное местоимение *ios*, указательное местоимение (в вин. падеже) *semün* и многие другие. Ряд слов во фригийском — общий с греческим или заимствован из греческого (ср. *kakün* «зло» — вин. падеж; *wanaktei* «парю» — дат. падеж).

<sup>58</sup> Столь же очевиден индоевропейский характер мисийского языка.

Правда, от него сохранилась только одна надпись, но в ней встречаются такие характерные индоевропейские слова, как «брат» и «отец» (в сочетании *braterais patristi*).

<sup>59</sup> Античные авторы (Геродот, Евдокс Книдский и др.) указывали на общность происхождения армян и фригийцев. Эта точка зрения получила широкое распространение в западноевропейской науке. Однако каких-либо явных связей армянского языка с фригийским не установлено.

<sup>60</sup> Относительно армянского языка см. А. А. Асмангулян, Против гипотезы о «двуириродности» армянского языка («Вопросы языкознания», 1953, № 6).

<sup>61</sup> Надо постоянно иметь в виду, что количественно преобладающая часть словарного запаса как языков древней Малой Азии, так и армянского проникла из индоевропейских языков, побежденных ими в процессе скрещения. Для неситского таким языком был, очевидно, хаттский; для армянского — близкие между собой хурритский и урартский. Эти языки-субстраты, вероятно, имели образовавшийся в результате заимствований некоторый общий лексический фонд, который мог быть унаследован языками-победителями; с одной стороны — неситским, с другой — армянским.

Чрезвычайно важно было бы установить возможные взаимоотношения армянского не столько с неситским, сколько с другими языками анатолийской группы, в особенности же с такими языками, как хеттский иероглифический и ликийский, принадлежащими, подобно армянскому и в отличие от неситского, к группе *satem*.

\*

Нам остается теперь остановиться на хаттском языке, который приходится рассматривать отдельно от остальных языков древней Малой Азии, так как он не имеет с ними каких-либо уловимых связей. По тому, что нам известно о хаттском, скорее можно ожидать выявления его сходства с картвельскими языками. Как уже говорилось, памятники хаттского языка относятся ко II тысячелетию до н. э. Они представляют собой глоссы, цитаты, обрядовые формулы и небольшие культовые тексты, содержащиеся в неситских надписях и изредка снабженные неситским переводом. Очевидно, к тому времени, когда писались эти тексты, хаттский язык в Каппадокии был уже мертвым, и неситские писцы делали хаттские записи как бы «на слух», без понимания их смысла. Приписки самих писцов к некоторым текстам указывают, что эти тексты восстановлены ими по памяти после гибели первоначальной записи. Это обстоятельство, наряду с несовершенной передачей хаттского звукового состава средствами клинописи, затемняет особенности хаттской фонетики, а отчасти также морфологии и лексики. К тому же небогатый материал хаттских памятников еще до сих пор недостаточно исследован.

Хотя хаттские тексты транслитерируются так же, как неситские, есть основания считать, что звуковой состав хаттского языка был значительно сложнее, чем тот, который нам дает графика. Это видно, например, из колебаний в написаниях *t*, *z[ts]* и *l* (звук *l*), а также *k* и *ḫ* (звук *kʰ*?) и т. п. Следовательно, транслитерацию хаттских слов следует считать очень условной.

Наши сведения о хаттской морфологии пока еще очень ограничены. Насколько известно, хаттское имя не имеет ни родов, ни классов. Впрочем возможно, что суффикс *-h* имеет характер классного показателя (ср. *katte* «царь», *kattah* «царица», *anta* «мужчина», *antuh* «человек»). Есть ли падежи, неясно: при существительном в начале периода может стоять частица *-ma*; не исключено, что это существительное является в данном случае субъектом переходного глагола (ср. грузинский показатель эргативного падежа *-ma*, *-man*). Вообще же субъект (во всяком случае переходного глагола), а также прямой и косвенный объект не оформлены (имеют нулевой показатель). Множественное число (может быть, собирательность?) обозначается префиксами, например *le-<sup>62</sup>* (ср. *le-pini* «дети»), *š/se-<sup>63</sup>*, и, возможно, суффиксами, например *-b/p* и др. Именные префиксы весьма разнообразны, если только не считать, что на самом деле это были предлоги, сросшиеся с именем вследствие записи «на слух», например *i-malhi-b/p* «хорошие» (?). Суффиксы встречаются реже, например *-(en)na*. Имеется много энклитических частиц, например *-hi* «затем», *-v/pi* (может быть, *wi?*) «же» и другие.

<sup>62</sup> Между префиксом *le-* и основой могут встречаться элементы *-wa* (с невыясненным значением) и *-i-* (артикл? или показатель единичности? Ср. *-i* в грузинском).

<sup>63</sup> Есть два совершенно параллельных текста, в одном из которых употребляется префикс *le-*, а в другом вместо *le-* всюду стоит префикс *š/se-*. (Мы не можем определить, в каких случаях согласный в слоговом знаке нужно читать *š*, а в каких *s*, поэтому здесь и ниже транслитерируем *š/s*.)

Отношения possessивности выражаются при помощи притяжательных прилагательных на *-el* (ср. аналогичный грузинский суффикс *-el*)<sup>64</sup>.

Из местоимений можно, повидимому, пока определить *eš/s* «он, они» [для субъекта, а также для объекта; ср. груз. *is(i)*] и *il* «ты»; из числительных — *apa* «пять»; отрицание — *taš/s*.

Основа глагола в хаттском содержит два согласных. Глагольная система имеет, повидимому, большое сходство с грузинской. Различается субъектное и субъектно-объектное спряжение. Спрягаемые формы глагола часто имеют при себе специальный пространственный префикс; часть префиксов (*š/s e-*, *ta-*, *a-*, *ka-*), вероятно, может быть связана с аналогичными грузинскими префиксами; другие префиксы (*tu-*, *tuta-*, *teta-*, *aš/s ka-*, *iš/šku-*, *warwa-* и т. п.) аналогий в грузинском не имеют. Указание на объект глагола (прямой или косвенный) дается, возможно, как и в грузинском, специальным элементом, помещающимся непосредственно перед основой глагола (для 3-го лица *-t-*; в грузинском *-s-* или *-h-*). Третье лицо субъекта передается в некоторых глагольных формах суффиксом или энклитикой *-ta*. Характерны также окончания спрягаемой формы глагола на *-at*, *-iwa*, *-in(u)*, *-iš/s*.

Лексика хаттских текстов выявлена слабо, не всегда удается отделить основу от префиксов, частиц и т. д.<sup>65</sup> Имеется ли связь между хаттским и грузинским в области лексики, пока сказать трудно. Предварительно можно привести сопоставление хаттского *š/s awat* (*šaw/?*) «яблоко, яблоня» с грузинским *vašl-i* «яблоко». Материалы хаттского языка нуждаются в дальнейшей интерпретации, а в отношении связей с грузинским языком — в углубленной проработке компетентными кавказоведами<sup>66</sup>.

Хаттский язык, несомненно, оказал (как субстрат, или как адстрат, или как то и другое) глубочайшее воздействие на неситский, лувийский, а может быть, и на другие языки древней Малой Азии. Не только множество культурных терминов, но вообще более половины неситских слов надо считать хаттскими по происхождению [например, несит. *antuhsas* «человек» из хат. *antuš*; несит. *labarnas* «царь» (также имя собственное) и глагол *taparija-* (лув. *tapar-*) «править» из хат. *taparna* и т. д.].

Сказанного выше вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что хаттский является языком неиндоевропейским. Вполне возможно, что в Малой Азии существовали и другие языки, близкие к хаттскому, но они не засвидетельствованы письменными памятниками.

Необходимо отметить, что интерпретация и описание шумерского, хурритского, урартского и эламского языков, которые в литературе часто объединяют в одну группу с хаттским, в настоящее время настолько продвинулись<sup>67</sup>, что становится совершенно очевидным следующее: во-первых,

<sup>64</sup> См. выше, стр. 74.

<sup>65</sup> Примеры хаттской лексики: *anta* «мужчина», *antuš* «человек», *antušil* «мужской», *wil* «дом», *wur* «страна», *zijar* «гора», *kalle* «царь», *taparna* «царь», *ziš* «одежда», (a) *š'ah* «глухой, злой», *malhi(p)* «хороший», *le-pini* «дети», *zwatu* «жена?», *zintu* «вино?», *kalt* «хлеб, верш», *-hir-* «давать», *-sul-* «пускать», *-kun-* «смотреть», *-kiw-* «хватать», *-ija-* «давать».

<sup>66</sup> А. С. Чибובהва, может быть, и прав, когда сопоставляет хаттский язык с кавказскими (см. «Введение в языковедение», стр. 227). Но, пытаясь бороться против терминологической путаницы, он усугубляет ее, употребляя существующие термины в ином смысле: можно и желательно не называть неситский язык хеттским (см. «Вестник древней истории», 1954, № 1, стр. 77—78), но нельзя называть хеттским неиндоевропейский хаттский, если уж так случилось, что этим термином обозначался и до сих пор широко обозначается язык неситский (индоевропейский!).

<sup>67</sup> См. И. М. Дьяконов, О языках древней Передней Азии, «Вопросы языковедения», 1954, № 5.

эти языки не родственны между собой (за исключением хурритского и урартского), во-вторых, ни один из них не принадлежит ни к какой из известных языковых семей и, наконец, в-третьих, ни один из этих языков не имеет генетических связей с хаттским.

\*

Таким образом, мы убедились, что из рассмотренных языков лишь в отношении хаттского можно говорить о вполне вероятной связи с кавказскими языками (точнее, с грузинским). А так как мы знаем, что хаттский среди языков Малой и Передней Азии стоит особняком, то вряд ли имеются какие-либо основания говорить о хеттско-иберийской семье языков.

В настоящее время мы уже имеем основания утверждать, что в древней Малой Азии существовала группа индоевропейских языков<sup>68</sup>, связанных между собой более тесно, чем с другими индоевропейскими языками. Однако вопрос о соотношении этих языков еще недостаточно проработан, здесь требуется большой дополнительный материал, и поэтому создание сравнительной грамматики данной группы языков, которую в последнее время — на наш взгляд, удачно — называют анатолийской или древнеанатолийской<sup>69</sup>, еще является делом не слишком близкого будущего.

Интересно то обстоятельство, что уже выявлено некоторое количество лексики, общей именно анатолийским языкам и не являющейся общеиндоевропейской. Задачей предстоящих исследований должно быть прежде всего дальнейшее выяснение черт родства древнеанатолийских языков между собой и с другими индоевропейскими языками, а позднее составление сравнительной грамматики и этимологического словаря древнеанатолийских языков. Вместе с тем внимательному анализу должна быть подвергнута неиндоевропейская лексика этих языков — как являющаяся достоянием каждого языка в отдельности, так и общая всей группе.

Выяснение происхождения неиндоевропейской лексики древнеанатолийских языков, несомненно, может дать ценный материал для разработки проблем этногенеза народов Малой Азии и Кавказа. Дело в том, что есть основания полагать, что племена и народности древней Малой Азии, говорившие на индоевропейских языках, отличались от окружающих племен и народностей, говоривших на хаттском и родственных ему языках, только по языку, а во всех прочих отношениях (культура, антропологический тип и т. д.) особых различий с ними не имели<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Все эти языки являются языками «хеттов», т. е. языками, которые были живыми в Хеттском царстве.

<sup>69</sup> Мне уже приходилось писать (см. «Вестник древней истории», 1954, № 1, стр. 74) о недопустимости употребления применительно к этой группе термина «азианические» языки, введенного в 1896 г. П. Кречмером. Как известно, последний утверждал, что все население древней Малой Азии представляло собой особый этнический слой, названный им малоазийским, или азианическим. Кречмер рассматривал эти народы и их языки как специфический доиндоевропейский этнический и лингвистический субстрат, на который лишь в конце второго или даже в начале первого тысячелетия (!?) осели индоевропейские народы со своими языками. Хотя сам Кречмер впоследствии отошел от своей теории, ее приходится подвергать критике вновь и вновь, так как она до последнего времени находила себе приверженцев, в частности у нас, в Советском Союзе, где перепевом ее явилась пресловутая марровская теория третьего этнического элемента.

<sup>70</sup> Хотя лингвистический материал и является наиболее осязаемым из всех доступных нам материалов об этническом характере древних народов, он может служить целям классификации этнических групп только при условии выяснения и учета всех изменений, которые произошли в результате скрещивания этносов или вследствие

Поэтому, возражая против объединения кавказских и индоевропейских языков древней Малой Азии по генетическому признаку, следует всячески подчеркивать необходимость сравнительного изучения лексики кавказских языков и количественно преобладающей в древнеанатолийских языках неиндоевропейской лексики. Последняя, весьма вероятно, восходит в известной части если не к индоевропейскому, то все-таки к общему (возможно, хаттскому или даже дохаттскому) источнику, установление которого очень важно для решения этногенетических проблем и проблем кавказского языкознания.

смены языка, вызванной мирным совместным обитанием или завоеванием. Следовательно, для интересующего нас периода языковые группы нельзя безоговорочно отождествлять с этническими, так как языковое родство не всегда гарантирует родство этническое, а также культурно-историческую преемственность.

## ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ СТИЛИСТИКИ

## ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ СТАТЕЙ

Помимо материалов, опубликованных в №№ 3—5 журнала за 1954 г., редакцией было получено еще несколько откликов на статью Ю. С. Сорокина «К вопросу об основных понятиях стилистики» (1954, № 2). В этих отзывах высказывается ряд критических замечаний по поводу выдвинутых Ю. С. Сорокиным положений и излагаются разные точки зрения по отдельным поднятым в ходе дискуссии вопросам.

\*

В статье, озаглавленной «О стилистическом нигилизме», проф. А. Ф. Ефремов (Саратов) возражает против отрицания стилей общенародного языка. Это отрицание, говорит он, основывается на том, что в развитом национальном языке стили не имеют замкнутости, что нет «изолированных элементов языка», которые были бы свойственны одному стилю и необычны для другого стиля. Но мысль о том, что для права на существование стилей обязательно наличие их структурной «замкнутости», наличие изолированных слов, оборотов и конструкций, характерных для одного какого-либо стиля и не характерных для других стилей языка, следует, по мнению А. Ф. Ефремова, признать ошибочной. Признаком языкового стиля является не «замкнутость» его, а наличие особых специфических черт, возникающих благодаря самим условиям общения. Так, специфика разговорного стиля определяется тесным психологическим контактом говорящих, конкретной обстановкой общения, большой ролью внеязыковых средств и пр. Отсюда — характерные черты этого стиля: короткие предложения, их неразвернутость, слабая функция синтаксических средств расчленения речи, «ступенчатость» предложения (по терминологии проф. А. Н. Гвоздева), господство бессоюзных конструкций, резкие синтаксические переходы, самоперебои, повторы, наличие неполных, номинативных, обобщенно-личных предложений, эллиптических конструкций, особый порядок слов, «непоследовательность» в построении фразы, вставные вопросительные и восклицательные предложения, специфические модальные слова и частицы, обращения, междометные формы глагола и т. д. Ко всему этому надо добавить некоторые морфологические особенности речи, свободу в пользовании разговорной и просторечной лексикой и фразеологией, широкие возможности экспрессивного использования обычных, нейтральных слов. Все эти стилевые особенности сочетаются с присущей разговорной речи живой интонацией и экспрессией.

Разумеется, пишет дальше А. Ф. Ефремов, стиль разговорной речи не существует изолированно: элементы его активно проникают в другие стили языка. Наиболее яркое отражение элементы разговорного стиля находят в литературно-художественном стиле и, естественно, прежде

всего — в диалогах. Разговорная речь здесь индивидуализируется согласно художественным задачам автора; известно также, что элементы разговорного стиля широко отражаются и в авторской речи: со второй половины XVIII в. наша литература сознательно шла на сближение литературно-художественного и публицистического стилей языка с разговорным, намеренно нарушая замкнутость стилей. С гораздо большими ограничениями элементы разговорного стиля находят себе место в публицистике, в полемических произведениях и памфлетах (например, у В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и др.), еще менее — в научном стиле.

В свою очередь, разговорный стиль тоже не отличается непроницаемостью. Он может вбирать в себя элементы научного стиля. Все зависит от того, кто говорит, с кем, о чем, а иногда и для чего. К сожалению, стиль разговорной речи не изучен, хотя он играет большую роль и в развитии стилей письменного языка, который, по выражению А. С. Пушкина, «...оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре»<sup>1</sup>. Однако неизученность структурных черт разговорного стиля еще не дает права отрицать его существование.

Как разговорный, так и различные письменные стили имеют общую основу — грамматический строй и основной словарный фонд общенародного языка, т. е. то, что отличается наибольшей устойчивостью в языке и имеет характер обязательности для всех стилей. На этой общей основе создаются различные стилевые системы. Такова, например, система литературно-художественного стиля, который противопоставит всем стилям письменной речи. Особое место этого стиля определяется особым характером воспроизведения действительности, стремлением сохранить чувственную форму ее восприятия, тем, что все слова здесь несут обязательную службу образности.

В области синтаксиса литературно-художественный стиль отличается большей широтой диапазона, чем какой-либо другой стиль общенародного языка; здесь нет ничего «запретного». Все конструкции в художественном стиле, как и слова, имеют одну общую направленность — построение образов; каждое предложение соответствует образной установке; структура предложений, их чередование, связи между ними, соотношения членов предложения, принципы их перестановки и выделения, ритмо-мелодические приемы — все это рассчитано на построение образа.

Литературно-художественный стиль резко отличается от стиля научного, хотя совершенно справедливо утверждение, что научное изложение несколько не замыкается в рамки каких-то особых форм речи. Но научное изложение воспроизводит не цепь меняющихся чувственных впечатлений, не образы, а цепь логических суждений, поставленных во внутреннюю причинно-следственную взаимосвязь. В научном, особенно в научно-популярном, стиле возможно использование художественных средств. Д. И. Писарев говорил, что «популяризатор непременно должен быть художником слова, и высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит именно в том, чтобы слиться с наукой и посредством этого слияния дать науке такое практическое могущество, которого она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами»<sup>2</sup>. По его мнению, «удачное выражение, меткий эпитет, картин-

<sup>1</sup> А. С. Пушкин, Письмо к издателю, Полное собр. соч. в шести томах, 4-е изд., т. V, М., ГИХЛ, 1936, стр. 255.

<sup>2</sup> Д. И. Писарев, Реалисты, Полное собр. соч. в шести томах, т. IV, СПб., 1903, стр. 146.



ное сравнение чрезвычайно много прибавляют к тому удовольствию, которое доставляется читателю самым содержанием книги или статьи»<sup>3</sup>.

Но элементы художественного стиля лишь вкрапливаются в текст научной работы и остаются иностильными. Определяющую роль в научном стиле играет книжная и специальная, терминологическая лексика. Она подчиняет себе всю общеупотребительную лексику, поскольку последняя попадает в план научного изложения. Общеупотребительная лексика в научном стиле характеризуется не образностью, а деловым характером, причем часто отдельные общеупотребительные слова становятся терминами. В синтаксическом отношении научный стиль также имеет много пунктов расхождения со стилем литературно-художественным. В художественном стиле возможны все синтаксические формы разговорной речи, в научном стиле — только некоторые из них.

В своеобразном отношении к научному и художественному стилю находится стиль публицистический. Он подвержен различным изменениям и отличается большой подвижностью. В нем сочетаются черты научного и художественного стиля; соотношение этих черт в зависимости от конкретных условий варьируется, меняется (ср., с одной стороны, статьи, с другой — очерки, фельетоны, памфлеты). В силу своей подвижности и проницаемости публицистический стиль может дать больше оснований для того, чтобы усомниться в его существовании как особого стиля. Тем не менее он существует: задачи и общая направленность публицистики обуславливают определенный подбор языковых средств. Публицистический стиль характеризуется наличием специальной общественно-политической лексики и фразеологии. Это — небольшой пласт, но он так же, как книжная и специальная лексика в научном стиле, дает тон, окрашивающий и всю общеупотребительную, образную, даже просторечную лексику, приспособляемую к задачам публицистического изложения.

Наблюдения над публицистическим и художественным стилями убеждают, что в стилистическом плане слово должно расцениваться не только само по себе, но в его изолированном состоянии, а с точки зрения той направленности, того назначения, какое оно получает в общем речевом контексте, по тому, «как оно сказано». «Слова еще ничего не значат; нужно знать, из каких стремлений возникают слова»<sup>4</sup>.

Итак, вывод о том, что если не существует изолированных языковых средств, пригодных для одного стиля, но непригодных для другого, то, значит, нет и самих стилей, представляется поспешным и весьма упрощенным.

А. Ф. Ефремов останавливается также на вопросе о разделении стилистики на аналитическую и функциональную. Он считает такое разделение теоретически несновательным и практически ненужным. Предполагается, что аналитическая стилистика будет заниматься изучением «общей тональности отдельных элементов языка» в связи с изучением «синонимических соответствий и форм», а функциональная стилистика — «изучением принципов отбора слов в связи с общим смыслом и назначением высказывания». Но обе эти стороны изучения языка тесно связаны между собой, и разделять их не следует. Тональность слов или выражений не всегда может быть осмыслена без уяснения их функций. С другой стороны, вскрывая функции слова, конструкции, нельзя не коснуться их отношения к определенным стилистическим категориям. Это касается всех стилей вообще и особенно стиля художественного. Разделение

<sup>3</sup> Д. И. Писарев, Реалисты, стр. 151.

<sup>4</sup> Н. Г. Чернышевский, Сочинения и письма Н. В. Гоголя, Полное собр. соч., т. IV, М., 1948, стр. 629.

стилистики на аналитическую и функциональную не устраивает ни языковедов, ни тем более литературоведов и писателей. Оно узаконивает отрыв изучения языковых фактов от изучения их функций.

В наше время проявляется большой интерес к вопросам языка художественной литературы и публицистики, но изучение его обычно ведется без учета функциональной стороны языковых явлений. Изучаются, например, словосочетания в произведениях М. Ю. Лермонтова, сложно-подчиненные предложения в прозе М. Ю. Лермонтова, предлоги и предложные сочетания в прозе А. С. Пушкина, глагольная лексика «Повести о детстве» Ф. В. Гладкова, общественно-политическая лексика Н. А. Некрасова, просторечная лексика в рассказах Д. Н. Мамина-Сибиряка, терминологическая лексика в произведениях советской литературы, фразеология ранних фельетонов А. М. Горького, сложные слова в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, номинативные предложения в произведениях советской литературы и т. д. Однако исследователи обычно проходят мимо функционально-стилистической стороны языковых явлений; художественное произведение служит лишь источником для подбора материала по данному вопросу. Литературоведы, тем более писатели, не могут быть удовлетворены этими исследованиями, ценными для грамматиста или лексиколога. В результате такого анализа язык художественного произведения размыается на кирпичики, выясняются все особенности данной грамматической или словарной категории, но изучение художественного стиля не продвигается вперед.

Изучение художественного стиля идет успешнее, когда лингвистический анализ языковых явлений сочетается с анализом функциональным. Этот путь сложнее, он требует большой осмотрительности, так как здесь есть опасность подмены функционально-стилистического анализа языковых фактов анализом содержания. Но и этого типа работы не могут полностью удовлетворить ни писателя, ни литературоведа: они тоже не вскрывают писательского мастерства.

Возможно, что для того чтобы вскрыть языковое мастерство писателя, нужен третий путь — анализ языка художественного произведения по отдельным образам. Создание каждого образа связано с использованием определенных языковых средств, складывающихся в стилевое единство. В этом единстве все языковые средства обусловлены авторской установкой в отношении данного образа и органически связаны между собою (ср., например, сцену охоты в «Войне и мире» Л. Толстого). При таком анализе выступит связь каждой детали с целым, мастерство писателя, его такт, искусство владения речью и, с другой стороны, всякого рода противоречия и погрешности в стиле.

Итак, деление стилистики на аналитическую и функциональную теоретически неосновательно. Но нет нужды и в разделении стилистики на лингвистическую и литературоведческую (в узком смысле). Должна быть единая стилистика — лингвистическая, которая охватывала бы все стили общенародного языка, все его стилистические категории в их взаимосвязях, взаимосмещениях, с учетом их возможных функций и конкретных применений. Такая стилистика должна быть построена совместными усилиями языковедов и литературоведов.

Предметом стилистики должно стать изучение всего многообразия языковых средств различных стилей общенародного языка и их специфики. Изучение этих языковых средств не может быть подменено установлением «синонимических соответствий», сопоставлением синонимов, характерных для каждого стиля в отдельности. Несомненно, синонимы являются одним из важных стилистических средств; но неправильно было бы преувеличивать роль синонимов как стилистических разграничите-

лей и отводить им решающую роль в формировании стилей общенародного языка. Несравненно большую роль в этом процессе играет многозначность слова, поскольку «изменения в смысловой структуре слова почти всегда отражаются и на его стилистическом употреблении»<sup>5</sup>. Свести научное изучение стилей общенародного языка со всем их богатством и разнообразием средств выражения к установлению «синонимических соответствий» — значит искусственно сузить сферу применения стилистики как науки.

\*

В статье «Проблемы стилистики» М. М. Орлов (Ростов) отмечает, что основные положения статьи Ю. С. Сорокина являются противоречивыми. С одной стороны, Ю. С. Сорокин утверждает, что в языке есть отдельные слова и выражения, формы и конструкции, сами по себе обладающие определенной стилистической тональностью и несущие с собой в тот контекст, где они оказываются, «... определенную общую настроенность»<sup>6</sup>. С другой стороны, он пишет, что «...пока никому не удалось показать», что с тем или иным языковым стилем «...связаны специфические элементы языка, особые элементы его словаря и фразеологии, особые формы и конструкции, невозможные в других стилях или выступающие в этих других стилях как инородное тело»<sup>7</sup>. Итак, утверждается, что в языке имеется язык слов, выражений, форм и конструкций; сфера употребления которых ограничена, и тут же отвергается возможность отнесенности каких-то языковых элементов к определенным языковым стилям. Как же можно тогда объяснить наличие указанной «ограниченности» и каковы ее причины?

Стиль — это разновидность литературного языка, характеризующаяся такой совокупностью лексико-фразеологических, грамматических, интонационных особенностей, которая отличает ее от комплекса указанных языковых черт другой подобной разновидности. Каждый новый комплекс языковых средств дает новый стиль. Так, например, стиль художественной литературы имеет в своем составе нейтральную лексику и фразеологию, определенный круг стилистически окрашенной лексики и фразеологии (эмоциональные слова, просторечные и разговорные элементы, поэтизмы и т. д.), специфические синтаксические конструкции, рассчитанные на выразительность речи, и др. Этот комплекс языковых черт отличается от совокупности языковых средств, присущих, например, стилю публицистики, тем, что в публицистике могут находиться все перечисленные языковые категории, но соотношение их будет иным.

Каждый комплекс языковых черт, образующий стиль, в свою очередь может иметь довольно значительное число «внутренних» разновидностей. Однако каждый из этих вариантов отличается от любого другого варианта данного стилевого комплекса не в такой мере, в какой он отличается от комплекса языковых элементов, присущих другому стилю.

Стили речи отражают мышление человека: художественное мышление рождает художественный стиль, общественно-политическое мышление — публицистический стиль, научное мышление — научный стиль. Эти три основных стиля, возникшие в глубокой древности у разных народов в разное время, представляют основу стилистической системы литературного языка, но они не являются замкнутыми, а находятся в определенном взаимодействии.

<sup>5</sup> В. В. Виноградов, Великий русский язык, М., 1945, стр. 146—147.

<sup>6</sup> «Вопросы языкознания», 1954, № 2, стр. 78.

<sup>7</sup> Там же, стр. 73.

Никто никогда не утверждал, что стили речи представляют собой совершенно изолированные сферы. Еще М. В. Ломоносов в своей работе «О пользе книг церковных...» писал о возможности передвижения различных лексических разрядов из одного стиля в другой. Поэтому утверждение Ю. С. Сорокина о том, что стили находятся в определенном взаимодействии, не является новым.

Ю. С. Сорокин выдвигает тезис: чем развитее язык, тем менее дробно его стилистическое деление. На деле литературный язык в своем историческом развитии при сохранении системы основных стилей идет по линии обогащения своих стилистических разновидностей.

Стили могут рассматриваться только в плане их противопоставления одного другому. На базе такого сопоставления могут быть выделены специфические особенности, присущие тому или другому стилю.

Подобно тому как система языка реализуется в процессе речевой деятельности, так же и стиль языка представляет собой систему языковых средств, из которой отбираются определенные элементы для создания отдельных произведений в пределах этого стиля. Но если язык включает в себя все элементы речи, то стиль — только те из них, которые выходят из разряда нейтральных.

Ю. С. Сорокин считает, что стиль речи — понятие функциональной, а не аналитической стилистики. Следовательно, у стиля выделяется только функциональная сторона и отвергается понимание стиля как системы.

Каждый стиль речи в своей основе имеет «отбор» языковых элементов; специфика отбора для каждого стиля в тот или иной период развития языка является постоянной, что и позволяет говорить о наличии в языке определенных стилей. Если бы не существовало таких устоявшихся, постоянных речевых отраслей, которые мы называем стилями, то каждая новая комбинация отбора давала бы новую специфику, т. е. новый стиль. Таким образом, стилей было бы бесчисленное множество, потому что комбинаций отбора может быть бесконечное количество. Следует оговориться, что понятие отбора может быть применено к стилю лишь условно, потому что говорящий (или пишущий) по сути дела не занимается отбором в прямом смысле: здесь скорее имеет место интуитивное воспроизведение элементов определенного стиля.

В речевом потоке любого стиля не воспринимается экспрессия отдельных присущих этому стилю слов. Экспрессия этих слов как бы растворяется в общем речевом потоке, в результате чего и возникает определенный стиль со своеобразной, свойственной этому стилю экспрессией. Когда в языке возникает новое слово, то оно приобретает экспрессию того стиля, в котором оно чаще всего употребляется; стиль, в котором утвердилось это новое слово, передает ему свою экспрессию. И если это слово попадает в сферу другого стиля, оно уже несет в себе выразительность того стиля, в котором впервые приобрело широкое распространение. Так, например, такие слова, как *закон*, *устав*, отличаются выразительностью официально-делового или публицистического стиля, потому что они имели распространение именно в этих стилях и, попадая, например, в художественную литературу, сохраняют соответствующую экспрессию.

В современной филологии термин «стиль» часто употребляется для обозначения экспрессии речи, т. е. ее выразительности. Стилистическая выразительность слова может слагаться из трех элементов: стилистической окраски, эмоциональной окраски и субъективной оценки, причем все эти три элемента могут соединяться в одном слове. В зависимости от наличия или отсутствия в слове стилистической окраски, весь словарный состав языка может быть разделен на два неравных разряда: нейтральные слова, составляющие основную массу словарного состава, и слова стилистически

окрашенные (просторечие, лексика разговорная, книжная, специальная терминология и т. д.).

Эмоциональная окраска слова определяется, в основном, тем предметом или понятием, которое обозначается этим словом. Она не зависит от его стилистической окраски. Почти в каждом разряде стилистически окрашенной лексики может быть выделена эмоциональная и неэмоциональная лексика и фразеология. Нейтральные слова могут быть как эмоциональными (*восторг, любовь, страсть, злоба, горе* и т. д.), так и неэмоциональными (*стул, стол, стена, ходить, читать, писать* и т. д.). Могут быть также эмоциональными и неэмоциональными книжные слова, слова просторечные и некоторые другие разряды стилистически окрашенной лексики.

Субъективная оценка слова выражает отношение говорящего к предмету или понятию. Чаще всего субъективная оценка придается слову общим контекстом речи, причем она часто сливается со стилистической окраской слова. Так, например, бранная лексика является просторечной по своей стилистической окраске и в то же время выражает субъективную оценку — отношение одного человека к другому. Субъективная оценка может выражаться специальными суффиксами; вообще следует заметить, что морфологические формы способствуют приобретению словом всех указанных выше оттенков выразительности.

Как и другие участники дискуссии, М. М. Орлов останавливается также на делении стилистики на аналитическую и функциональную, считая это деление противоречивым и неоправданным.

\*

В статье «Объект и содержание лингвистической стилистики» А. Я. Рожанский (Москва) пишет о разном в определении объекта лингвистической стилистики. Представление о стилистике, как о дисциплине, которой надлежит изучать «выразительную» сторону языка с точки зрения экспрессивно-эмоциональной окраски, приводит к ограниченному, даже неверному положению о том, что в языке якобы имеются и «невыразительные», и «маловыразительные», «нейтральные» средства. А поскольку «выразительные» средства обнаруживаются в очень небольшом количестве и обычно только в лексике, то объект лингвистической стилистики оказывается чрезвычайно ограниченным.

Сторонники разделения лексики на «выразительную» и «невыразительную», «нейтральную» считают стилистическими показателями слова приподнятость, торжественность, иронию, грубость и т. п. Но ведь все эти оттенки осознаются как противопоставления к наименованию предмета в его, так сказать, чистом виде. И этот «чистый вид» несет в себе определенную стилистическую характеристику: «Предметно-логическое значение каждого слова окружено особой экспрессивной атмосферой, колеблющейся в зависимости от контекста»<sup>8</sup>.

Каждое высказывание соотносено с определенным стилем. Однако эта соотношенность не исключает некоторой, хотя и весьма общей, стилистической окраски слов вне речи; эта окраска уточняется, конкретизируется, когда слово попадает в высказывание определенного стиля. Полная стилистическая характеристика слова создается взаимодействием стилистической окраски его вне речи и назначения его в контексте. Стилистическая окраска каждого высказывания носит отпечаток индиви-

<sup>8</sup> В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 19.

дуального стиля говорящего. Но индивидуальное входит в общественное, регулируется нормами общенародного языка.

Невозможность выделить «выразительное» и противопоставить его «нейтральному» относится и к области грамматических средств. Выразительны все грамматические средства, если они используются с учетом характера высказывания, стиля данной речи. Так же, как из словаря должно быть отобрано единственное для данного высказывания слово, так и грамматическое средство должно быть единственным для данного высказывания. Именно такое требование предъявлял Л. Н. Толстой: находить единственно нужное размещение единственно нужных слов («Что такое искусство?», гл. XII).

Стилистическая характеристика высказывания должна включить и фонетические стилистические особенности, которые прежде всего определяются соотносительностью с основными двумя фонетическими стилями — полным и разговорным, имеющими значительное количество вариантов. Но стилистическая фонетическая характеристика включает и движение интонации, и ритмичность, и ряд других фонетических особенностей, в совокупности образующих фонетическую стилистическую характеристику высказывания.

Итак, стилистическая характеристика выступает как синтез лексических, грамматических и фонетических показателей; стиль речи — это характер высказывания с точки зрения целевой его установки и с точки зрения наличия в нем определенной совокупности лексических, грамматических, фонетических средств; язык как средство общения и обмена мыслями реализуется, проявляется в речи определенного стиля.

Как и другие авторы, А. Я. Рожданский возражает против тезиса о том, что не существует стилей языка «как особых сфер, типов, систем». Отсутствие изолированности каждого стиля речи, наличие связующих и перекрещивающихся линий между ними еще не дает оснований вообще отрицать существование стилей.

Распределение всех языковых средств по изолированным стилям означало бы мертвящий схематизм, игнорирование системности языка: ведь системность языка означает взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов. Поэтому незакрепленность за каждым стилем всех функционирующих в нем языковых средств отнюдь не снимает понятия стиля речи. Если не все языковые средства наделены специфическими стилистическими показателями, то о некоторых лексических элементах, конструкциях, фонетических особенностях, присущих тем или иным стилям, говорить можно. Нельзя утверждать, что любые языковые средства могут быть использованы в речи любого стиля. Многие лексические элементы, некоторые синтаксические конструкции, фонетические, интонационные особенности, присущие стилю бытовой речи, воспринимались бы в речи других стилей, например, научного или делового, как инородное тело. Характерные признаки языковых средств стиля научной речи не нарушаются тем, что некоторые образцы научной речи по отдельным показателям приближаются к разговорно-бытовой речи: стиль научной речи может быть представлен во многих своих разновидностях, не совпадающих, однако, по совокупности показателей с разновидностями других стилей речи.

А. Я. Рожданский высказывает также мысль о том, что стили речи должны быть раскрыты не только на языковом материале, но и на материале смежных областей, например, логики.

Заключение дискуссии по вопросам стилистики предполагается в № 1 журнала за 1955 год.

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Р. И. АВАНЕСОВ

## О СЛОГОРАЗДЕЛЕ И СТРОЕНИИ СЛОГА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ\*

Вопрос о слогоразделе в русском языке не был еще предметом специального исследования, хотя его и касались в той или иной мере многие ученые, которыми был высказан ряд мнений, частью противоречивых, но в то же время — в особенности благодаря трудам А. А. Потебни, О. Брока и Л. В. Щербы, — заключающих в себе некоторое количество бесспорных положений. Мы не будем здесь анализировать эти мнения, выяснять, что в них правильно, а что спорно или даже ошибочно, но будем исходить из того, что уже добыто наукой. Критический анализ мог бы быть предметом специальной статьи.

В свое время в книге Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Очерк грамматики русского литературного языка», ч. I (М., 1945), была сделана попытка рассмотрения вопроса о слогоразделе и строении слога в русском языке<sup>1</sup>. Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы систематизировать, уточнить и дополнить сделанные ранее наблюдения, а также рассмотреть вопрос о слогоразделе и строении слога в русском языке в связи со структурой слова, его морфологическим членением.

Стоящие перед исследователем трудности определяются тем, что методами инструментального исследования еще не удалось получить существенных результатов в изучении слогоделения. Что же касается непосредственных наблюдений над своим или чужим произношением, то при их помощи не всегда оказывается возможным получить вполне достоверные данные, так как при наблюдении чисто фонетического членения речи, каковым является деление на слоги, очень трудно отрешиться от ассоциаций морфологических, вызванных морфологическим членением речи, и даже графических, связанных с правилами переноса. Вопрос усложняется еще тем, что структура слова, морфологическое членение речи не безразлично к слогоразделу: место слогораздела в некоторых случаях определяется наличием или отсутствием морфологического стыка, а при наличии такого стыка — его характером (стык предлога и следующего слова, приставки и корня, корня и суффикса). Известное значение для слогоделения имеет также стиль речи, в особенности отчетливое и беглое произношение.

Материал настоящей статьи добыт при помощи непосредственных наблюдений над своим и чужим произношением, а также при помощи эксперимента, заключающегося в своеобразном скандировании — в раздельном, с паузами между слогами, произношении по ритму, заданному на-

\* В основе настоящей статьи лежит раздел подготовленного автором к печати курса фонетики современного русского литературного языка.

<sup>1</sup> См. рецензию С. И. Бернштейна на названную книгу («Русский язык в школе», 1946, № 3—4).

блюдаемому лицу наблюдателем (например, при помощи метронома или ритмического хлопания в ладоши). Этот эксперимент оказался особенно показательным при наблюдениях над произношением детей — дошкольников и учеников первых классов начальной школы, у которых грамматические и орфографические ассоциации еще непрочны; но он дал ценный материал и при наблюдениях над речью взрослых, в особенности если наблюдаемые лица не имели отношения к теории и практике грамматики и орфографии (например, не были учителями-словесниками, специалистами по грамматике и орфографии).

Само собой разумеется, что все изложенные ниже наблюдения нуждаются в проверке методами инструментального исследования. Не менее очевидно и то, что эти наблюдения далеко не исчерпывают тему и требуют своего продолжения и углубления.

\*

Установлено, что в русском языке в большей части сочетаний согласных между гласными слогораздел проходит перед сочетанием, в связи с чем неконечный слог слова обычно бывает открытым. Однако между гласными бывают и такие сочетания согласных, при которых слогораздел проходит между согласными сочетания, делая, таким образом, неконечный слог закрытым.

Основной закон слогораздела в русском языке заключается в том, что неначальный слог в русском языке всегда строится по принципу восходящей звучности, начинаясь с наименее звучного. При этом конечный звук неконечного слога бывает звуком наибольшей звучности, т. е. слоговым, образуя открытый слог, или, находясь после слогового звука (обычно гласного), звуком меньшей звучности — сонорным, образуя закрытый слог, благодаря чему в обоих случаях получается так, что последующий слог имеет в своем начале восходящую звучность.

Как известно, звуки речи по их звучности образуют весьма сложную шкалу. Однако при изучении слогораздела в русском языке существенно различие лишь трех категорий: 1) гласных — звуков максимальной звучности; 2) сонорных согласных, включая в их состав [j] ([i]), который в русском языке разделяет признаки сонорных — звуков меньшей звучности по сравнению с гласными, с одной стороны, и большей звучности по сравнению с остальными согласными; 3) шумных согласных — звуков наименьшей звучности. Если обозначить коэффициент звучности первых цифрой 3, вторых — цифрой 2 и третьих — цифрой 1, то описанный выше основной закон слогораздела в русском языке можно представить следующим образом.

В сочетаниях типа 3 + 1 + 2 + 3... или 3 + 1 + 1 + 2 + 3... слогораздел проходит после гласного (после 3), где имеется реактивный спад звучности. Например: [пл/трón], [пú/дръ], [мл/гlá], [пá/кл'ъ], [кл/смáтъi], [л/кнó], [л/гн'á]; [пл/стрói], [шú/стръi], [с'и'э/стрá], [пл/здравл'у]. В сочетаниях типа 3 + 2 + 1 + 3... или 3 + 2 + 1 + 1 + 3... слогораздел проходит после сонорного перед шумным, так как именно в этом случае обеспечивается возрастающая звучность в начале следующего слога. Например, [лм/бáр], [кáр/тъ], [клн/цá], [дóл/гъ], [влi/нá], [тлл/пá], [хлл/стá], [влп'бр/стък], [длн/скói], [млр/скói]. В этом случае предыдущий слог оказывается закрытым, так как иначе последующий слог не имел бы восходящей звучности. Важно отметить, что во всех приведенных случаях последующий слог начинается с восходящей звучности (1 + 3...; 1 + 1 + 3...; 1 + 2 + 3...).



Звук [j] ([i]) в рассматриваемом отношении не отличается от других сонорных, т. е. после гласного перед согласным примыкает к предшествующему гласному, а после согласного перед гласным — к последующему гласному. Ср., например, [пл̩/д'ом] и [пл̩/д'ом], [вл̩/д'а] и [бл̩/д'ја], [бл̩/д'аркь] и [мл̩/д'яркь]. Ср. [т'ол̩/кь] и [с'т'ол̩/кь] (*телка* и *стекла*).

Таким образом, закрытые неконечные слоги в русском языке обычно образуются при сочетаниях согласных между гласными, из которых первый является более звучным сравнительно с последующими. Это имеет место при сочетании сонорных (в том числе [j] или [i]) с последующими шумными. Приведем несколько типичных примеров.

[б̩ом/бь], [д̩ам/бь], [л̩ам/пь], [п̩ом/пь], [тр̩ам/в̩а̩], [н'̩ым/фь]; [с̩ам/кь], [з̩ам/к̩а], [т̩ам/г̩а], [с̩ам/ц̩а], [п̩ам/ч'ал'ис'], [з̩ам/ш̩вь̩], [д̩ом/бр̩ь], [л̩ак̩ьм/ств̩ь];

[б̩ан/дь], [бл̩н'/д'йт], [к̩лн/т̩орь], [в'̩йн'/т'ик], [к̩лн/ц̩а], [к̩лн'/ч'ат'], [п̩рлн'/з'йт'], [р̩лм̩ан/сы], [б̩ан/кь], [т̩ан/к'и], [к̩лн/в̩а], [к̩лн'/ф'эть], [к̩ьн'/с'т'ит̩уцы̩ь];

[б̩лл/т̩ат'], [п̩лл'/т̩о], [к̩ьл/дл̩в̩ат'], [гл̩л/д'эт'], [к̩лл'/ц̩о], [п̩ьл'/ц̩а], [к̩лл/ч'ан], [п̩ол'/зь], [п̩ол'/зьт'], [б̩лл'/ш̩о̩], [х̩лл/с'т'йнь], [т̩лл/с'т'эт'], [п̩лл/с'т'й̩];

[г̩ор/дь], [л̩к̩ор/ды], [сп̩ор/ть], [к̩лр/з'йнь], [п̩лр/т̩ал], [к̩лр/с̩аш], [к̩ор/ж̩ык], [к̩ор/шун], [к̩ор/ч'ит], [л̩р/б̩а], [ск̩лр/б'эт'], [гл̩р/б̩ат̩ь], [к̩лр/п̩аты], [в'̩ор/сты], [ц̩ар/ств̩ь];

[п̩л̩/д̩у], [ч'̩а̩/кь], [т̩л̩/г̩а], [ст̩о̩/кь], [б̩л̩/ц̩а], [з̩а̩/цы], [з̩л̩/ч'он̩ьк], [ст̩о̩/т'ь], [ст̩о̩/б'иш'ь], [б̩л̩/д̩аркь], [м̩а̩/ск̩ь], [св̩л̩/ств̩о].

Если имеются большие отличия в месте образования между сонорным и следующим шумным согласным, то последующий слог может начинаться с размыкания затвора предыдущего сонорного согласного, образующего закрытый слог. Это более заметно между зубным или губным сонорным и заднеязычным согласным. Ср., например, такие случаи, как *танка*, *танго*, *жалко*, *самка*, которые могут произноситься как [т̩ан/кь], [т̩лн/г̩о], [ж̩ал/кь], [с̩ам/кь]. (Маленькая буква сонорного сверху перед буквой шумного согласного здесь указывает на размыкание.)

Следует обратить особое внимание на то, что предыдущий закрытый слог образуется и при сочетании [j] ([i]) с последующим сонорным: [п̩о̩/мь], [п̩л̩/м̩ат'], [к̩л̩/м̩а], [ст̩о̩/л̩ь], [п̩о̩/л̩ь], [к̩а̩/л̩ь], [вл̩/н̩а], [т̩а̩/н̩ь], [ч'̩а̩/н'ик]. Если верно, что при сочетании двух сонорных слогораздел чаще, видимо, проходит перед сочетанием, благодаря чему предыдущий слог является открытым (ср. [вл̩/л̩н̩а], [б̩л̩/л'н'йць], [уп̩о̩/р̩н̩ь], [к̩л/р̩м̩ан], [п̩о̩/мн'у], [с̩л/нл'йвь̩]), то из сопоставления слогоразделов типа [к̩л̩/м̩а], но [к̩л/р̩м̩ан] можно бы сделать вывод, что по степени звучности и сонорные неодинаковы: звук [i] более звучен, приближаясь к собственно гласным, т. е. слоговым. Это и понятно, если учесть, что [i] и является гласным, лишь функционирующим в роли согласного.

В одном случае описанные законы слогоделения в русском языке не выдерживаются по чисто фонетическим причинам. Речь идет о сочетании [рж] с последующим согласным между гласными. При наличии такого сочетания слогораздел проходит не после [р], как следовало бы ожидать, а после шипящего согласного перед следующим шумным. Ср. [з̩лд'эрш/кь], [ис-л̩рш/к̩а] (*из Горжжа*), [п'ьт'и'ербурш/кь], [п'ьт'и'ербурш/ск̩ь]. Это объясняется родственнымностью артикуляций

[р] и [ж] — [ш]<sup>2</sup>, в связи с чем образуется единая, как бы слитная артикуляция. Утративший голос звук [ж], находясь в одном слоге с предшествующим [р], может до известной степени воздействовать на [р] в сторону оглушения. С этим связано произношение [зл'д'ёрш/къ], [ист'лрш/кá] с частичной, а в индивидуальной речи при беглом произношении и полной утратой голоса согласным [р].

В описанном отношении утративший голос звук [ж] и этимологический звук [ш], видимо, не полностью отождествились. Об этом свидетельствует то, что в случаях типа *два вершка, горшков* возможно слогоделение не только [в'и'ёрш/кá], [гл'рш/кóф], но, видимо, также [в'и'ёр/шкá], [гл'р/шкóф].

\*

Остальные сочетания согласных между гласными, характеризующиеся одинаковой звучностью согласных или их возрастающей звучностью, обычно примыкают к следующему гласному, и, таким образом, неоконченный слог является открытым. Сюда относятся, например, такие сочетания: [тл/п'тáт'], [кл/п'кáн], [кл/г'дá], [п'á/ткъ], [тл/п'ч'у]; [л'л/б'зát'], [л'и/т'вá], [ц'ь/дз'л'д'ор'ил]; [к'б/ч'къ], [мá/ч'т'ь]; [пу/ст'óí], [з'в'и'е/здá], [м'б/шкъ], [с'м'и'е/хч'йт'], [рá/з'в'ь], [п'л'д'б/шв'ь]; [л'у'д'н'ь]; [л'л/б'мáн], [н'у/жн'ь], [п'л/ш'лá], [кá/др'ы], [п'и'е/к'лá]; [с'ьл'л/в'já], [бу/р'ján], [зв'и'е/р'j'ó], [тр'и'е/п'j'ó], [к'б/м'j'ь], [ру/ж'j'ó]; [л'л/д'ат'], [ни/к'л'м'у], [р'л/с'ád'ь], [р'л/ж'б'к], [вá/н'ь]<sup>3</sup>. Сочетания одинаковых сонорных: [э/м'ь] (*Эмма*), [á/н'ь] (*Анна*), [вá/н'ь], [дл'и/п'á], [гу/л'й'в'ь].

Обычно открытые слоги образуются, повидимому, и при сочетании различных сонорных между собой: [вл'л'нá], [бл'л'н'й'ц'ь], [кл'р'мá], [кл'р'мáн], [к'л'р'н'й'с], [д'б'р'н'ут'], [уп'б'р'н'ь], [д'б'м'р'ь], [п'б'м'н'у], [п'л'п'р'áв'ил'с'ь], [с'л'н'л'й'в'ь]. Однако при сочетании сонорных возможен слогораздел и между сонорными, так как он также обеспечивает возрастающую звучность неначального слога, а неоконченный слог, содержащий сонорный перед согласным, несколько не нарушает свойственных русскому языку типов слогов: [án/н'ь], [к'л'р/мá].

Открытые слоги образуются и при сочетании нескольких согласных между гласными, например [с'т'j], [стр], [здр], [ств], [скл], [згл]: [кр'и'е/с'т'ján'ь], [л'й'с'т'j'ь], [б'о/стр'ьí], [ш'у/стр'ьí], [п'л/зд'р'áв'ит'], [т'л/скл'й'в'ь], [в'и/згл'й'в'ь] и др. То же можно сказать о сочетании [ств], а также сочетаниях [здн], [стл] с тем, однако, отличием, что согласные этих сочетаний ([здн] и [стл] только в некоторых словах), оказываясь в одном слоге, утрачивают средний смычный элемент: [н'б'з'н'ь], [п'рá/з'н'ьí], [ч'é/сн'ьí], [ш'и'е/с'л'й'в'ьí].

При сочетании согласных, сильно отличающихся друг от друга по месту образования (в особенности при сочетании смычных или при сочетании согласных, в котором первый согласный является смычным или аффрикатой), в начале последующего слога при переходе от одного согласного к другому образуется слабая (при некоторых сочетаниях очень слабая) нефонематическая вокальная артикуляция типа [ъ]. Речь идет о произношении сочетаний согласных в таких словах, как *лапта, шапка, жуца, хлопчатый, мопса, такса, лобзать, экзамен* и др. Нефонематич-

<sup>2</sup> Ср. появление шипящего элемента при произношении мягкого [р] в чешском языке и изменение этого звука в [ж] или [ш] в польском.

<sup>3</sup> Перечень типов сочетаний согласных между гласными, примыкающих в отношении слогоделения к последующему гласному, а также соответствующий материал даны в книге Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Очерк грамматики русского литературного языка», ч. I (М., 1945, стр. 18—19).

ность этой артикуляции явствует, между прочим, из того, что наличие или отсутствие голоса у нее полностью обусловлено звонкостью или глухостью сочетания: между глухими она образуется без голоса, а между звонкими с участием голоса. Это принципиально отличает описываемую артикуляцию от гласных фонем, у которых наличие голоса является их конститутивным признаком, который может учраиваться только в определенных фонетических условиях и притом лишь факультативно (по преимуществу в беглой речи).

Нефонематичность этой артикуляции сказывается в том, что она короче любой «фонематической» редуцированной гласной и в противоположность последней в ритмическом отношении не занимает самостоятельной доли времени, присущей каждому слогу: ср. [пá/тʰкʰ] (*пáдка*, кратк. прил. жен. рода) и [пá/тʰкʰ].

Таким образом, в описываемых случаях произносятся: [л/пʰтá], [шá/пʰкʰ], [ку/пʰцá], [хл/пʰч'áты], [мó/пʰса], [тá/кʰсь], [жó/стʰкʰи], [л/бʰзáт'], [е/гʰзám'ьн] и т. д. Следует отметить, что указанные сочетания так же произносятся и в начале начальной слога, т. е. в словах типа *птица, пчела, пса, кто, Ксана, бдеть*: [пʰт'йцʰ] и т. д.

\*

С приведенным выше материалом практически вполне согласуется слоговое деление примеров из русского языка, данное Л. В. Щербой в его «Фонетике французского языка»: *ра-ззадорить, ра-ссориться, а-ктёр, фе-стон, се-кстант*<sup>4</sup>. Однако хотелось бы сделать несколько замечаний о теоретической стороне дела.

Л. В. Щерба теорию слогового деления строит на том, что каждый согласный может иметь три формы: а) сильноконечную, когда конец согласного сильнее его начала; б) сильноначальную, когда конец согласного слабее его начала (сильноконечными являются начальные согласные [с], [н] в основах *сон, нос*; сильноначальными — конечные [н], [с] в тех же словах); в) двухвершинную или удвоенную. По Л. В. Щербе, согласные этой последней категории в русском языке могут быть только на слогоразделе; поэтому [с] в [сóръ] и [з] в [рʰз'áдóр'ит'] не являются двухвершинными, а представляют собой лишь удлинённые сильноконечные согласные<sup>5</sup>.

Как уже было отмечено, эти наблюдения Л. В. Щербы нельзя отрицать. Однако можно сомневаться в том, что вопрос о слоговом делении здесь разрешается действительно на основании его существенного признака, так как наличие той или другой формы согласных является результатом характера слогового деления, его места, а не само определяет его. Другими словами, слогораздел в слове *оса* [л/сá] проходит перед [с] не потому, что в нем [с] — сильноконечное, а наоборот, [с] в нем — сильноконечное потому, что слогораздел проходит перед [с].

Следует отметить также, что материал не оправдывает мнения Л. В. Щербы о том, что в русском языке двухвершинной формы согласного «...внутри слов в полном стиле не существует...»<sup>6</sup>. Как будет показано ниже, в условиях определенных морфологических стыков (в особенности на стыке приставки и корня) и притом в наибольшей степени в том стиле произношения, который Л. В. Щерба называет полным,

<sup>4</sup> Л. В. Щерба, *Фонетика французского языка*, 2-е изд., Л., 1939, стр. 75—76.

<sup>5</sup> См. там же, стр. 75.

<sup>6</sup> См. там же.

встречается слогораздел в середине «двухвершинного согласного», находящегося перед согласным (в случаях типа *бессмертный*, *бессрочный*: [б'и'с'/с'м'эртн'ѣ], [б'и'с'/сроч'н'ѣ]).

\*

Описанные законы слогоделения, как это видно из материала, относятся к слоговому членению слова, а не более крупных отрезков звучащей речи. При этом на стыке морфем, в особенности приставки и корня, при некоторых сочетаниях согласных имеют место особенности, которые описаны ниже.

Что же касается сочетания знаменательных слов, то слогоделение в них обычно сохраняется такое, какое свойственно каждому входящему в его состав слову в отдельности. Ср. [г'л'д'у'к/уб'ѣл'и] (*гадюк убили*) и [г'л'д'у'ку/б'ѣл'и] (*гадюку били*). Это более заметно в тех случаях, когда в исходе первого слова находится звонкий согласный, оглушающийся на конце слова, т. е. в закрытом слоге: [п'л'д'р'угу/в'ѣл'ѣ] (*подругу вели*), [п'л'д'ру'к/ув'ѣл'ѣ] (*подруг увели*).

Такое слогоделение (при котором единственный согласный между гласными образует закрытый слог в конце предшествующего слова перед начальным гласным следующего слова), как правило, сохраняется не только в отчетливом произношении, но и в обычной разговорной речи. Лишь в очень беглой, неотчетливой речи («скороговорке») может быть иное слогоделение. Именно поэтому случаи типа *дай оду* и *да йоду* в произношении всегда различаются слогоразделом (и как следствие слогораздела — наличием [i] в конце слога после гласного и [j] в начале слога перед ударенным гласным: [д'а'j/б'ду], [д'а'/j'б'ду]). Точно так же сочетания слов *ста луж* и *стал уж* в произношении отличаются местом слогораздела (в таких случаях это различие является единственным): [ст'а/л'уж], [ст'а'л/у'ж]. Таким образом, отход согласного между гласными к предшествующему гласному является одним из показателей конца слова.

Само собой разумеется, что описанное слогоделение относится и к случаям, когда в исходе предшествующего слога имеется два согласных: [к'уст'/л'к'а'ци], [п'ус'т'/л'д'ѣн], а не [к'у'/ст'л'к'а'ци], [п'у'/с'т'л'д'ѣн].

Сказанное не позволяет в полной мере согласиться с мнением Л. В. Щербы о том, что при сочетании знаменательных слов, из которых первое кончается твердым согласным, а второе начинается с гласного [и], конечный согласный предшествующего слова в «неполном» стиле в отношении слогоделения примыкает к этому [и], в связи с чем на месте последнего произносится [ы]; в «полном» же стиле он примыкает к стоящему перед ним гласному, образуя закрытый слог, а в начале следующего слова произносится [и]<sup>7</sup>. Таким образом, оказывается, будто бы в обычной разговорной речи произносится [бр'а/ты'в'ан], в отличие от «полного» стиля, которому будто бы соответствует [бр'а'т'/ив'ан]. Однако наблюдения показывают, что и в отчетливой речи в начале слова после твердого согласного предшествующего слова нормально произносится [ы], если только отсутствует пауза между ними. Только при отдельности произношения, т. е. при наличии хотя бы минимальной паузы, начальное [и] безусловно сохраняется. Но отдельное произношение слов в реальной речевой практике в пределах синтагмы не встречается. С другой стороны, и в обычной речи слогораздел, как правило, проходит между знаменательными словами. В вопросах теории слогораздела на стыке знаменательных слов можно полностью согласиться с тем, что сказано

<sup>7</sup> См. «Грамматика русского языка», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 83—84.

об этом у Л. В. Щербы<sup>8</sup>. Однако нам кажется, что эта теория относится к обычной нормальной разговорной речи<sup>9</sup>, а не только к так называемому «полному» стилю и не требует особых оговорок и исключений для тех случаев, когда после твердого согласного предшествующего слога следует слово, начинающееся с [и]. Весьма характерно, что Л. В. Щерба не указывает для «неполного» стиля произношение [стб/лупал] (*стол упал*), но отмечает произношение [брá/тыв́ан], исходя, как нам кажется, из предвзятой идеи о том, что изменение [и] → [ы] на стыке слогов (в начале данного слога после конечного твердого согласного предшествующего слога) не должно бы иметь места<sup>10</sup>.

Имеются и некоторые другие данные, указывающие на предыдущий закрытый слог при сочетании слов, из которых первое кончается одним согласным, а второе начинается с гласного. Для современного русского литературного языка обычным и типичным является произношение [склáт-лрúжыѣ] (*склад оружия*), [гб́рът-ы́стръ] (*город Истра*) — с глухим согласным вместо звонкого на конце слова перед гласным следующего слова. Если бы в таких случаях слогораздел в «полном» стиле проходил между словами, а в «неполном» стиле — перед конечным согласным первого слова, то следовало бы ожидать произношения [склáт-лрúжыѣ], [гб́рът-ы́стръ] в первом случае и [склá/д-лружыѣ], [гб́ръ/д-ы́стръ] во втором. Но этого нет: конечный звонкий согласный предыдущего слова оглушается не только в абсолютном конце (перед паузой), но и перед гласным следующего слова при отсутствии паузы, причем одновременно на месте начального [и] произносится [ы]. А произношение [склáд-лрúжыѣ], [гб́род-ы́стръ] вообще отсутствует в русском литературном языке. Поэтому нормальным и типичным следует считать слогоделение, соответствующее членению речи на слова.

Имеется еще один, как нам кажется, веский аргумент в пользу высказанной точки зрения: сопоставление произношения мягкого согласного + гласный на стыке слов и в пределах одного слова. В случаях типа *глубь Азии, вдоль Азии, сквозь Азию, вдоль улицы, сквозь улицу* начальный гласный второго слова оказывается не таким по качеству, как в слоге, начинающемся с мягкого согласного: [глúп'-áз'и], [вдóл'-áз'и]; [сквóс'-áз'иу] — ср. [б'áз'и], [в'áз'ьмскы], [л'áм'ин] (фамилия), [с'áд'ьт]; [вдóл'-úл'ицы], [сквóс'-úл'ицу] — ср. [л'úл'ьк], [в'ис'úл'ьк].

Еще более ярко это наблюдение можно провести на случаях, когда второе слово начинается с безударного гласного неверхнего подъема. Случаи типа *князь Олег, царь Абгар, вдоль Оки* произносятся с гласным [ʌ] в начале второго слова, в то время как после мягкого согласного того же слова единственным гласным неверхнего подъема выступает [и<sup>е</sup>]: ср. [кн'áс'-ʌл'эк], [цáр'-ʌбгáр], [вдóл'-ʌк'й] (так же, как в абсолютном начале: [ʌл'эк], [ʌбгáр], [ʌк'й]), но [ф-с'и<sup>е</sup>л'э], [р'и<sup>е</sup>бб́], [г'ил'и<sup>е</sup>к'й].

Можно считать, что отмеченная особенность произношения начальных гласных слова сравнительно с произношением неначальных гласных, следующих за мягким согласным того же слова, является фонетическим показателем начала слова и свидетельствует о слогоделении, соответствующем членению речи на слова.

Сочетание предлога со следующим за ним словом занимает как бы промежуточное положение между сочетанием знаменательных слов и со-

<sup>8</sup> См. «Грамматика русского языка», т. I, стр. 73—74.

<sup>9</sup> За исключением некоторых особых случаев (модальных слов, идиоматических выражений, случаев с утратой ударения одним из слов сочетания и пр.).

<sup>10</sup> Возможность указанного Л. В. Щербой слогоделения в сочетании *брат Иван* может объясняться тесным синтаксическим объединением этого сочетания и ослаблением в связи с этим первого ударения.

четанием приставки с корнем в пределах одного слова, больше приближаясь к последнему (ср. созвучность многих предлогов и приставок, например: *из, без, от, под* и др., и случаи типа *без платы* и *бесплатный, от имени* и *отыменный* и др.). Эта промежуточность объясняется самым характером предлогов как грамматического разряда слов: они имеют определенные грамматические функции и в то же время обладают определенным, во многих случаях весьма ярким лексическим значением. Первое сближает их с формальными элементами слова, а второе — с знаменательными словами.

Во всяком случае, обычно сочетания с предлогами в отношении слогоделения произносятся так, как если бы они представляли одно слово: [п'э/д-лс'йнъ], [б'и<sup>е</sup>/з-лтцá], [и/з-бз'ьр'], [п'ьр'ь/д-лкнóм]. Лишь при очень тщательном и отчетливом произношении встречается слогоделение, свойственное сочетанию знаменательных слов, т. е. отход конечного согласного предлога к предшествующему гласному и образование, таким образом, закрытого слога: [б'ез/лтцá], [п'ер'ед/лкнóм].

Иначе может обстоять дело при сочетаниях с двусложными и многосложными предлогами, обладающими своим словесным ударением (чаще слабым, так называемым побочным ударением). В этих случаях предлог как бы уподобляется знаменательному слову: слогораздел обычно не делит предлога между разными слогами, и конечный согласный предлога примыкает к предыдущему гласному, образуя закрытый слог: ср. [нлпрòт'иф'/ул'ицы], [нп'ьр'и'екòр'/и'емý], [п'п'и'р'òк'/р'и'ек'й].

Некоторые двусложные предлоги допускают произношение как с побочным ударением, так и безударное, например: *вокруг, перед, через*. В зависимости от этого слогораздел в сочетаниях с такими предлогами бывает то такой, как в сочетаниях знаменательных слов, то такой, как в сочетаниях безударного предлога со следующим словом. Ср. обычное [ч'ьр'ь/з-н'ид'эл'у], [п'ьр'ь/д-рлд'йт'ьл'ьм'и] и просторечное [ч'ьр'ьс'/п'ид'бл'у], [п'ерьт'/рд'йт'ьл'ьм'и]. Двойное произношение допускает также предлог *вокруг*: при обычном [влкрук'/лс'ины] встречается также [влкру/г-лс'ины].

Односложные предлоги *сквозь, вдоль* всегда имеют побочное ударение и потому всегда образуют закрытый слог: [сквòс'/йн'ь], [вдòл'/лк'й] (*вдоль Оки*).

В пределах слова, а также безударного предлога (или предлога, не образующего слога) и следующего слова в русском языке могут быть весьма многообразные сочетания. Однако при всем их многообразии имеются и определенные ограничения. Некоторые из таких ограничений вполне допускают их формулирование как определенных законов. Один из этих законов гласит, что больше двух одинаковых согласных рядом в русском языке произносятся не могут. При этом два одинаковых согласных в пределах одного слога могут произноситься только перед гласными. Ср. [слд'йт'], [зд'и], [йот] (*ввод*). При сочетании слова, имеющего в начале двойное [с] или [н], с предшествующим предлогом с или в произносятся не «тройное» [с] и [н], а лишь двойной согласный (т. е. то самое, что имелось в начале соответствующего слова без предлога): ср. примеры *судой* и *в судой, введение* и *в введение*, которые в разбираемом отношении произносятся одинаково: [суд'й], [в'п'ед'ён'и'ь]<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Впрочем при сочетании предлога с или в со словом, имеющим в начале двойное [с] или [н], предлоги эти обычно принимают форму *со, во*: ср. *со судой, во введении*.

Другой закон гласит: два одинаковых согласных перед третьим (другим) согласным в русском языке в пределах одного слога быть не могут. Поэтому при сочетании предлога *с* или *в* со следующим словом, начинающимся двумя согласными, из которых первым является [с] или [в], произносится не двойной согласный, а обычный нормальный «краткий» согласный. Ср. примеры *словом* и *с словом*, *снегом* и *с снегом*, *влагу* и *в влагу*, *врага* и *в врага*, которые обычно произносятся одинаково: [слб'ѡѡм], [сн'ѣгѡм], [влáгу], [врл'гá]<sup>12</sup>.

Между гласными сочетание двух одинаковых согласных перед третьим (другим) согласным произносится двойко; обычно оно сохраняется, тогда первый из одинаковых согласных примыкает к предыдущему гласному, образуя закрытый слог, а второй начинает собой следующий слог; но оно может также упроститься (на месте двух одинаковых согласных может произноситься один), тогда все сочетание согласных отходит к следующему гласному, так что предыдущий слог является открытым. То или иное произношение связано со структурой слова, его морфологическим составом, а также с характером произношения — отчетливым или беглым.

Имеет значение характер морфологического стыка (например, стык предлога и следующего слова, приставки и корня, корня и суффикса): упрощение согласных и предыдущий открытый слог чаще наблюдаются на стыке корня и суффикса. Вообще более четкое структурное членение слова, более яркое выделение значения отдельных морфем служебного значения (приставок, суффиксов), принадлежность слова книжному языку, а также отчетливое произношение связаны с сохранением одинаковых согласных в сочетании и наличием предыдущего закрытого слога; напротив, недостаточное выделение значения отдельных морфем, принадлежность слова к просторечию и беглое произношение чаще характеризуются упрощением группы согласных и предыдущим открытым слогом.

В соответствии с описанным выше законом русского слогоделения случаи типа *и скота* и *из kota*, а также *и скита* и *из кита* произносятся одинаково: [и/скл'тá], [и/ск'итá]. В очень отчетливой речи случаи с предлогом *из* могут, видимо, произноситься с закрытым слогом, как [ис/кл'тá], [ис/к'итá]. Однако случаи типа *из скота*, *из скита*, в силу невозможности сохранения двойного [с] перед согласным в начале одного слога и в то же время в силу невозможности упростить его ввиду четкости и яркости выделения предлога, произносятся с закрытым слогом: [ис/скл'тá], [ис/ск'итá]. Случаи типа *без тройки*, *без проса* произносятся по общему правилу: [б'и'е/стрб'ѡк'и], [б'и'е/спрб'сѡ]. Однако случаи типа *без стройки*, *без проса*, в силу невозможности сохранить двойное [с] перед сочетанием согласных в пределах одного слога и в силу невозможности его упрощения ввиду яркого выделения предлога, произносятся нормально с закрытым слогом: [б'и'е'с/стрб'ѡк'и], [б'и'е'с/спрб'сѡ]. Так же произносятся случаи типа *под троном*, *под твоим* (с закрытым слогом, кончающимся смыканием, и следующим слогом, начинающимся с размыкания): [пá' / трб'ѡѡм], [пѡ' / тв'ѡѡм]. Ср. *патроном*, *по твоим*: [пá / трб'ѡѡм], [пѡ' / тв'ѡѡм].

Закрытые слоги произносятся на стыке предлога и следующего слова, а также обычно на стыке приставки и корня при наличии следующих сочетаний:

<sup>12</sup> Впрочем и в этих случаях предлоги *с* и *в* обычно принимают форму *со* и *во*. Вопрос об употреблении различных форм предлогов *с* — *со*, *в* — *во* (а также других) в связи с характером начала следующего слова выходит за пределы настоящей статьи и нуждается в специальном исследовании как в плане установления современной литературной нормы, так и в плане исторического развития.

- [зв]: [б'иэз/звонъ], [из/звукъ], [б'иэз'/з'в'ост]; [влз/зван'иѣ], [влз/звѣт'], [рѣз/звѣн'ит'], [рлз/зван'ивѣт'], [б'иэз/звуч'иѣ];  
 [ззи]: [б'иэз/знакъ], [из/зноѣ]; [рѣз/знакомилсъ];  
 [ззр]: [из/зрлч'ка], [б'иэз/зр'ен'иѣ]; [влз/зр'илсъ];  
 [св]: [б'иэс'/с'в'ѣтъ], [ис/свѣиво]; [б'иэс'/с'в'азнѣ], [ис'/с'в'иерл'ит'];  
 [сл]: [б'иэс/слѣф], [ис'/с'л'уны]; [б'иэс/славнѣ], [б'иэс/сл'ѣднѣ],  
 [б'иэс/слав'еснѣ], [ис'/с'л'ѣдвѣт'], [ис'/с'л'ун'ав'ит'], [влс/слав'ит'],  
 [рлс/с'л'ѣдвѣт'], [рлс/слабл'ѣнѣ], [рлс/слѣш'ѣт'], [рлс/слав'ит'],  
 [рѣс/сла'жен'иѣ];  
 [см]: [ис/смалы], [б'иэс'/с'м'эхъ]; [рлс/смѣтр'ивѣт'], [рѣс/с'м'иэшыл],  
 [рѣс/с'м'иэ'жалсъ], [б'иэс'/с'м'ертнѣ], [б'иэс/смѣсл'ицъ];  
 [сн]: [ч'ър'иэс/с'н'ѣк], [ис'/с'н'ѣгъ]; [б'иэс'/с'н'ѣжнѣ];  
 [сш]: [ис'/с'п'ѣлвѣ], [б'иэс/спѣръ], [б'иэс/спѣрнѣ];  
 [ср]: [ис/ср'ѣцтф], [б'иэс/ср'ѣцтф]; [рлс/срѣч'ит'], [рѣс/ср'иэдлѣч'ит'],  
 [б'иэс/срѣч'нѣ];  
 [ст]: [ис/стлканъ], [б'иэс/стыдѣ], [ч'ър'иэс/стѣк], [б'иэс/стыцтвѣ],  
 [б'иэс/стыднѣ], [ис'/с'т'иэгѣт'];  
 [шшв]: [рѣш/швыр'ѣт'], [б'иэш/швѣ];  
 [шши]: [рѣш/шнурлвѣт'], [иш/шныр'ѣт'].

Сочетание [с] со следующим [ $\bar{ш}$ ] (орфографически *сш* или *сщ*) обычно упрощается и произносится как [ $\bar{ш}$ ] с предыдущим открытым слогом: [б'иэ/ $\bar{ш}$ 'ѣтнѣ], [рл/ $\bar{ш}$ 'ѣл'инѣ], [рл/ $\bar{ш}$ 'ѣлкѣт'], [рѣ/ $\bar{ш}$ 'иэпл'ѣн'иѣ], [рѣ/ $\bar{ш}$ 'и'тѣт']. При наличии на месте долгого мягкого шипящего [ $\bar{ш}$ ]—[ш'ч'] в беглом произношении находим то же слоговое деление: [б'иэ/ $\bar{ш}$ 'ѣтнѣ], [рѣ/ $\bar{ш}$ 'ѣл'инѣ] и т. д. В отчетливой речи при этом сочетании может произноситься предыдущий закрытый слог, кончающийся звуком [ш'], и следующий слог, начинающийся с [ш'ч']: [рлш'/ш'ч'ѣдр'илсъ], [иш'/ш'ч'ипѣт'], [плш'/ш'ч'ѣлкѣт']. Такое слоговое деление наблюдается и при очень отчетливом произношении с долгим мягким шипящим (без взрывного элемента): [рлш'/ш'ѣдрилсъ], [иш'/ш'ипѣт'], [б'иэш'/ $\bar{ш}$ 'ѣтнѣ]. Впрочем при наличии [ш'] в исходе предыдущего слога долгота [ш'] в следующем слоге может сохраняться. Однако она обычно легко утрачивается и все сочетание отходит к следующему слогу. Это связано с тем, что три одинаковых согласных (хотя [ш'] и является далее нечленимой отдельной фонемой, но по времени, которое требуется для его произношения, оно не отличается от двух одинаковых рядом стоящих согласных) в русском языке не могут произноситься. Ср. [сѣр'итнѣ] и [рлсѣр'итцѣ] (*рас + ссорится*); [судѣ] и [б'иэсудѣ] (*суда и без суда*).

В некоторых случаях слова с разобранными выше сочетаниями произносятся иначе: одинаковые согласные, начинающие собою сочетание, упрощаются, и последнее отходит к следующему гласному, делая предыдущий слог открытым. Это имеет место обычно в тех случаях, когда морфологическое членение слова оказывается не вполне ощутимым, недостаточно ярким, а также когда слово является особенно употребительным или просторечным. Например: [вл/стѣн'иѣ], [вѣ/стѣнлв'ѣн'иѣ], [рѣ/с'т'иэгѣт'], [рл/стѣгвѣт'], [рѣ/стлвѣтцѣ], [рл/стѣлсъ], [рѣ/стѣнѣфкѣ], [рѣ/стѣл'ан'иѣ], [рѣ/ст'иел'ит'] (*расстелить*), [рѣ/ст'илѣт'], [б'иэ/стѣжѣ], [б'иэ/стѣдн'иѣ], [и/стѣнл'ѣн'иѣ].

Двойной согласный обычно упрощается перед двумя согласными, причем все сочетание согласных отходит к следующему гласному, благодаря чему предыдущий слог оказывается открытым: [рл/стрѣбѣтѣ], [рл/стрѣнлвѣт'], [рѣ/стр'ил'ѣт'], [рл/стр'ѣл'ивѣт'], [рѣ/спрлс'ит'], [рл/спрлш'ѣт'], [рл/спрѣс]. В случаях с особенно ярко выделяемой приставкой первый согласный (на месте упрощившегося двойного согласного), видимо, может отходить к предыдущему гласному, образуя закрытый слог: [б'иэ/трѣнѣ].



[б'и<sup>е</sup>/тру<sup>н</sup>ьї]. Лишь в очень отчетливой речи перед двумя согласными сохраняется два одинаковых согласных, из которых первый отходит к предыдущему гласному, образуя закрытый слог: [б'и<sup>е</sup>/страс<sup>н</sup>ьї], [б'и<sup>е</sup>/стру<sup>н</sup>ьї].

Сказанным объясняются возможные различия в произношении одного и того же сочетания согласных и в слогоделении таких случаев, как *бесстыжий* и *бесстыдный*: [б'и<sup>е</sup>/стыж<sup>н</sup>ьї], но [б'и<sup>е</sup>/стыд<sup>н</sup>ьї].

\*

Предшествующий закрытый слог с слогоразделом между одинаковыми согласными, начинающими собою сочетание, вообще реже встречается на стыке корня и суффикса.

В ряде случаев лишь этимология слова и отражающая ее орфография свидетельствуют о наличии в прошлом двух одинаковых согласных. Ср., например, *искусство*, *искусственный*, которые произносятся: [иску<sup>с</sup>/ств<sup>ь</sup>], [иску<sup>с</sup>/с'т'в'ьн<sup>ь</sup>ї]. Однако во многих других случаях и из существующих соотношений между разными морфологическими образованиями ясно наличие двойного согласного, хотя последний и не всегда произносится. Ср. [ру<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [франц<sup>у</sup>/ск<sup>н</sup>ьї] при *Русь*, *француз*. Не трудно заметить, что там, где требуется, чтобы звуковой облик непроемкой основы сохранился по возможности без изменений, слогораздел проходит между одинаковыми согласными, делая предшествующий слог закрытым. Ср [ру<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї] («принадлежащий к русской нации») и [ру<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї] (от «Руза», «относящийся к Рузе»).

Это последнее произношение отмечается чаще всего тогда, когда непроемкая основа является иноязычной или когда слово не относится к числу общеупотребительных. Ср. [п'ел'епон<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [л'езб<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [лидл<sup>у</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [этру<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [зулу<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [с'ирл<sup>у</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [с'ил'эс/ск<sup>н</sup>ьї], [клиз<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [илри<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [пру<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [хл<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [эск'им<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [инду<sup>с</sup>/ск<sup>н</sup>ьї].

Однако в некоторых случаях такое произношение отмечено и в словах общеупотребительных: [мл<sup>т</sup>р<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [лр<sup>э</sup>л<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [ч'и<sup>е</sup>рк<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [пл<sup>э</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [м'и<sup>у</sup>/ск<sup>н</sup>ьї], [л<sup>д</sup>'эс/ск<sup>н</sup>ьї], [к<sup>л</sup>ф<sup>к</sup>эс/ск<sup>н</sup>ьї], [эл'эс/ск<sup>н</sup>ьї].

Предшествующий закрытый слог с слогоразделом между одинаковыми согласными образуется на стыке с суффиксом в сочетании [стк] между гласными при утрате в связи с ослаблением звука [т] между двумя [с]: [мл<sup>рк</sup>'йс/ск<sup>н</sup>ьї], [п<sup>р</sup>ц<sup>ь</sup>гл<sup>н</sup>'д'йс/ск<sup>н</sup>ьї], [м<sup>ь</sup>к'имл'йс/ск<sup>н</sup>ьї].

В ряде случаев упрощение группы согласных между гласными или ее сохранение определяется местом слогораздела, неодинаковым в разных стилях речи. Так, например, сочетание [тн], [дн] произносится в начале слога, но не произносится после согласного того же слога. Ср [п<sup>б</sup>/тн<sup>ь</sup>ї], но [п<sup>б</sup>/сн<sup>ь</sup>ї] из *постный*, [п<sup>л</sup>р<sup>а</sup>/дн<sup>ь</sup>ї], но [п<sup>р</sup>а/зн<sup>ь</sup>ї] из *праздний*. Поэтому при склонности русского языка к открытым слогам и слогоразделе после гласного сочетания [стн], [здн] упрощаются в [сн], [зн]: [ч'э/сн<sup>ь</sup>ї], [м'э/сн<sup>ь</sup>ї], [из'в'э/сн<sup>ь</sup>ї]; [п<sup>б</sup>/зн<sup>ь</sup>ї], [п<sup>р</sup>а/з'н'ик] и т. д. В случаях необходимости сохранения сочетания [здн] (например, в книжных стилях речи, при определенных морфологических стыках) слогораздел проходит после первого согласного сочетания: [б'эз/дн<sup>ь</sup>ї], [б'и<sup>э</sup>/дн<sup>ь</sup>ї].

Возможно, что так же обстоит дело с сочетанием [стл']: [ш'и<sup>е</sup>/с'л'йв<sup>ь</sup>ї], но [хвас'/т'л'йв<sup>ь</sup>ї], [к<sup>л</sup>с'/т'л'йв<sup>ь</sup>ї].

Следует отметить, что в начале начального слога после согласного предыдущего слога перед гласным не произносится аффриката с долгим затвором. Ср. [с'йт'ьц] — [с'й/тц<sup>ь</sup>], но [гл<sup>л</sup>ан'д'ьц] — [гл<sup>л</sup>ан/ц<sup>ь</sup>], а также [фл<sup>л</sup>ман/цы], [исл<sup>л</sup>ан/цы], [н<sup>л</sup>рман/цы], [ирл<sup>л</sup>ан/цы], [гр'енл<sup>л</sup>ан/цы].

В сочетании долгого мягкого глухого шипящего ([ш̄']) с последующим [н] лишь при очень отчетливом произношении слогораздел проходит в середине [ш̄'], а обычно — перед сочетанием, так что предыдущий слог оказывается открытым. Однако в силу того, что два одинаковых согласных перед третьим (другим) согласным в одном слоге не могут произноситься (а долгий шипящий, хотя и являющийся нечленимой фонемой, по времени, необходимому для его произношения, как это было уже отмечено, не отличается от сочетания из двух согласных), сочетание упрощается. Ср. в отчетливом произношении [мóш'/ш'н̄ѣ], [х'йш'/ш'н̄ѣ], [с'уш'/ш'н̄ѣ'т'] при [мó/ш'н̄ѣ], [х'й/ш'н̄ѣ], [с'у/ш'н̄ѣ'т'] в обычном произношении. В связи с сокращением [ш̄'] — утратой долготы — находится отверждение [ш'], часто наблюдаемое, хотя и отвергаемое орфоэпической нормой (ср. [мó/шн̄ѣ], [х'й/шн̄ѣ], [с'у/шн̄ѣ'т']).

Сочетание [ш̄'] с последующим [р'] произносится двояко: долгота шипящего может сохраняться, и тогда слогораздел проходит в середине шипящего, в связи с чем предыдущий слог является закрытым; однако слогораздел может проходить и перед сочетанием, образуя предшествующий открытый слог. В этом последнем случае имеется тенденция к утрате долготы мягкого шипящего: ср. [из'ш'/ш'р'óн̄ѣ], [ис'п'и'еш'/ш'р'óн̄ѣ], [ух'иш'/ш'р'én'иѣ] и [из'ш̄'/р'óн̄ѣ], [ис'п'и'е'/ш̄'/р'óн̄ѣ], [ух'и/ш̄'/р'én'иѣ], [п'л'ш̄'/р'át'].

Сочетание звонкого согласного [ж'] с следующим согласным известно едва ли не в единственном слове — *дождливый*. Долгота мягкого шипящего в нем сохраняется, и слогораздел проходит в середине его: [дл'ж'/ж'л'йв̄ѣ].

До сих пор речь шла о начале нена начального слога. Закон возрастающей звучности начала нена начального слога полностью определяет его строение. Что же касается конца неконечного слога, то и он определяется только что названным законом: слогораздел проходит там, где достигается положение, при котором начало нена начального слога строится по принципу возрастающей звучности. В связи со сказанным неконечный слог может кончатся гласным (например, [в'л/дá], [с'л/снá]), сонорным (например, [вóл/гъ], [кár/тъ], [бóm/бъ], [в'л/нá]), а также другим согласным (по преимуществу [с] и [з]) в описанных выше фонетико-морфологических условиях (например, [б'и'с/слáвв̄ѣ], [б'и'з/злбб̄ѣ]).

\*

Более сложно обстоит дело с началом начального слога и концом неконечного.

Начало начального слога, как и нена начального, чаще всего строится по принципу возрастающей звучности. Ср. [п'л'кá], [дугá], [сн'л'хá], [пл'л'хá], [стр'л'нá], [ствóл] и т. д. Именно это дало основание в свое время М. В. Ломоносову сделать чрезвычайно тонкое, хотя и не оправданное полностью фактами наблюдение, согласно которому начало нена начального слога (по терминологии М. В. Ломоносова, «склада») образуется теми сочетаниями согласных с последующим гласным, которые могут начинать собою слово. Свое наблюдение Ломоносов подтвердил примерами: *у-жа-сный, чу-дный, дря-хлый, то-пчу*, указывая, что сочетаниями согласных *сн, дн, хл, пч* начинаются слова *снег, дно, хлеб, пчела*<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> См. М. В. Ломоносов, *Российская грамматика*, § 106 (Полное собр. соч., т. VII, М.—Л., 1952, стр. 428).

Слогоделение Ломоносова абсолютно правильно. Но выведенный им закон не охватывает всех фактов. Имеются сочетания согласных, которые могут начинать собою неначальный слог, но отсутствуют в начале слова, например [ $\wedge/\widehat{\text{бм}}\text{ан}$ ], [ $\text{хл}\acute{\text{е}}/\text{пц}\acute{\text{ь}}$ ]: слов, начинающихся с сочетания [ $\widehat{\text{бм}}$ ] или [ $\text{пц}$ ], в русском языке нет. Более важное, принципиальное значение имеет другое отличие начального слога от неначального: начало начального слога в противоположность началу неначального слога может строиться не только по принципу восходящей звучности ( $1 + 3$ ,  $1 + 1 + 3$ ,  $1 + 1 + 3$ ,  $2 + 3$  и т. д.): [ $\text{сам}$ ], [ $\text{сток}$ ], [ $\text{стр}\acute{\text{л}}\acute{\text{к}}\acute{\text{а}}$ ], [ $\text{мак}$ ]. Оно может иметь также нисходяще-восходящую звучность, т.е. иметь сочетание сонорный + шумный + гласный ( $2 + 1 + 3$ ): [ $\text{рта}$ ], [ $\text{ртут}'$ ], [ $\text{ржот}'$ ], [ $\text{ржы}^{\text{н}}\text{о}\acute{\text{и}}$ ], [ $\text{рж}\acute{\text{а}}\text{в}\acute{\text{ь}}\acute{\text{и}}$ ], [ $\text{рд}'\text{ет}'$ ], [ $\text{лгу}$ ], [ $\text{лба}$ ], [ $\text{л}'\text{г}\acute{\text{о}}\text{т}\acute{\text{ь}}$ ], [ $\text{л}'\text{на}$ ], [ $\text{мга}$ ] (*Мга*), [ $\text{мха}$ ], [ $\text{мш}\acute{\text{ь}}\text{ь}\text{ст}\acute{\text{ь}}$ ], [ $\text{мста}$ ] (*Мста*), [ $\text{мценск}$ ] (*Мценск*) и т. д. Повышенная звучность перед минимальной (шумным согласным) создает условия для появления побочной слоговости, которая обычно и имеет место: [ $\text{рта}$ ], [ $\text{рд}'\text{ет}'$ ], [ $\text{лба}$ ]. Побочная слоговость в начале начального слога в ее отношении к нормальному слогу аналогична, если употребить музыкальную терминологию, форшлагу в его отношении к звукам, занимающим ту или иную часть такта: §<sup>14</sup>. В диалектах побочная слоговость нередко имеет дальнейшее развитие: перед сонорным выделяется гласный элемент; ср. [ $\text{арж}\acute{\text{ь}}$ ], [ $\text{прж}\acute{\text{а}}\text{т}'$ ], [ $\text{ал}'\text{н}'\text{ан}\acute{\text{о}}\acute{\text{и}}$ ], [ $\text{амч}\acute{\text{е}}\text{нск}$ ] (*Мценск*), [ $\text{амш}\acute{\text{а}}\text{н}\text{ик}$ ] и др. (так образовалось, как известно, название города Орша; ср. др.-рус. *Рѣша* → *Рша*). Перед глухим сонорный теряет полностью или частично голос: ср. [ $\text{рта}$ ], [ $\text{мха}$ ].

Конец конечного слога также весьма многообразен. Конечный слог может кончаться на максимуме звучности — гласном ([ $\text{лн}\acute{\text{а}}$ ], [ $\text{млгу}$ ]) или на нисходящей звучности — согласном или сочетании согласных ([ $\text{млрбс}$ ], [ $\text{плрбм}$ ], [ $\text{пмлбст}$ ], [ $\text{лзарт}$ ], [ $\text{с'п'ир}\acute{\text{а}}\text{нт}$ ]). Особое своеобразие конечного слога заключается в том, что он может кончаться на нисходяще-восходящей звучности ( $3 + 1 + 2$ ,  $3 + 1 + 1 + 2$  и др.): ср. [ $\text{быстр}$ ], [ $\text{шустр}$ ], [ $\text{м'ин'йстр}$ ], [ $\text{добр}$ ], [ $\text{мудр}$ ], [ $\text{в'епр}'$ ]; [ $\text{др'ахл}$ ], [ $\text{вобл}$ ] (род. падеж мн. числа), [ $\text{рубл}'$ ], [ $\text{вопл}'$ ]; [ $\text{драхм}$ ], [ $\text{лохм}$ ] (род. падеж мн. числа); [ $\text{слбл}\acute{\text{а}}\text{зи}$ ], [ $\text{п'ес'н}'$ ], [ $\text{каз'н}'$ ] и др. Повышенная звучность на конце слова после минимальной (шумного согласного) создает условия для появления побочной слоговости. Ср. обычное произношение: [ $\text{др'ахл}$ ], [ $\text{рубл}'$ ] (или [ $\text{руб}'\text{л}'$ ]), [ $\text{каз'н}'$ ] (или [ $\text{к}\acute{\text{а}}\text{з}'\text{н}'$ ]). Побочная слоговость в конце конечного слога в ее отношении к нормальному слогу аналогична нахшлагу в его отношении к звукам, занимающим определенную часть такта: §<sup>14</sup>.

В диалектах (и просторечии) побочная слоговость на конце слова может развиваться в нормальную слоговость путем выделения перед сонорным гласного элемента: [ $\text{руб}'\text{ьл}'$ ], [ $\text{каз}'\text{ьн}'$ ] (в оловнецких говорах), [ $\text{длб'бр}$ ]. То же в ряде слов можно отметить и для литературного языка: ср. [ $\text{х'ит'бр}$ ] (др.-рус. *хитръ*), [ $\text{блб'бр}$ ] (др.-рус. *бобръ*), [ $\text{пл'ес'ьн}'$ ] (др.-рус. *плѣсьнь*). Однако был и другой путь развития. После глухого сонорный мог утрачивать голос (ср. в литературном языке [ $\text{вопл}'$ ], [ $\text{м'ин'йстр}$ ]), а затем и полностью исчезнуть (так как безголосый сонорный обладает минимальной акустической выразительностью). Как известно, так в свое время образовались формы прошедшего времени на-л после согласных (кроме [т] и [д], еще раньше утратившихся

<sup>14</sup> Впрочем нахшлаг в музыке практически не употребляется, так как, находясь между двумя звуками, занимающими части такта, он стремится прижиться к следующему звуку и, таким образом, превращается в форшлаг.

перед [л]: [п'ос], [в'ос], [п'ок] и т. д. (ср. др.-рус. *несль, везль, пекль* и др.). Так же образовалось просторечное [руп'] или [руп], диалектное [доп] (вместо *добр*).

Таким образом, налицо тенденция к устранению тем или другим путем побочной слоговости, образующейся в связи с нисходяще-восходящей звучностью начала начального слога и конца конечного слога. Эта тенденция осуществлялась в разные периоды истории русского языка и в разных диалектах и в литературном языке не в одинаковой степени, не одинаковыми путями (развитием побочной слоговости в нормальный слог или ее утратой, а вместе с тем и утратой сонорного).

\*

Строение слога в русском языке чрезвычайно многообразно. Здесь нет необходимости и возможности описать все типы слогов русского языка. Однако в конечном счете различные типы слогов в русском языке определяются закономерностями начала нена начального слога, конца неконечного слога, начала начального слога и конца конечного слога. Типы срединных слогов определяются закономерностями начала нена начального слога и конца неконечного слога. Типы начальных слогов определяются закономерностями начала начального слога, конца конечного слога и конца неконечного слога (так как начальный слог может быть одновременно конечным или неконечным). Наконец, типы конечных слогов определяются закономерностями конца конечного слога, начала начального слога и начала нена начального слога (так как конечный слог одновременно может быть начальным или нена начальным).

Закон восходящей звучности есть основной закон строения слога в русском языке. Он находит свое полное осуществление в начале нена начального слога. Этим ограничиваются возможности закрытых неконечных слогов. Своеобразие начала нена начального слога и конца конечного слога заключается в возможности нисходяще-восходящей звучности. Однако имеется тенденция к устранению тем или иным путем исторически сложившихся случаев побочной слоговости в конце конечного слога и в начале начального, явившейся результатом нисходяще-восходящей звучности.

Более частными законами строения слога в русском языке являются невозможность произнесения более двух одинаковых согласных между гласными, а также невозможность произнесения двух одинаковых согласных перед третьим (другим) согласным в пределах одного слога.

Указанные закономерности строения слога в русском языке действуют не в однородной, инертной, гомогенной среде, а в слове, имеющем сложную структуру, и, шире, — в речи с определенной стилистической направленностью. Поэтому естественно, что закономерности строения слога сталкиваются со структурой слова и его стилистической окраской. Реальное слоговое деление при наличии некоторых более сложных сочетаний согласных между гласными и определяется одновременным действием всех этих сложных, многообразных, качественно различных факторов и представляет собой линию пересечения их, своеобразный компромисс между ними.

А. М. ФИНКЕЛЬ

О СОДЕРЖАНИИ И ПОСТРОЕНИИ КУРСА «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

Доказывать важность и необходимость для филологических факультетов новой дисциплины — истории языкознания — не приходится. Совершенно правильно сказано в редакционной статье журнала «Вопросы языкознания», что «студенты должны быть ознакомлены с процессом развития науки о языке от ее возникновения до ее современного состояния»<sup>1</sup>. Курс «История языкознания» должен быть отдельной, самостоятельной дисциплиной, со своей отдельной программой и своим учебным материалом.

Одним из наиболее важных, если не самым важным, является вопрос о характере данного курса. Редакционная статья намечает два варианта этого курса. Однако характер данной учебной дисциплины нельзя определять путем выбора только одного из этих вариантов: либо хронологическая последовательность в изложении материала, либо рассмотрение отдельных проблем в историческом развитии. Ни тот, ни другой принцип в настоящее время не могут быть проведены с надлежащей четкостью и систематичностью. Предпочтительнее поэтому путь комбинированный: положив в основу принципа исторический, т. е. изложение и анализ важнейших проблем, выдвигающихся языкознанием в отдельные исторические эпохи и на отдельных этапах его развития, давать в то же время характеристики наиболее влиятельных лингвистических направлений и даже воззрений отдельных лингвистов.

Содержание и построение курса рисуются нам в таком виде:

Тема 1-я. Лингвистические учения античной эпохи

Излагая данную тему, можно ограничиться рассмотрением трех вопросов: а) отношение языка к мышлению и действительности; б) проблема происхождения языка; в) проблемы грамматики.

Тема 2-я. Лингвистические учения средневековья

Здесь желательно было бы рассказать: а) о воззрениях ученых той эпохи на сущность понятий и на отношение слов к мышлению и действительности (реалисты, номиналисты, концептуалисты); б) о взглядах на значение слова (учение о суппозициях); в) о лингвистических интересах представителей русского средневековья.

Тема 3-я. Языкознание XVI—XVIII вв.

Из весьма большого относящегося к этой теме материала вниманию студентов можно предложить следующее: а) разработка филологии классической, восточной (семитской) и неофилологии; б) выработка грамматической терминологии; в) русская филология XVI—XVII вв.; г) собрание материалов по неевропейским языкам, начало сравнительного изучения языков и составление сравнительных словарей (Российской Академии 1787 г. и др.); д) общие воззрения на язык в XVII—XVIII вв. (язык — механизм); е) разработка философских грамматик; ж) вопрос о происхождении языка как один из наиболее актуальных вопросов эпохи; з) русские мыслители XVIII в. (М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев) и проблемы языкознания.

Тема 4-я. Ломоносов и проблемы языкознания

Эта тема должна включать следующие разделы: а) лингвистические интересы Ломоносова; изучение им разных языков; б) установление Ломоносовым понятия родственных языков; использование Ломоносовым сравнительного метода; в) Ломоно-

<sup>1</sup> См. «Вопросы языкознания», 1954, № 4, стр. 101.

сов о дифференциации и интеграции языков в связи с проблематикой классификации языков; г) понимание Ломоносовым языка как явления общественного и трактовка им взаимоотношения языка и мышления; д) материалистическая основа воззрений Ломоносова на язык.

#### Тема 5-я. В. Гумбольдт и его место в истории языкознания

При изложении темы следует остановиться на таких вопросах, как: а) связь лингвистических воззрений Гумбольдта с общественно-политическими отношениями и философскими взглядами его эпохи; б) сущность языка и его антиномии; в) язык как организм; г) учение о формах языка; д) взгляды Гумбольдта на историческое развитие языка и на сравнительный метод в языкознании; е) предложенная Гумбольдтом классификация языков; ж) значение взглядов Гумбольдта для дальнейшего развития науки о языке.

#### Тема 6-я. Возникновение сравнительно-исторического метода

Основные разделы темы: а) знакомство с санскритом и начало систематического изучения его русскими и английскими учеными XVIII в. (Т. З. Байер, Г. С. Лебедев, В. Джонс); б) труды А. Х. Востокова, Р. Раска, Ф. Боппа, Я. Гримма и их значение для обоснования сравнительно-исторического метода; в) применение сравнительно-исторического метода при изучении отдельных групп индоевропейских языков и языковых семей.

#### Тема 7-я. Натурализм (биологизм) в языкознании XIX в.

Тему можно ограничить изложением взглядов одного только А. Шлейхера, лишь мельком упомянув о М. Раппе, М. Мюллере, А. Овлаке и др. Важно охватить в ней такой круг вопросов: а) естественно-научная трактовка понятия «организм языка» у Шлейхера и его последователей; б) понимание историзма в языкознании представителями данного направления; в) классификация языков, ее содержание и значение для представлений биологистов об историческом процессе развития языка; г) реконструкция праязыка у Шлейхера как отражение его натуралистической концепции.

#### Тема 8-я. Русские революционные демократы и проблемы языкознания

При разработке этой темы следует использовать работы В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова и особенно Н. Г. Чернышевского, освещающие основные вопросы: а) критика революционными демократами идеалистических взглядов на язык и трактовка ими языка как явления общественного; б) проблема классификации языков и борьба революционных демократов против расизма в языкознании; в) революционные демократы об историзме в языкознании и оценка ими сравнительно-исторического метода; г) вопросы стилистики в трудах революционных демократов.

#### Тема 9-я. Субъективный психологизм в языкознании

В настоящей теме предполагается охарактеризовать период после Гумбольдта до появления младограмматиков; особо нужно остановиться на общелингвистических воззрениях А. А. Потебни<sup>2</sup>. Необходимо осветить следующие вопросы: а) интерпретация взглядов Гумбольдта Г. Штейнталем и А. А. Потебней на основе гербартианской психологии; б) учение Потебни о структуре слова (внутренняя форма слова) и применение этого учения к этимологии, теории познания, литературоведению; в) историзм в концепции Потебни; г) судьба потебнянства в русском языкознании (Д. Н. Овсяннико-Куликовский, В. И. Харцнев, А. В. Ветухов и др.).

#### Тема 10-я. Младограмматики

При изложении методологических воззрений младограмматиков желательно, почти совершенно не касаясь наследия их в области частных лингвистик (славистики,

<sup>2</sup> Значение Потебни как русиста и слависта должно найти освещение в истории русского (геср. украинского, славянского) языкознания.

германистики и т. д.), осветить следующее: а) философские основы младограмматизма; б) сущность языка в понимании младограмматиков; в) историзм в понимании младограмматиков; г) отношение младограмматиков к представлению о целостности языка; д) понятие формы у младограмматиков (взгляды Фортунатова и его учеников) и вытекающее отсюда понимание грамматических категорий; е) модификации младограмматизма, в частности в русском языкознании.

Тема 11-я. Русское общее языкознание конца XIX — начала XX в. Казанская школа. Московская школа.  
Д. Н. Кудрявский, А. И. Томсон

Тема 12-я. В. Вундт

Основные разделы темы: а) расхождения между Вундтом и младограмматиками по линии философской; б) психологизм Вундта; в) учение о выразительных движениях и происхождении языка; г) Вундт о причинах языковых изменений; д) трактовка Вундтом предложения; е) оценка Вундта в русском языкознании (Кудрявский, Будде и др.).

Тема 13-я. Фосселерианство и идеалистическая  
неофилология

Тема 14-я. Буржуазный социологизм  
в языкознании

При характеристике этого направления главное внимание следует уделить критике сосюррианства и его дальнейших модификаций, освещая такие вопросы: а) учение де Соссюра о языке как замкнутой системе знаков и разграничение им лингвистики «внешней» и «внутренней»; б) три аспекта языка и выбор лишь одного из них как объекта лингвистики; в) антиисторизм де Соссюра; г) отрыв языка от мышления у де Соссюра; д) продолжение и усугубление ошибок сосюррианства в структурализме.

Тема 15-я. Лингвистический механицизм, семантический идеализм и другие реакционные направления в современном буржуазном языкознании

Тема 16-я. Вульгарно-материалистическое учение  
о языке Н. Я. Марра

В теме освещаются такие вопросы: а) методологические корни ошибочных воззрений Н. Я. Марра; б) недостаточная и неудовлетворительная критика идеалистического языкознания в трудах Н. Я. Марра и зависимость его взглядов по ряду вопросов от воззрений буржуазных ученых; в) антимарксистская трактовка в «новом учении» о языке сущности языка, происхождения языка, характера исторического процесса развития языка; г) разоблачение «нового учения» о языке в трудах И. В. Сталина.

Тема 17-я. Марксистско-ленинская наука  
о языке

Здесь следует сосредоточить внимание студентов на таких разделах: а) проблемы языка в трудах основоположников марксизма; б) вопросы языка в трудах В. И. Ленина; в) работы И. В. Сталина по вопросам языкознания; г) лингвистическая дискуссия 1950 г. и ее значение для развития марксистско-ленинской науки о языке; д) достижения советского языкознания после лингвистической дискуссии.

Таково в общих чертах содержание курса «История языкознания» и та последовательность, в которой, по нашему мнению, должен быть развернут материал этого курса<sup>3</sup>. Мы прекрасно сознаем все несовершенство нашего наброска программы, его неполноту и необходимость уточнения и конкретизации некоторых намечаемых ею вопросов. Нашей задачей было лишь подчеркнуть, что все содержание курса направлено именно на то, чтобы развернуть перед студентами развитие теоретической лингвистической мысли, показать, какие основные вопросы выдвигала наша наука за время своего существования, какие ответы давались на эти вопросы, пока она не вышла на единственно правильный путь — путь марксистского языкознания.

<sup>3</sup> См. также об этом «Очерки по истории языкознания в СССР (проспект)», М., изд. Комиссии по истории филологических наук Отд-ния лит-ры и языка АН СССР, 1953, стр. 3—5 (Раздел II — Общее языкознание).

Включение в учебные планы самостоятельной дисциплины «История языкознания» отнюдь не означает, что прочие общелингвистические курсы («Введение в языкознание» и «Общее языкознание») тем самым освобождаются от необходимости обращаться к истории науки. Так думать было бы глубоко ошибочно. И во «Введении в языкознание», и в «Общем языкознании» необходимо использовать материал по истории вопроса, но в каждой дисциплине по-своему, причем так, чтобы они не подменяли курса истории языкознания и не соперничали с ним.

Этим определяется и соотношение трех общелингвистических дисциплин. «Введение в языкознание» читается на I курсе в объеме 100 часов, из которых 68 лекционных, а 32 практических. На следующих (II и III) курсах студент овладевает целым рядом частных лингвистических дисциплин по своей специальности. Курс «История языкознания» следует ставить после этого цикла дисциплин на IV курсе и читать его на протяжении всего года по 2 часа в неделю, что составит 68 часов в год. Завершающим является курс «Общее языкознание». Его целесообразно читать в 9-м семестре по 4 часа в неделю, т. е. всего 72 часа. (В связи с этим следует переработать ныне действующую программу по «Общему языкознанию», чрезвычайно загроможденную и мало удовлетворительную.) При такой последовательности данный курс получит опору в уже прослушанном ранее курсе «История языкознания».

И. И. ЦУКЕРМАН

#### К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ КУРСА «ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

В редакционной статье \* совершенно правильно поставлен ряд вопросов, связанных с разработкой курса «Истории языкознания». Остановимся на некоторых из приведенных в этой статье положений.

1. Вопрос о характере курса. Следует ли положить в основу этого курса проблемы языкознания, их возникновение и развитие или дать характеристики сменяющихся школ и направлений? Мы высказываемся за изложение истории языковедческих проблем, данное в хронологическом порядке. Правильно вскрытый исторический процесс развития общих идей языкознания неизбежно раскрожит и существовавшие теории и направления в их логической связи, т. е. так, как они действительно возникали в результате обобщения конкретного лингвистического материала, накопление которого было вызвано условиями жизни. Разумеется, что при таком изложении надлежащее место найдет и освещение той роли языковедов прошлого, какую они сыграли в развитии лингвистической мысли.

Необходимо, чтобы изложение общетеоретических положений прочно базировалось на хотя бы сжатом обзоре того нового фактического языкового материала, следствием обобщения которого они явились: благодаря этому слушателям внушается мысль, что и дальнейший процесс развития теории языкознания возможен только на основе привлечения и осмысления все новых фактов из области самых разнообразных языков.

2. Вопрос о специализации курса. Курс «История языкознания» не должен быть дифференцирован по специализациям. История языкознания есть раздел истории науки и — еще шире — раздел, отрасль общей истории. История же не может быть приспособлена к чему бы то ни было (если не считать, разумеется, задач чисто методических); ее следует излагать так, как — она на самом деле развивалась.

Известно, что до последнего времени общие идеи и теории языкознания возникали и развивались, углублялись и уточнялись, ставились и снимались прежде всего на основе изучения индоевропейских языков, их строя и истории, характера их родства. В досоветский период языкознания материалы индоевропейских языков не имели решающего значения для развития общеязыковедческих идей. Таковы были объективные исторические обстоятельства. Однако не может быть сомнения и в том, что это положение отрицательно сказалось на общей теории и отдельных идеях языкознания, наложило на них печать известной ограниченности и односторонности.

В советское время общая теория языкознания развивается на основе изучения огромного числа языков разных систем, вызванных к новой жизни и развитию. Наши кавказоведы, тюркологи, специалисты по северным языкам, финно-угроведы сделали

\* См. «Вопросы языкознания», 1954, № 4.



серьезный вклад в советское общее языкознание. Они и сейчас вносят существенные коррективы в обычное понимание вопросов истории и строя языков. Все эти факты необходимо отразить в курсе «История языкознания».

Общая история языкознания никак не может хотя бы частично дублировать курс введения в специальную филологию. Вместе с тем любой специалист — по северным языкам или тюрколог, кавказовед или монголист — обязан знать минимум фактов по истории германских, романских, славянских и других индоевропейских языков, так как без этого он не может получить представления о самом характере общих лингвистических проблем, о том, как они возникали и развивались. В этом отношении курс истории языкознания отличается существенно от курса теории или общего языкознания. В последнем не только возможно, но и необходимо общие идеи языкознания иллюстрировать материалами по специальности.

3. **Вопрос об учебных пособиях.** В редакционной статье мельком говорится о том, как готовить учебник по курсу «История языкознания». Со своей стороны мы подчеркиваем: нужно, чтобы все этапы подготовки учебника были в сфере внимания лингвистической общественности. Необходимо незамедлительно начать печатать материалы, статьи, исследования по вопросам истории языкознания. Опыт показывает, что подготовка такого рода учебных пособий у нас затягивается на годы и иногда на десятилетия. С подобным положением вещей нельзя мириться, так как недостаток работ в этой области ощущается особенно остро. Необходимо принять в расчет и следующее важнейшее обстоятельство: происшедший коренной поворот в теории языкознания требует такого же коренного пересмотра, переоценки всего лингвистического наследия. Это относится в равной мере к трудам как зарубежных, так и наших отечественных языковедов.

В настоящее время самое главное — не ждать, когда будет опубликовано исчерпывающее исследование в указанной области, а уже сейчас приступить к опубликованию необходимых материалов по истории языкознания и к переизданию лучших работ из лингвистического наследия. В связи с этим хорошо было бы организовать выпуск специальной серии брошюр, привлекая к участию в ней и наших историков.

Добиться отличного итогового результата возможно только в том случае, если в процессе работы над учебными пособиями будут учитываться критические замечания и пожелания широкого круга советских лингвистов

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

## К ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Образование и развитие национального языка тесно связаны с историей народа, говорящего на нем. Теперь уже стало общим местом всех специальных исследований, что своеобразие исторического процесса определяет формы образования каждого конкретного языка племени, народности, нации. Однако связь развития языка с развитием общества не исчерпывается изменениями внешней стороны языка или сферы его обращения. Сам ход языкового развития оказывается достигаемым для воздействия общества. Появление антагонистических классов, развитие промышленности и торговли, письменности и литературы, крупные сдвиги в жизни общества и социальные перевороты, развитие техники и технических средств общения оказывали и оказывают влияние на совершенствование языка. Так как национальная специфика языка является до известной степени преломлением особенностей истории его носителей, знание характерных и типических черт общественного бытия на протяжении значительного периода времени помогает установить специфические особенности в развитии того или иного национального языка.

Важное значение для образования языка узбекской народности имел период с IX по XII в. Крупные изменения в общественном укладе тюрок Средней Азии, выразившиеся в расширении ремесел и торговли, в переходе части кочевников к земледелию и в обострении социальных противоречий, привели в конце X в. к необходимости создания централизованной власти. Повидимому, при таких обстоятельствах появилось государство караханидов, более конкретные причины образования которого пока еще не изучены<sup>1</sup>.

Со времени завоевания караханидами Мавераннахра центры хозяйственной и политической жизни восточных тюрок частично переместились на запад. Наряду с Кашгаром и Баласагуном на востоке важное значение стали иметь центры Мавераннахра на западе.

Приход к власти караханидов сопровождался распространением удельной системы, появлением больших и мелких владетелей, носивших титулы илек-ханов и подчинявшихся великому хану Кашгара — тамгач-хану. Факт выделения крупных собственников наряду с другими обстоятельствами, упомянутыми выше, свидетельствует о зарождении начальных форм феодальных отношений. Возникновение нового государственного единства и территориальных подразделений в нем знаменовало далеко идущий процесс нарушения родоплеменных традиций, проявления новых общественных тенденций.

О племенном составе местного объединения, занявшего область Восточного Туркестана и Мавераннахра, едва ли можно говорить определенно. На основе географических сведений древних авторов X в. и данных, почерпнутых из соответствующих хроник, можно предположить, что в государство караханидов входили уйгурские племена, карлуки, аргу, тюркешы, ягма и др. Наряду с племенными и родовыми названиями представители указанных групп надолго закрепили за собою объединяющее наименование «тюрок», с более узким этническим содержанием, чем тюрк вообще. Тюрком называл себя Юсуф Баласагунский (XI в.) — автор дидактического сочинения «Кутадгу билиг»; тюрок, в отличие от огузов и кыпчаков, выделяет Махмуд Кашгарский; и, наконец, значительно позднее Захир-ад-дин Бабур, относя себя к тюркам и называя так оседлых жителей тимуридских владений, противопоставляет последних

<sup>1</sup> См.: В. В. Григорьев, Караханиды в Мавераннагре, СПб., 1874; А. А. Валитова, К вопросу о классовой природе караханидского государства, «Труды Кирг. филвала АН СССР», т. I, вып. 1, Фрунзе, 1943.

сартам<sup>2</sup> — иранскому (отуреченному) населению Мавераннахра — и узбекам — кочевникам нижнего течения Сыр-Дарьи. Имевшее место впоследствии противопоставление узбекам чагатам отражало первоначальное разграничение оседлых тюрок и кочевников названной области.

Центральное положение в составе государства караханидов занимали карлуки и уйгуры. По свидетельству арабских источников, и те и другие были самыми могущественными и многочисленными среди тюркских племен. Очевидно, и сами караханиды происходили из карлуков, хотя существуют факты (например, титул первых караханидских правителей *бобра* в противоположность карлукускому *jabbu*), в известной мере опровергающие это положение. Возможность происхождения караханидов из других племен несколько не умаляет роли уйгуров и карлуков в новом объединении. Отсюда справедливо заключение, что история всех восточнотуркестанских тюрок с некоторого времени неразрывно связана с судьбами уйгуров и карлуков. Этим главным образом и объясняется характер консолидации племен внутри каганата и характер господствовавших в его центрах языковых норм, определяемых следующими особенностями, общими для восточнотуркестанского типа в широком смысле.

В фонетическом отношении: наличием полуузкого гласного *ä*, вместо *ä* или *i* (неэтимологического); сохранением изначального гармонического соответствия *a — u*: *алтун*, *хатун* и т. д.; сохранением конечных заднеязычных при узких и широких гласных, а также в интервокальном положении и сохранением особого сочетания *ng* в любой части основы, например: *отунг* «дрова» (<> *отун*), *карангбу* «темный, сумеречный» (<> *каранбу*); *тиранг* «глубокий» (<> *тиран*); ассимилятивным изменением *b* в личном и указательном местоимениях: *бэн* > *мэн*, *бу(нэ)* > *му(нэ)* и т. д.; отсутствием спонтизации *k*: ср. у огузов и кыпчаков, согласно сведениям Махмуда Кашгарского, *хаю* «какой», *халач* — название племени, *ханда* «где» (т. III, стр. 218), *хакан* «каган» (т. III, стр. 221); наличием узкого гласного в морфологической части прошедшего категорию: ср. у огузов — *бардам* «я пошел» (т. III, стр. 140) (в этой связи можно обратить внимание на своеобразную огласовку аффикса, следующего за основой с широким гласным, в ранних манихейских текстах<sup>3</sup>); сохранением *b* в сочетаниях с другими согласными звуками: *чомбук*, *кисбач*, *кабан*, причастия прошедшего времени типа *барбан*, *калган* и т. д.

В морфологическом отношении: противопоставлением причастных (агентивных) форм типа *самбучи*, *тумбучи* огузским *самтачи*, *тумтачи*; присутствием причастных форм должностования на *-бу/-гү*: *барбу*, *калгү* (ср. огузск. *бараси*, *калгаси*); сохранением без изменений полной формы настоящего-будущего времени в первом лице: так, у Махмуда Кашгарского встречаем *күләрмән* (т. II, стр. 65) (ср. огузск. *күләрән*, *күлпән*) и причастия на *-бан,-ган*: *барбан*, *турбан* (ср. огузск. *баран*, *туран*); особой структурой собирательных числительных: *йүчгү*, *икгү*...

В области лексики и грамматики: отсутствием глагола *эт* «делать», имени *курт* «волк», отрицания *анг*, отрицательного члена *төгүл* и многими другими.

Несомненно, что и языки уйгуров и карлуков не были однородными. Они разграничивались между собой и вместе с тем обнаруживали ряд диалектных группировок внутри себя<sup>4</sup>. Возможно, что джекание, т. е. произношение *й* (*дже*) в начале

<sup>2</sup> По вопросу о значении названия «сарт» существует большое количество мнений, выраженных на страницах различных научных изданий (см., например: В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, Л., 1927, стр. 80; Н. V a m b é r g u, Die Sarten und ihre Sprache, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft», Bd. 44, Leipzig, 1890, стр. 203; Н. П. Остроумов, Значение названия сарт, Ташкент, 1884; Н. С. Лыкошин, Полжизни в Туркестане, Пг., 1916, стр. 114, 116). Следует, однако, отметить, что уже со времени Бабура смысл рассматриваемого наименования становится совершенно прозрачным и отношение слова «сарт» к местному иранскому населению, отуреченному или сохраняющему свой язык, не вызывает никаких сомнений.

<sup>3</sup> См. примеры, приводимые А. фон Леккоком (A. von Le Coq, Türkische Manichäica aus Chotscho, I, Berlin, 1912): *kälmämäs*, *бардамас* (стр. 39), *йачаб* «дерево» (вин. падеж; стр. 7). Повидимому, в этом же плане следует рассматривать и наличие различных огласовок в формах исходного падежа *-дан* (*-дән*) и *-дн* (*-дн*), из которых последние сохранились в карабулакском говоре (см. К. К. Юдахин, Некоторые особенности карабулакского говора, сб. «В. В. Бартольд...», Ташкент, 1927). Что касается утверждения в современном узбекском языке южнкой разновидности *-дан* (*-дән*), то это нетрудно объяснить, учитывая большую роль северо-западных (хорезмских) диалектов в период оформления языка узбекской народности.

<sup>4</sup> Большая часть уйгурских племен после разгрома уйгурского объединения киргизами в первой половине IX в. осела в приалтайских степях. Другая часть уйгуров оказалась в Восточном Туркестане и впоследствии расселилась на обширной территории от Хами до Капгара. Язык этой группы запечатлелся в многочисленных

слова вместо *j*, характеризовало особое племенное наречие карлуков, тогда как произношение *j* на месте этимологического *n'* (звук, обозначаемый руной *з* в текстах орхонской и енисейской письменности) являлось особенностью всей карлукской группы языков, в отличие от языка уйгуров и огузов [ср. в языке аргу *кон* «овца» (в других языках *koi*); *канда* «где» (<> *kaiḍa*), *аниḥ* «известный, ясный» (<> *aiḥ*) и т. д.].

В составе первых миграционных потоков тюрков в Средней Азии, помимо уйгуров и карлуков, важную роль играли огузы, кыпчаки и другие племена, местом расположения которых стали границы владений караханидов.

Распространяясь на запад и северо-запад, тюрки захватывали области древнейшей земледельческой культуры, населенные ираноязычными народностями. Разумеется, речь идет в первую очередь о Согде и Хорезме, население которых было впоследствии ассимилировано узбеками. Независимо от конечного результата скрепления сам процесс взаимного общения разнородных языковых единиц не мог пройти бесследно и для узбекского языка. Местные говоры последнего впитали в себя и сохранили значительное число восточноиранских слов. Так, очевидно, из согдийского языка было усвоено слово *бала* (*бола*) «ребенок» (ср. санскр. *bālis* «мальчик, ребенок»).

К числу предполагаемых хорезмийских лексических элементов в хорезмском диалекте узбекского языка могут быть отнесены: *арна* «проточный канал, идущий непосредственно от реки или большого магистрального канала» < хорезм. \**арна* (ср. санскр. *arṇas* «текущий, поток», *Arṇos* — название реки в древней Галлии<sup>5</sup>); *jan* «проточный канал, вытекающий из арна или просто меньше арна» < хорезм. \**jan* или *ān*, (ср. авест. *ān* «вода»<sup>6</sup>); не исключено, что к этому семантическому ряду относилось также санскр. *yavūā* «поток, река»<sup>7</sup>, др.-перс. *yaviyā* «канал»<sup>8</sup> и др.

Отюречение населения Согда и Хорезма происходило естественным путем и было характерно тем, что в городах переход к тюркской речи был чрезвычайно медленным и городское население пользовалось ею лишь приватно, в силу необходимости экономических связей. И тем не менее формирование тюркоязычного народа в Мавераннахре проходило интенсивно, так что новые ингредиенты подвергались воздействию тюркской речи, а не таджикской<sup>9</sup>.

О существовании узбекского этноса как такового можно говорить лишь в отношении периода, непосредственно следующего за монгольским нашествием.

Разделение каганата караханидов в середине XI в. на два обособленных государства: восточное — со столицей в Баласагуне, а затем в Кашгаре, и западное — со столицей в Узген(де) и позднее в Самарканде — положило начало образованию двух центров консолидации восточных тюрков, в то время как монгольское нашествие усугубило различия, вызванные первоначальным разделением. Бывший в течение некоторого промежутка времени относительно единым чагатайский улус уже в последней четверти XIII в. распался на две части: Мавераннахр и Мугулистан, включавший территорию Восточного Туркестана и Семиречья. К сожалению, отсутствуют языковые данные, подтверждающие строгое разграничение среднеазиатских и восточно-туркестанских тюрков в XII—XIII вв., однако их и не могло быть, так как население указанных территорий как в самом языке, так и в общем культурном укладе сохраняло значительную близость в течение продолжительного времени. Вместе с тем не вызывает никаких сомнений то обстоятельство, что уже в XIV—XV вв. грамматический строй и основной словарный фонд языка узбекской народности устанавливаются приблизительно в том виде, в каком они выступают в наши дни.

В соответствии с новейшими воззрениями, в которых нельзя не усмотреть проявление давней традиции, принято считать определяющим моментом формирования узбекской народности и узбекского языка завоевание Мавераннахра кочевниками-узбеками в XVI в. Полностью соглашаясь с этим, А. А. Семенов полагает, что в процессе

текстах преимущественно буддийского и манихейского содержания. Место расположения карлуков в X—XII вв. — юго-западные области Восточного Туркестана с городами Яркенд, Хотан и Кашгар. К памятникам карлукского языка мы относим «Кутадгу билиг», уйгурскую версию истории принцев Кальянамкара и Папамкара, тексты, записанные Вгаһт-прифтом, «Хибат ул-хакаик», частично легенду об Огузе и соответствующие разделы в «Диване» Махмуда Кашгарского. Есть основания предполагать, что со времени образования каганата караханидов уйгурские племена Восточного Туркестана выступают в составе племенного объединения карлуков.

<sup>5</sup> С. С. Uhlenbeck, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache*, Amsterdam, 1898—1899, стр. 13.

<sup>6</sup> Н. С. Tolman, *Ancient persian lexicon*, New York, 1908, стр. 64.

<sup>7</sup> С. С. Uhlenbeck, *указ. соч.*, стр. 236.

<sup>8</sup> А. А. Фрейман, *Хорезмийский язык*, М.—Л., 1951, стр. 110.

<sup>9</sup> Имеются в виду монгольские племена: мангыт, джалаир, кунграт, барлас, каучив, могол, барки, катаган, кенегез, джерас и другие, отуреченные вскоре после монгольского завоевания Средней Азии.

вторжения кочевников на территорию нынешнего Узбекистана «родственные узбекам по языку и происхождению местные тюрки и отуреченные монгольские племена известные тогда под общим названием чагатаев, или джагатаев, постепенно сливаются с массой узбекского населения. утрачивая большей частью свои племенные подразделения и этнические особенности»<sup>10</sup>.

Завоевание кочевниками Мавераннахра не явилось основным событием, завершающим формирование узбекской народности. Мы вполне солидарны с С. П. Толстовым, по мнению которого «средневековые „узбеки“ были не только не единственным, но даже и не главным из элементов, участвовавших в формировании узбекской нации»<sup>11</sup>. Процесс оседания кочевых племен узбеков в междуречье не изменил коренным образом ни этнического, ни языкового типа народности, сложившейся здесь несколькими столетиями ранее.

В распространении восточнотуркестанского языка значительную роль играли такие факторы, как создание письменности и появление литературы, которые обладали широкими возможностями закрепления установившихся в живой речи норм.

Для караханидского литературного языка, опиравшегося на живую языковую традицию, факторами внешнего воздействия являлись: 1) тесные связи с земледельческими областями иранских племен; 2) укоренение ислама и мусульманской идеологии.

Как связь с иранскими племенами, так и подверженность воздействию арабов явились источниками обогащения словарного состава новыми словами, словообразовательными возможностями и словообразовательными средствами.

Иранское влияние на грамматику и фонетику караханидского литературного языка выразилось: в конструировании союзных связей посредством *к.м* (обособившегося в своей синтаксической функции относительно-вопросительного местоимения) и нарушении сингармонии, вызванном утратой противопоставления «мягких» и «твердых» гласных фонем и развитием так называемых индифферентных звуков: *й, и > i; а, э > а; о, ё, у, ё > ё; у, ё > у* (может быть, последующие изыскания приведут к объяснению перечисленных явлений местными тенденциями). Мы хотели бы отметить также возможность проявления таджикских артикуляционных особенностей в узбекском оканье, о чем в свое время писал Е. Д. Поливанов. Правда, новейшие исследователи узбекского языка склонны объяснять указанное явление позиционными обстоятельствами. Так, В. В. Решетов пишет: «Развивается оно либо в составе с бибиальными... либо возникает в непосредственном или смежном соседстве с глубокозаднеязычными согласными *к, б, ж*, в силу своей задней артикуляции...»<sup>12</sup>. Однако эта точка зрения в настоящее время не настолько убедительна, чтобы ее можно было признать окончательной.

Из области лексики в литературный язык проникли такие восточноиранские, древнеиндийские и китайские слова: *nāncīni* «добрый гений» ~ санскр. *naivācīka* (непосредственным источником заимствования был, очевидно, тохарский язык); *аташ* «огонь» < перс. *аташ*; *буян* «благо, благодать» < санскр.; *эрдэни* «драгоценность» < санскр. *ратна*; *дуст* «друг» < иранск.; *душман* «враг» < иранск.; китайские слова: *бэндэж* «скамья» < кит. *бань* «доска», *дэн* «табуретка»; *канб(а)* «телега»; *иньйу* «жемчуг»; арабские: *алам* «знамя», *вакът* «налог в пользу бедных», *кала* «укрепленный город», *карп* «чужестранец» и прочие.

Существенным фактором внешнего воздействия являлись также различные культы, оказавшие влияние главным образом на характер словарного состава религиозно-повествовательной (манихейской и буддийской) и, отчасти, дидактической литературы. Именно распространению буддизма и манихейства обязаны своим проникновением в тюркские языки заимствования из санскрита, древнеиранские и пехлевийские, а также тибетские и китайские.

Местные формы литературного языка, близкого к народному, запечатлелись в небольших фрагментах древних эпических произведений тюрков, приведенных в словаре Махмуда Кашгарского. Колорит живой караханидской речи в среднеазиатской литературной форме сохраняет и уйгурский вариант сказания об Огузе.

До XI в. и особенно в XI в. центрами литературного развития являлись Кашгар и Турфан. Появлявшаяся в Кашгаре литература быстро распространялась на огромной территории каганата. Переселения в районы Мавераннахра образованных кашгарльков, тесные торговые и политические связи, с одной стороны, поддерживали лите-

<sup>10</sup> «История народов Узбекистана», т. 2, Ташкент, 1947, стр. 49.

<sup>11</sup> С. П. Толстов, Древняя культура Узбекистана, Ташкент, 1943, стр. 5.

<sup>12</sup> В. В. Решетов, К вопросу об изучении узбекских народных говоров, «Юбилейный сборник, посвященный двадцатипятилетию Узбекской ССР», Ташкент, 1949, стр. 493.

ратурную преемственность, а с другой — подготовили почву для прочного усвоения в Средней Азии уйгурской письменности [составление ярлыков ханскими писцами, использование уйгурского алфавита при переводе образцов мусульманской литературы, как-то: «Мирадж-намэ» (1442), «Тезкерех ил-авлия» (1436—1437), «Сирадж ул-кулуб» (1432) и др.]. При этом в уйгурскую письменность переносились арабские диакритические знаки и отдельные буквы, которые использовались в качестве подстрочных знаков<sup>13</sup>.

Прекращение литературно-языковой традиции восточнотуркестанских центров, традиции так называемого «д»-языка следует отнести к XIII—XIV вв. С блестящей порой в существовании этого литературного языка связано появление крупнейшего памятника XI в. «Кутадгу билига» Юсуфа Баласагунского. В «Хибат ул-хакаик» Адиб-Ахмеда Югнаки намечаются впервые тенденции отрыва от норм «Кутадгу билига» и зачатки тех признаков, которые ложатся в основу новой языковой традиции. Тем не менее наличие *ä* (*адак* «нога») и таких форм, как повелительное наклонение 3-го лица на *-су/-сй* (*каасу, билсй, килсу*), на *-бу/-ей* (*ignanмабу, турбу*), частое употребление в качестве связки указательного местоимения *ол* и т. п. позволяют говорить в данном случае о восточнотуркестанской (карлукско-уйгурской)<sup>14</sup> основе языка этого памятника. В «Кысас ал-авбия» Рабгузи (XIV в.) сохраняются «д»-основы, хотя другие особенности ставят его язык в особый ряд.

Расцвет староузбекской литературы и литературного языка относится к XV—XVI вв., т. е. ко времени деятельности Лютфи, Атая, Секкаки, крупнейшего узбекского поэта Навои, Захир-ад-дина Бабура и др. Помимо особого литературного штампа, язык их произведений носил следы некоторой изощренности, вызванной стремлением к созданию пышного и витиеватого стиля. Основой литературного языка послужила живая тюркская речь населения Мавераннахра, отличавшаяся, кроме существенной примеси ирализмов, конгломерацией восточных и западных тюркских элементов, происходившей в результате активных и непосредственных связей с кыпчакским населением Хорезма, центральной части Мавераннахра и кыпчаками-кочевниками.

Вопрос о литературной норме среднеазиатского литературного языка никем и никогда не ставился. Борьба за равноправие тюркской речи и ее простоту, глубоко преломившаяся в произведениях Навои («Мухакамат ул-лугатайн», «Лайли ва Маджнун» и др.), поучения Бабура своему сыну Хумаюну, в «Шаджара-и тюрк» Абулгази, не пошла дальше теоретического обоснования ее необходимости. Уже в XVI—XVII вв. авторитет классиков староузбекской литературы способствовал консервации их литературного языка, который, не будучи изменяемым, в последующее время стал производить впечатление частично омертвевшей языковой нормы.

Стремление ограничить канонизацию норм литературного («чагатайского») языка допуская в него местные формы проявилось, в частности, в Хорезме. Мухаммед Салих, Абулгази и другие в наибольшей мере придерживались ориентации на местные формы, используя в совокупности и южные, и западные элементы: притяжательные формы дательного падежа имени на *-(м)ä, (н)-ä* (*көбүмä, күнлүмä, башима, йүзинä, jakасина*)<sup>15</sup>; собирательные числительные на *äй* и *lä* (*mäptäй, ikäй, ikälä, үчälä*); формы уподобительно-указательных местоимений (наречий), например *булай*, а также союз-наречие *йукса*, общий для западной и южной групп, и, отчасти, «вставочное» и в местных падежах.

Развитие восточнотюркского (староузбекского) языка Мавераннахра в период с XIII по XVI в. определяется обстоятельствами, вытекающими из специфики исторического процесса на указанной территории. В данном случае выступает обычное для Востока взаимодействие кочевнической и оседлой части общества. «У всех восточных племен, — отмечает К. Маркс, — можно проследить с самого начала истории общее соотношение между свободностью одной части их и продолжающимся кочевничеством другой части»<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> См. «Сирадж ул-кулуб», рукопись Брит. музея. Фотокопия рукописи находится в б-ке Ин-та языкознания в Ленинграде.

<sup>14</sup> См. Н. А. Васильев, К вопросу о классификации тюркских языков, «Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка», 1952, вып. 2, стр. 129.

<sup>15</sup> Примеры взяты из источников: «Шейбани-намэ», изд. Г. Вамбери; «Шаджара-и тюрк», Ms. ог. 721 и «Шаджара-и тюрк», Ms. ог. А. 895 (Рукоп. отдел Ин-та востоковедения АН СССР).

<sup>16</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. письма, 1953, стр. 73.

В условиях существования полукочевого феодализма натуральное хозяйство, обособленное развитие городов - крепостей и кочевых улусов и вытекающие отсюда обособленность способствовали образованию большого числа территориальных диалектов; но, с другой стороны, постоянная борьба кочевой части общества с оседлой приводила к сглаживанию диалектных различий, возникающих вследствие проявления первого фактора. Оседание кочевников в центральной части Мавераннахра, в Шаше и Фергане происходило в течение нескольких столетий, и процесс проинкиновения в местный язык кыпчакских элементов был многосторонним и довольно длительным.

В легенде, которая приводится в анонимном сочинении под названием «Шаджарат ал-атрак», можно усмотреть один из моментов передвижения кочевников в XII—XV вв. в Мавераннахр: «... а когда каждого из тех людей, которые вместе со святым Сейид-Ата и Султан-Мухаммед-Узбек-ханом выступили в поход и шли (в Мавераннахр), спрашивали, кто эти идущие, то они избирали (для ответа) имя предводителя и царя своего, которое было Узбек. По этой причине с того времени пришедшие люди стали называться узбеками...»<sup>17</sup> Нам не интересен вопрос, касающийся истинности этих истоков для последующего этнического наименования тюркского населения юго-восточной и центральной части Средней Азии. Важен тот факт, что для историков XV—XVI вв., писавших на персидском и тюркских языках, представлялось достоверным и очевидным продвижение кочевников на юг в начале XIV в. (Узбек-хан, годы правления 1312—1342), т. е. задолго до возникновения государства Абульхайр-хана, завоевавшего область нижнего течения Сыр-Дарьи с городами Сыгнаком, Узгендом, Сузаком и другими лишь в середине XV в.

Завоевательное движение Абульхайра способствовало распространению в низовьях Сыр-Дарьи западнотюркских языковых элементов. Надо прямо сказать, что оно изменило соотношение диалектных группировок, вызвало смещение некоторых диалектных явлений, однако не настолько, чтобы можно было говорить об их полном перераспределении.

Проф. А. Ю. Якубовский справедливо отмечает: «...кочевники-узбеки застали, если не на всей территории современного Узбекистана, то во всяком случае на огромной ее части, густое тюркоязычное, т. е. тюркское и тюркизированное население, которое долго жило здесь культурной жизнью и складывалось в процессе слияния с другими, более древними народами, жившими здесь со времен глубокой древности. Кочевники-узбеки вошли в это тюркоязычное население лишь как последнее слагаемое, передав ему свое имя»<sup>18</sup>.

Население улуса Абульхайра по своему составу не отличалось существенно от оседлого населения Мавераннахра. В акте возведения Абульхайра на ханский престол участвовали среди других представителей улуса уйгуры, карлуки, хытай, тангуты и другие, и таким образом восточнотуркестанские племена играли в нем далеко не последнюю роль. С другой стороны, и среди оседлого населения имелось известное количество западных племен, передвигавшихся с севера и оседавших в Мавераннахре на протяжении многих столетий. В связи с изложенным не может быть никаких сомнений в том, что противопоставление тюрков, оседлых жителей Мавераннахра, узбекам-кочевникам и квалификация процесса образования узбекского народа как скрещивания двух различных народностей являются ошибочными.

Равным образом обзор исторических и языковых материалов показывает, что сближение восточнотюркских (уйгуро-карлукских), кыпчакских и огузских элементов имело место и в Хорезме, отошедшем после завоевания монголов одной своей частью к улусу Джучи, другой — к улусу Чагатай. Границу между кыпчакскими и огузскими, с одной стороны, и «огузо-кыпчакскими» уйгуро-карлукскими наречиями Хорезма, с другой, проследить трудно. Можно только предположить наличие своеобразного барьера в виде перебора  $j \diamond j$  (ср. *jыбылды* «повалился», *jірің* «твоя песня») и выпадения заднеязычных перед узкими гласными [ср. *олум* «об(у)л-ум»]<sup>19</sup>, т. е. в форме тех особенностей, которые характеризуют в настоящее время язык главным образом северной («кыпчакской») части Хорезма<sup>20</sup>. Если это

<sup>17</sup> «Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузенем» («Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды», II), Л., 1941, стр. 203—207.

<sup>18</sup> А. Ю. Я к у б о в с к и й, К вопросу об этногенезе узбекского народа, Ташкент, 1941, стр. 3.

<sup>19</sup> См. анонимное сочинение «Шаджарат ал-атрак», в кн. «Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузенем», стр. 203—204.

<sup>20</sup> Впрочем и некоторые кыпчакские говоры юга (в частности, ширин-кунградский говор Янги-Базарского р-на), описанные в начале 30-х годов Е. Д. Поливановым и повторно обследованные нами в 1953 г., представляют в довольно сложном диалектном составе ряд «кыпчакских» признаков, например: *балмтй* «рыбу», *талдйң нутабй* «ветка тала», *кантйң авэйинй аш* «открой (развяжи) мешок», *азгч* «дерево», *бу jakka käl* «иди сюда», *базаргй барзймга кэлди* «хочется нам пойти

показательно для «джучидских» тенденций, то что может быть типичным для «чагатайских»? Вероятнее всего — конгломерация восточных и южных, т. е. огузских признаков. Так, например, в морфологическом отношении<sup>21</sup>, благодаря наличию форм генетива на *-ни* // *-нуң*, *-н* // *-уң*, форм дательного-направительного падежа на *-ба*, *-га*, *-ка*, *-ка*, *-а*, *-а*, *-кар*, *-ка*р [после притяжательных аффиксов 1-го и 3-го лица *-(м)а*, *-(н)а*], а также наличию частицы отрицания *дәкү* // *тәкү*, депричастий на *-а*, *-у*, *-й*, причастий на *-ур*, *-ар*, и *-гур* (после гласных), язык тефсира, комментированного перевода Корана, примыкает к языку «Кутадгу билига», «Кысас ал-анбия» и в то же время обнаруживает близость к языку староосманских литературных памятников.

Синтезированные особенности южной и восточной групп свойственны языку хикметов Ахмеда Ясеви (немногих, возможно, оригинальных из общего числа приписываемых ему); языку произведений его последователей: Сулеймана Бақыргани, Хамзы Шейяда, Юнуса Имре, а также стихотворному сборнику «Кысса-и Юсуф», языковые формы которого достаточно глубоко разобраны К. Брокельманом. Из числа более поздних памятников подобного типа следовало бы назвать «Равнаку-л-ислам»<sup>22</sup>.

Бесспорно, что взаимодействие узбекского языка с говорами Ангренской долины также не носило характера противопоставления двух языковых стихий, так как сами по себе последние выступали в виде гибридного типа<sup>23</sup>.

\*

Диалектные различия, имевшие место в области распространения узбекского языка в XV—XVI вв., в последующее время (XVIII в.) закрепились границами государственного разделения (эмиратство бухарское, ханства хивинское и кокаандское). Под властью Коканда вырос крупнейший хозяйственный и торговый центр Туркестана Ташкент. Как до завоевания Средней Азии русскими, так и после него в Узбекистане не происходит выделения ведущего диалекта, который смог бы сыграть нормализующую роль при установлении языкового единства в национальном масштабе. Отсутствие тесных внутренних связей, как следствие длительного экономического застоя, не способствовало нивелировке диалектных норм, а наоборот, усиливало противоположные тенденции.

Однако классический литературный язык, основоположником которого явился великий узбекский поэт Алишер Навои, продолжал существовать и в XIX в., приобретаемая в устах таких поэтов, как Фуркат и Муками, отпечаток новых общественных тенденций.

В конце XIX и начале XX в. размах революционного движения в России способствовал некоторому пробуждению народных масс в Туркестане и развертыванию борьбы против эксплуататорских классов, в ходе чего пропаганда в поэзии демократических идей поднимала роль литературного языка как средства искоренения социальных пороков и преодоления культурной отсталости.

Как известно, присоединение народов Средней Азии к России в целом имело положительное значение для их развития, в частности для ускорения экономического роста городов. Такие города, как Фергана, Коканд, Наманган, выросли и стали многолюдными после прихода в Среднюю Азию русских. Выдающееся значение приобретает Ташкент, ставший крупнейшим городом в Туркестане. В Ташкенте появляются зачатки промышленности, концентрируется хозяйственная и культурная жизнь, в нем сходятся все нити торгового и промышленного предпринимательства.

Позволим себе привести очень любопытную характеристику Ташкента того времени, данную ему акад. В. В. Бартольдом: «Более, чем на какой-либо другой окраине, в Туркестане вся умственная жизнь сосредоточивалась в одном городе. Отъезд из Ташкента в другие местности Туркестана считался отъездом „в провинцию“; это выра-

на базар», *базардан кўфатіміз* «мы возвращаемся с базара» (ср. *базарга барватірімиз*) и т. д.

<sup>21</sup> См. А. К. Воронков, Очерки истории узбекского языка, II, «Советское востоковедение», VI, М.—Л., 1949.

<sup>22</sup> Более наглядное представление о синкретизме южных и восточных признаков дают современные узбекские говоры южного Хорезма. Приведем некоторые особенности, отражающие своеобразие «огузского», или смешанного типа: вин. пад. *эртәји* «сказку», дат. пад. *базарга* «на базар»; *карамин* (*карамай*) «не смотря», *гәл/кәл* «приди», *гәт* «уйди», *гәт/гәтә* «при уходе», *гәлвәдлә* «пришли», *умтврәдә* «сел», *дәләсән* «если пожелаешь», *гәртмәд* «чтобы увидеть», *гуртма* «в мой дом» (г. Хива); *јәддінји* «седьмой», *дүртінји* «четвертый», *гәлвәдә*, *гәләндә* «пришел» (ср. *кәлән* *јәдә*), *гәтәндә* «ушел», *доккуз* (Шаватек. р-н); *күм ичинә* «в пески», *оқимаб* «чтобы учиться, на учебу» (в г. Ургенче — *оқимака*), *атамә* *сүбәри* «корова моего отца», *шиғә* *арана кат* «поставь пшак в стогол».

<sup>23</sup> См. В. В. Решетов, Классификация узбекских говоров Ангренской долины, «Бюллетень АН УзССР», Ташкент, 1946, № 7.



жение употреблялось даже в печати, также составлявшей одну из особенностей Ташкента. Попытки издавать газеты в других городах не имели прочного успеха...»<sup>24</sup> Однако объединить вокруг себя все население Туркестана Ташкент в то время не мог в силу главным образом политических причин: Бухарское эмиратство и оба ханских удела, Кокандский и Хивинский, продолжали оставаться, формально или в действительности, автономными и независимыми государствами.

Слабые попытки разрешения проблемы единого литературного языка в эту эпоху связаны с течением «джадидизма». Буржуазно-националистические и пантюркистские тенденции джадидов вели к идее восстановления в модернизированной форме старого «чагатайского» языка как единого общетюркского, но не могли способствовать разрешению проблемы литературной нормы на живой разговорной основе.

«Литературный узбекский язык периода 1905—1917 гг., — пишет А. К. Боровков, — вообще производил впечатление не народного „смешанного“ языка. В литературе поэзия господствовала над прозой, стихи по форме оставались старыми и язык их более архаическим. Наибольшим влиянием был подвержен язык прозы, драматических произведений и газетный язык. Разнообразие влияний создавало впечатление чего-то бесформенного, переходного, смешанного в литературном языке. Это общее впечатление отражало до некоторой степени действительное состояние узбекского литературного языка в дооктябрьский период. Читателю бросались в глаза в первую очередь чуждые формы, татаризмы и „западно-тюркские“ элементы... Татаризмы и западно-тюркские элементы занимали действительно большое место в узбекском литературном языке, особенно в языке периодической печати, что объясняется, в первую очередь, идейными влияниями из центральной России, Крыма, Азербайджана и отчасти Турции»<sup>25</sup>.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции Ташкент стал признанным центром консолидации национальных сил. Производительная норма населения Ташкента проникает в язык печати, официальной переписки и, наконец, художественной литературы.

В развитии национальной разговорной нормы находит свое отражение общий процесс сближения языка литературного и разговорной речи представителей трех наиболее крупных диалектных групп — самаркандско-бухарской, ташкентской, ферганской и, частично, хорезмской. Но трудности разрешения проблемы литературного языка служили препятствием для этого процесса. Наличие установившихся диалектных особенностей и региональных литературных языков, закрепляющих их, — следствие продолжительного существования на территории Узбекистана нескольких государственных образований — затруднило выделение норм, которые могли бы иметь в живой языковой практике всеобщий характер. Огромное значение имела также проблема формы литературного языка. Она последовательно разрешалась переходом к письменности, созданной на основе средств русской графической системы.

Сложнее была первая задача. В дискуссии о перспективах развития узбекского литературного языка в 30-х годах по этому вопросу наметились две противоположные точки зрения. Группа «чагатаистов», в известной мере продолжившая тенденции джадидизма, утверждала, что необходим возврат к нормам «чагатайского» языка в его классической форме. «Чагатаизм», — отмечает А. К. Боровков, — находит свое выражение в стремлении направить развитие современного узбекского литературного языка в рамках средневекового языка классической чагатайской литературы»<sup>26</sup>. Сторонники второй точки зрения отдавали предпочтение живым наречиям. Одни из них предлагали в качестве основы узбекского национального языка джекающие кыпчакские говоры, якобы охватывающие значительную часть населения; другие — сингармонистические говоры отдельных кишлаков, по той причине, что последние унаследовали органическую особенность тюркских языков — закон сингармонизма; третьи ратовали за параллельное существование всех узбекских диалектов в качестве устной и письменной нормы, дающее, по их мнению, возможность выделиться ведущему диалекту.

Представители обеих точек зрения игнорировали реальную историческую базу и конкретные условия развития литературной нормы. Если «чагатаисты» возвратом к средневековому состоянию стремились расширить сферу обращения литературного языка, то их «противники», наоборот, суживали ее и приближали к наречию, ограни-

<sup>24</sup> В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 165.

<sup>25</sup> А. К. Боровков, Узбекский литературный язык в период 1905—1917 гг., Ташкент, 1940, стр. 19.

<sup>26</sup> А. К. Боровков, Узбекский литературный язык, сб. «Язык и мышление», II, Л., 1934, стр. 79.

ченному в своем употреблении местно-диалектными нормами. Тем не менее до 30-х годов основа узбекского литературного языка определялась особенностями незначительного количества местных диалектов. Националистические и пантюркистские группы, стремясь провести свои языковые идеи, пытались «нормализовать» литературный язык только в соответствии с принципами сингармонизма. Однако попытки навязать узбекскому языку чуждые ему фонетические нормы полностью провалились.

В процессе совершенствования литературного языка в последующий период были отвергнуты и первый, и второй путь. Деятели узбекской литературы вместе со всеми передовыми слоями узбекского народа подвергли тщательному отбору литературно-языковое достояние прошлого, синтезируя ценные и устойчивые элементы старого литературного языка с живыми и наиболее распространенными формами ведущих диалектов. Примером такого синтезирования могут служить произведения крупнейших узбекских писателей и поэтов — Хамиды Алимджана, Гафура Гуляма, Айбека, Шарафа Рашидова, Парда Турсуна и прежде всего основоположника советской узбекской литературы Хамза Хаким-заде Ниязи.

Большое влияние на развитие узбекского языка оказывает русский язык. Введение в 1940 г. новой системы письма, основанной на русском алфавите, значительно облегчило усвоение орфографии языка и способствовало ликвидации неграмотности. Переход на новый алфавит позволил создать стройную систему орфографических правил и упорядочить написание отдельных слов. Новый алфавит явился также одним из решающих факторов культурного сближения узбеков с другими национальностями Советского Союза. Наконец, унификация письма на единой основе ускорила процесс усвоения русского языка как средства межнационального общения. Значение и важность проведенной реформы очевидны в свете тех колоссальных успехов, которых достигли народы Средней Азии за сравнительно небольшой промежуток времени.

Велико значение русского языка и для развития лексики. Благодаря русскому языку узбекский словарь впитывает в себя новые термины, советизмы и интернациональные слова, расширяет словообразовательные приемы и стилистические возможности. Так, например, исследования проф. А. К. Боровкова и проф. В. В. Решетова показывают, что за 18 лет (с 1923 по 1940 г.) количество советско-интернациональных слов в периодической печати увеличилось с 2% до 15%, в то время как употребление слов арабско-персидского происхождения упало с 37,4% до 25%<sup>27</sup>.

Влияние русского языка на узбекский в области фонетики, морфологии и синтаксической структуры предложения В. В. Решетов резюмирует в следующих пунктах: «1) появление нового типа слогов с двумя согласными в начале слога; 2) усвоение ряда типично русских звуков и четкой дифференциации звуков *л* и *ф*; 3) изменения в области ударения и усвоение в связи с этим природы русского ударения в его словоразличительной функции; 4) появление родовых окончаний (в фамилиях. — А. Щ.) и некоторых морфологических форм; 5) изменения в типах синтаксических конструкций...»<sup>28</sup>

Оформление единого литературного языка на основе синтеза литературно-языковых традиций прошлого и живых диалектных признаков при господствующей роли (в ходе дальнейшего сближения литературной и разговорной речи) ташкентского диалекта<sup>29</sup> и при благотворном воздействии русского языка определит истинный характер общенациональной языковой нормы<sup>30</sup>.

А. М. Щербак

<sup>27</sup> См. А. К. Боровков, Изменения в области узбекской лексики и новый алфавит (на основе русской графики), «Известия Узб. филиала АН СССР», Ташкент, 1940, № 7.

<sup>28</sup> См. В. В. Решетов, К вопросу об изучении узбекских народных говоров, стр. 503.

<sup>29</sup> По мнению В. В. Решетова, «... в основу узбекского национального языка должен лечь ташкентско-ферганский говор (ташкентский в фонетической своей части, а ферганский — в морфологической)» (В. Решетов, О диалектной основе современного узбекского литературного языка, газ. «Правда Востока», 23 IV 52).

<sup>30</sup> О развитии узбекского языка в новейший период см. статью Ф. К. Камалова «История становления и развития узбекского национального языка» (сб. «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке», Ташкент, 1952), стр. 50—58.

## РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Истоки татарской диалектологии восходят ко второй половине XIX столетия. Основателем ее был русский ученый А. Г. Бессонов, блестящий знаток многих тюркских языков и их диалектов. В работах А. Г. Бессонова впервые была сделана попытка дать классификацию основных диалектов и говоров татарского языка. Создавая свою классификацию, он опирался на лингвистический материал, имевшийся уже в то время в его распоряжении. Одновременно с ним в области диалектологии татарского языка работал и известный исследователь тюркских языков В. В. Радлов, интересы которого были направлены главным образом на изучение сибирских диалектов татарского языка.

Несколько позже, на рубеже XIX и XX вв., благодаря работам Н. Ф. Катанова о диалектах уфимских татар, С. Е. Малова о мишарских диалектах татарского языка и Г. Ахмарова о языке мишар, диалектология татарского языка значительно продвинулась вперед. Однако все упомянутые труды и исследования являлись лишь материальной базой для создания татарской диалектологии как самостоятельной области татарского языкознания, а дооктябрьский период изучения диалектов татарского языка был лишь подготовительным этапом в процессе оформления диалектологии как части татарского языкознания.

Таково в общих чертах развитие татарской диалектологии в досоветский период.

Татарская диалектология начала быстро развиваться после Октябрьской революции. Большой интерес к изучению татарского языка и его диалектов был вызван широким размахом развития татарской культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию.

Инициатором создания татарской диалектологии в послеоктябрьский период был покойный член-корр. АН СССР проф. В. А. Богородицкий. Он глубоко изучил татарскую речь на материале живого разговорного языка и впервые дал научную характеристику татарского языка. В этом отношении особенно большого внимания заслуживают его работы по фонетике татарского языка. В. А. Богородицкий, будучи знатоком русской диалектологии, сумел поставить также и основные вопросы татарской диалектологии. В его трудах «Введение в татарское языковедение в связи с другими тюркскими языками» и «Этюды по татарскому и тюркскому языковедению», вышедших в 1933, 1934 гг., вопросы татарской диалектологии рассматриваются с точки зрения сравнительно-исторического изучения всех тюркских языков. К сожалению, В. А. Богородицкому не удалось осуществить более глубокое изучение диалектов татарского языка путем организации специальных экспедиций.

В 1929 г. под руководством заслуженного деятеля науки Тат. АССР проф. Н. И. Воробьева была организована комбинированная экспедиция к нукратским татарам, в процессе работы которой были собраны значительные материалы по их говору. Это — первая диалектологическая экспедиция, организованная в советское время. В 1934—1935 годах под руководством ныне покойного доц. Ш. А. Рамазанова были организованы языковедческие экспедиции с целью изучения степени доступности современного татарского литературного языка для колхозной массы. Одновременно эти экспедиции обогатили татарскую диалектологию и новыми диалектологическими материалами.

Стимулом к развертыванию исследований по диалектам татарского языка явилось также и то, что полноценная подготовка преподавателей татарского языка для средних школ не могла осуществляться без чтения специальных курсов по диалектологии. Борьба за внедрение литературных норм в школах была теснейшим образом связана с четким осознанием различия литературных и диалектных элементов. Это привело к необходимости введения в учебный план татарского отделения высших учебных заведений курса диалектологии татарского языка.

Первая попытка в этом направлении была сделана еще в 1929 г., но она не имела большого успеха, так как диалектные материалы по татарскому языку не были накоплены, а следовательно, не было и материальной основы для построения курса. Но в 1938/39 учебном году по указанию Министерства просвещения РСФСР в учебный план татарского отделения Казанского пединститута был введен курс татарской диалектологии как самостоятельной дисциплины. С этого момента перед татарским языкознанием встала новая задача — создать курс татарской диалектологии. В 1939 г. под руководством проф. М. А. Фазлуддина развернулась большая работа по изучению диалектных особенностей татарского языка в первую очередь в пределах Тат. АССР путем экспедиционных выездов, и в течение последних 15 лет (1939—1953) ведется уже непрерывная систематическая научно-исследовательская работа в этой области. Само собой разумеется, что, ограничиваясь лишь данными диалектов, находящихся на территории Татарской республики, невозможно создать полноценного описания всех диалектов татарского языка. Необходимо было развернуть работу и за пределами Та-

тарии. Поэтому с 1948 г. силами Казанского университета под руководством покойного доц. Р. А. Хакимовой была начата работа по изучению особенностей мишарского диалекта.

Попутно нужно сказать несколько слов о методах нашей диалектологической работы и прежде всего отметить то, что татарская диалектология по существу является детищем русской диалектологии. Все методы работы, применяемые в татарской диалектологии, заимствованы из богатого опыта русских диалектологов. Тот этап, который прошла за последние 15 лет татарская диалектология, мы могли бы назвать этапом диалектографического изучения. При этом нельзя думать, что этот период был лишь периодом сбора и фиксации сырого диалектологического материала. Как известно, диалектографическая работа не может быть осуществлена без систематической камеральной обработки собранных материалов и без предварительных научных выводов. Поэтому мы с первых же шагов нашей собирательской работы одновременно занимались камеральной обработкой диалектных материалов и попытались сделать некоторые предварительные научные выводы.

Теперь коротко остановимся на наших методах собирания диалектологических материалов. Основным методом нашей работы является метод экспедиционного изучения диалектов по определенным, заранее спланированным маршрутам. За период с 1939 по 1952 г. в пределах Татарии было организовано всего 9 экспедиций, в которых приняли участие 106 человек. Экспедиции провели работу в 550 населенных пунктах (всего в Татарии насчитывается 2100 татарских сел и деревень). Кроме того, в 1940 г. нами был составлен и напечатан «Вопросник» по татарской диалектологии, который мы разослали учителям на местах и получили почти все экземпляры обратно в заполненном виде. Нужно заметить, что эти вопросники дали весьма ценный материал и послужили источником для уточнения и подтверждения наших материалов, собранных путем экспедиции. С 1945 г. мы начали широко привлекать учителей-заочников для сбора диалектологических материалов в отдельных населенных пунктах, давая им соответствующие задания. Этот метод вполне оправдал себя. Во-первых, он приучил студента-заочника к самостоятельному изучению фактов живого языка. Во-вторых, материалы контрольных работ дали нам сведения о говоре некоторых населенных пунктов. И, наконец, этот метод привлек многих учителей в качестве корреспондентов, которые связывали наш диалектологический центр с периферией.

В 1948 г. впервые в практике татарской диалектологии мы провели анкетный опрос жителей каждого населенного пункта в пределах Татарии. Полученные данные позволили нам уточнить изоглоссы различных языковых явлений.

В итоге всех вышеуказанных мероприятий татарская диалектология получила значительный фонд диалектологических материалов. Последние свидетельствуют об изобилии фонетических, грамматических и лексических расхождений в наших говорах, о многообразии в них архаических форм. Можно было бы привести очень много примеров, свидетельствующих о древнейших корреспонденциях отдельных звуков в тюркских языках. Так, например, звук *жс* (*дяс*) даже в пределах Татарии корреспондирует со звуками *яжс* (смягченный *жс* с призвуком *я*), со звуком *й*, с чистым *я* и с аффрикатой *дз*, например, лит. *йук* «вет» в некоторых говорах произносится как *вжук*, *дзук*, *зук*; если же мы обратимся к другим диалектам, например к диалектом сибирских татар, то найдем, что в ряде слов этот же *жс* (*дяс*) заменяется звуком *ч*, например: *чамали* вместо лит. *жамали*. Подобное же явление наблюдается и в других тюркских языках, например, проф. И. Ф. Катаров приводит такие соответствия: казан. тат. *жсир* «земля», турецк. *аир*, урнх. *чир*, якут. *сир*.

Факты живого татарского языка показывают, что в нем имеются мягкие согласные. Это особенно убедительно подтверждается произношением звука *л* в словах *югалтма* «не потеряй», *югалды* «потерялся» и т. д.<sup>1</sup> В татарском языке имеется и смягченный заднеязычный *т'* (*ты*), т. е. звук, близкий русскому *т* в слове *пять*. В некоторых диалектах слово *чаршау* «занавес» произносится как *т'аршау*, где звук *ч* переходит в смягченный *т'*. Татары нагорного говора слово *айт* произносят как *айт'* (*айть*), где *т* смягчается и произносится как русский звук *ть* (*мать*). Далее нужно обратить внимание на произношение звука *к* представителями различных диалектов татарского языка. Например, в артикуляции мишарей звук *к* произносится почти как русское *к*. Отсюда мишари слово *Каван* произносят точно так же, как русские. Представитель же среднего татарского диалекта это слово произносит *К'аван*, т. е. с глубокозаднеязычным звуком *к*, которого нет в русском языке. Таким образом, в языке казанских татар имеется, по существу, три варианта *к*: глубокозаднеязычный *к*, заднеязычный *к*, который близок к русскому *к* (например, в словах *колкас*, *карта*), и смягченный *к*, который произносится в словах *кирек* «надо», *кирте* «привнеси» и т. д.

При этом нужно заметить, что в языке мишарей наблюдается тенденция к активизации смягченного *к*. Они, например, лит. *кюйма* «забор» произносят как *кима*. Этот процесс, по-видимому, органически связан с оканьем и аканьем в диалектах татарского языка. Так, в языке казанских татар, сохраняющем глубокозаднеязычный

<sup>1</sup> Звук *л'* имеется также в западном диалекте татарского языка.

къ, сильно чувствуется оканье (например, *къара* «черный» и т. д.). Мишари же, у которых звука *къ* нет, акают; то же слово они произносят как *кара*, иначе говоря, с чистым широко открытым *a*.

Можно было бы здесь привести ряд других фактов диалектального порядка, каждый из которых в той или иной мере является живым материалом, указывающим на диалектные различия в фонетике татарского языка.

В диалектах татарского языка имеется также большое количество морфологических расхождений, на перечисление которых потребовалось бы много места и времени. Скажем лишь о некоторых наиболее характерных из них.

В тексте древнетюркского памятника в честь Кюль-Тегина (VIII в. н. э.) во фразе *кабан учтукда* «когда скончался каган; в момент смерти кагана» форма *учтукда* является дееспричастием настоящего времени. Эта форма дееспричастия употреблялась и в древних письменных памятниках татар, но теперь она уже давно вышла из литературного употребления и сохранилась только в диалектах, например в языке нукуртских татар, которые говорят *беа белдектэ* «когда мы знали» и т. д.

Аналогичным архаизмом приходится считать и употребление представителями нагорного говора некоторых форм глагола изъявительного наклонения вместо причастия прошедшего времени, например, *беа бардык иде* «мы ходили»; в литературном же языке этой форме соответствует: *беа барган идек* «мы были ходившими» или, точнее, «были в состоянии хождения». Нужно заметить, что форма *бардык иде* буквально: «ходили были» семантически более точна, чем причастие *барган идек*, но в традиции литературного языка последние утвердилась в качестве основной. При пересмотре существующих норм современного литературного языка целесообразно было бы активизировать формы, подобные *бардык иде*, как более точные. Как видим, изучение диалектов позволяет шире и глубже понимать формы языка в целом.

Лексические материалы диалектов дают еще более характерные факты. Например, сейчас нами окончательно установлено, что понятие «дом» в пределах самой Татарии имеет тройное обозначение: а) *йй* «дом», б) *йорт* «дом», в) *ызба* (из русск. *изба*) «дом». Изогlossen распространения этих слов представляют значительный интерес для истории татарского языка. Так, например, слово *ызба* идет с запада и употребляется в нагорном говоре, но против с. Тетюш переходит на левый берег Волги и идет довольно широкой полосой от г. Куйбышева до Бавлинского района. Причем слово *ызба* в татарский язык вошло через мишарей, предки которых (т. е. половцы или куманы) еще в XI—XII вв. заимствовали его из русского языка.

До последнего времени среди специалистов татарского языка было принято считать, что наслоение русского лексического материала в татарском языке характерно лишь для мишарского диалекта. Данными диалектологии этот взгляд опровергается. Проникновение русских слов в диалекты татарского языка довольно сильно чувствуется даже в таких уголках Тат. АССР, как Мензелинский, Калининский и другие районы, где татарское население меньше всего соприкасалось с русскими. В говоре мензелинских татар мы находим следующие заимствования: *чыла* «сила», *ичнач* «снасть», *качтур* «костер» и т. д. Звуковой облик этих слов свидетельствует о том, что они были заимствованы очень давно.

Многие слова-диалектизмы могли бы быть с успехом активизированы в литературном употреблении. Такие слова можно найти почти во всех татарских диалектах. Например, понятие «дешево» выражается словом *очсыз*, а в литературном языке до сих пор по традиции сохраняется персидское слово *араан*, которое в разговорном татарском языке очень мало употребляют. Понятие «постоянно», «всегда» в татарском литературном языке по традиции передается арабо-персидскими словами *наман*, *хорвакыт*, а в разговорном языке — словом *отыры* «постоянно». В литературном татарском языке понятия «сейчас» и «готовый» передаются одним словом *хэзер*. Например, русскую фразу «Мы сейчас готовы идти на работу» на литературный татарский язык переводят *Беа хэзер эшкэ китэргэ хэзер*, а в разговорном языке этой фразе соответствует *Беа хэзер эшкэ китэргэ эзер*, иначе говоря, в разговорном языке слову «сейчас» соответствует *хэзер*, а слову «готовый» — *эзер*. В словарном составе татарского языка не имеется слов для того, чтобы адекватно передать значения русских слов *горький* и *кислый*. До сих пор еще в литературном языке эти два понятия передаются одним словом *ачы*. В диалектах эти понятия дифференцируются: «горький» — *ачы*, а «кислый» — *аче*. Можно привести целый ряд примеров, показывающих, что в диалектах имеется очень много слов, которые могут быть использованы в литературном языке.

Нужно также обратить внимание на тот факт, что изучение живого языка, на котором говорят сейчас широкие массы народа, дало нам возможность найти пути к установлению основных орфоэпических норм татарского языка, которые до сих пор находились в забвении и никем не изучались. Теперь имеется уже разработанный проект основных норм орфоэпии татарского языка<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> См. «Основы орфоэпии татарского литературного языка», Казань, 1953 [на татар. языке].

Итак, в течение 15 лет татарская диалектология превратилась в самостоятельный раздел татарского языкознания, имеющий большое практическое и научное значение. Достижения татарской диалектологии отразились и в ряде изданий. К ним относится прежде всего пособие по татарской диалектологии, изданное Татгосиздатом в 1947 г.<sup>3</sup> Несмотря на то, что это пособие явилось лишь первым опытом построения курса татарской диалектологии, оно послужило основой для подготовки кадров молодых диалектологов татарского языка. Разумеется, это пособие в настоящее время нуждается в переработке, так как татарская диалектология теперь уже располагает новыми диалектологическими материалами для уточнения границ диалектов и говоров татарского языка.

В 1948 г. впервые в истории татарской диалектологии был издан «Диалектологический словарь татарского языка»<sup>4</sup>, представляющий собой первый опыт татарской диалектологической лексикографии. В 1953 г. издан второй том этого же словаря. Несмотря на значительные недостатки, эти словари служат сейчас необходимым пособием для преподавателей татарского языка, а также для писателей и лингвистов, так как в них зафиксированы значительные синонимические богатства татарского языка.

Одним из существенных достижений татарской диалектологии является то, что в настоящее время уже установлены основные диалекты и говоры татарского языка, определены их границы. Средний диалект на территории самой Татарии подразделяется на три группы говоров, во многом отличающиеся друг от друга: мензелинскую, заказанскую и нагорную. Все эти группы в свою очередь распадаются на более мелкие языковые диалектные подгруппы, например заказанская и нагорная группы каждая распадается еще на три подгруппы.

Таким образом, диалектное членение татарского языка весьма сложно, и эта сложность в основе своей отражает своеобразие исторического процесса формирования самого татарского народа. Характерным является тот факт, что границы диалектных групп в ряде случаев совпадают с территорией распространения эпитафических памятников болгарско-татарского периода. Например, советскими археологами установлено, что надгробные камни с формой *дэшит дэсур* (700-й год гиджры) имеются лишь в районах Прикамья. Этот же факт подтверждается наличием джоканья в древнебулгарском языке, который был распространен на территории Камской Булгарии.

В заказанской группе говоров до настоящего времени сохраняются наслоения древнебулгарско-чувашского диалекта. Известно, что в булгарский период существовало два больших диалекта. Отличительными чертами их являлись звуки *к/х*: булгары произносили *кыя* «девушка», а чуваша *хыр* «девушка». Заказанский говор и сейчас отличается предпочтением звука *к* звуку *х*, например, здесь говорят *катын* вместо *хатын* «жена», *кышы* вместо *хышы* «хорошо», *касер* вместо *хасер* «сейчас», *калык* вместо *халык* «народ»<sup>5</sup>. При этом выше отмечалось, что в языке заказанского населения звук *к* является более архаичным, более глубоководнеязычным, т. е. более сохранившим древнюю артикуляцию, чем в других диалектах. Данные этнографии татар, разработанные в последние полтора десятилетия проф. Н. И. Воробьевым, также подтверждают устанавливаемое нами диалектное членение татарского языка.

Огромное значение для дальнейшего развития диалектологии татарского языка имела работа И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», которая дала возможность сделать теоретические обобщения в области диалектологии, нашедшие свое выражение в ряде монографий, посвященных изучению диалектов татарского языка. К ним относятся следующие работы (диссертации, защищенные в Москве, Ленинграде, Казани): Н. Бургановой «Нукрат-кистимский говор», Л. Дмитриевой «О языке барабинских татар», Л. Махмутовой «Особенности касимовского говора татарского языка», Д. Сармановой «Язык среднеуральских татар», Д. Тумашевой «Язык тюменских татар», Р. Шакировой «Говоры татар Краснооктябрьского района Горьковской области», А. Юлдашева «Язык тептирей».

Эти исследования способствовали разрешению многих вопросов татарской диалектологии. Например, до диссертации Л. Махмутовой вопрос о принадлежности говора касимовских татар к среднему диалекту был неразрешенным. Теперь он решен в положительном смысле. В диссертации Н. Бургановой была доказана принадлежность говора карино-глазовских татар к среднему диалекту. Выводы обеих названных работ расширили понятие «средний диалект татарского языка» как в территориально-географическом, так и в языковом отношении.

Несмотря на некоторые успехи, достигнутые татарской диалектологией за советский период, она еще разработана весьма слабо. Например, до сих пор считается, что

<sup>3</sup> Л. З а л я й, Татарская диалектология, Казань, 1947 [на татар. языке].

<sup>4</sup> «Диалектологический словарь татарского языка», вып. I, Казань, 1948 [на татар. языке] (вып. II — Казань, 1953).

<sup>5</sup> Форма *калык* употребляется у крещеных татар.

татарский язык состоит из трех больших диалектов, с говорами и подговорами. Но это теоретическое положение соответствующими языковыми фактами пока не подтверждено. Недостаточно еще изучен западный диалект татарского языка, хотя представители этого диалекта занимают большую территорию. Язык татар, живущих в Башкирии, также мало изучен, их диалектная принадлежность не определена. Все это говорит о том, что дело изучения и сбора языковых материалов у нас организовано плохо.

В настоящее время перед татарской диалектологией стоит ряд новых важных задач; к числу их нужно отнести такой актуальный вопрос, как борьба за высокую грамотность и культуру речи школьников, который также не может быть решен без учета диалектных данных. Еще более велико значение диалектологии для разработки истории народа и его языка, так как диалектологические материалы являются одним из самых достоверных источников для изучения истории языка и для построения курса исторической грамматики.

Итак, изучение диалектов татарского языка является органической частью татарского языкознания, оно дает богатейший материал для разработки как самой истории татарского народа, так и истории его языка и литературы.

Л. З. Залляй

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Украинско-русский словарь. Т. I. А.—Журі. Гл. ред. И. Н. Кириченко.— Киев, Изд-во АН УССР, 1953. XXXI, 508 стр.

Лексикографическая работа в нашей стране вышла далеко за рамки узко филологических, чисто академических интересов. Хорошо составленные словари, особенно переводные русско-национальные и национально-русские, становятся важным фактором в развитии социалистической по содержанию и национальной по форме культуры, содействуют братскому единению языков народов Советского Союза. Выдающимся событием в культурной жизни Украинской ССР является выход в свет первого тома «Украинско-русского словаря», изданного Институтом языкознания АН УССР. Кодифицируя богатейшие лексические сокровища украинского языка, словарь удовлетворяет живым общественным потребностям культурного строительства и безусловно послужит делу повышения культуры речи в школе и в деловой переписке, в прессе и радиовещании, в науке и литературе. Вместе с тем словарь поможет украинцам глубже овладеть великим русским языком и даст возможность познакомиться с украинским языком русским и представителям других народов нашей родины, для которых русский язык стал вторым родным языком.

Новый украинско-русский словарь — большое достижение украинской языковедческой науки. Прежде всего следует отметить, что это — самый полный из всех существующих словарей украинского языка: первый том (буквы А—Ж) содержит в себе около 25 тыс. слов, тогда как в лучшем дореволюционном словаре украинского языка, составленном Б. Гринченко, их было всего 15 тыс. на те же буквы (включая многие архаизмы и узкие диалектизмы, не помещенные в настоящий словарь). Новый словарь дает верную картину словарного состава современного украинского литературного языка, широко охватывая, с одной стороны, классическое языковое наследие, а с другой стороны — многочисленные лексические новообразования, которыми обогатился украинский язык в процессе своего бурного развития после Великой Октябрьской социалистической революции.

К достоинствам словаря нужно отнести и то, что он правильно отражает тенденцию к сближению украинского языка с русским. Восходя к одному общему источнику, эти два братских языка на протяжении столетий развивались в тесной взаимосвязи; особенно усилилось благотворное влияние русского языка на украинский после исторического акта воссоединения Украины с Россией в 1654 г. В рецензируемый словарь впервые помещен целый ряд слов, издавна обших обоим языкам, которые по тем или иным соображениям не включались в предшествующие словари, а также новые заимствования из русского языка и аналогичные образования, особенно в области общественно-политической и научно-технической терминологии. Вместе с тем в словарь не включены иноязычные заимствования, бытовавшие в отдельных украинских говорах, но не вошедшие в литературный язык, вроде фигурирующих в словаре Гринченко слов: *баброш*, *барнавий*, *бетегга*, *бизувати* (мадьяризмы), *баталег*, *букат*, *бурдей*, *буток* (румынизмы), *банкас*, *бефель*, *блиндар*, *бретналь* (германизмы), *белька*, *бібула*, *брам*, *бреверія* (полонизмы), *бавала*, *бірмак*, *брундук*, *бузлук* (тюркизмы) и т. п. Другие заимствования унифицируются с русскими: *баул*, *бакенбарди*, *вакханалія* вместо прежних *баула*, *бакомпарт*, *бакханалія*. Многие одинаково звучащие слова унифицируются с русскими по смыслу, теряя прежние различные значения. Так, слово *банда* раньше означало «гурьба, группа», *бандаж* — «лента», *боти* — «доски для лодок», *бура* — «бурление воды», *буян* — «упрямый вол». Теперь эти слова употребляются в тех же значениях, что и в русском языке.

Наконец, необходимо отметить, что новый словарь построен на научной основе с учетом новейших достижений советской лексикографии. В нем сделана первая попытка дать стилистическую характеристику всего словарного состава украинского языка, определить сферу употребления и экспрессивные оттенки разных слов и оборотов (в «Русско-украинском словаре» 1948 г. стилистические пометы в украинской части даются непоследовательно). Значения и оттенки значений слов иллюстрируются в боль-



шинстве случаев литературными цитатами. Словарь снабжен достаточным грамматическим аппаратом. Большое внимание уделено составителями вопросу регламентации акцентологической нормы украинского языка. Можно без преувеличений сказать, что рецензируемый словарь означает большой шаг вперед по сравнению с прежней украинской лексикографической продукцией.

Само собою разумеется, что работа такого широкого размаха не может быть свободной от ряда недосмотров и огрехов, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что во многих случаях составителям приходилось идти непроторенными путями, строить на голом месте, не имея возможности опереться на предшествующую лексикографическую традицию. Составителям словаря можно предъявить целый ряд упреков и относительно полноты словника, и относительно отображения стилистической дифференциации, и по разработке отдельных словарных статей, и по обоснованию и документации тех или иных значений слова.

Начнем с полноты словника. Словарь, как сказано в предисловии (стр. XVII), дает «все актуальные слова современного украинского литературного языка». Конечно, иногда бывает довольно трудно определить относительно актуальность того или иного слова в общем словарном составе языка, и в лексикографической практике нередки случаи, когда из слов, в равной мере актуальных или неактуальных, одни включаются в словарь, а другие нет. Почему, например, в данном словаре есть слова *агава* и *авалия*, но нет слов *араукарія* и *гледичія*? Почему есть *авар* и *анчи*, но нет *гагауз* и *аланц*; есть *волегар* и *Жегулі* (кстати, более распространено написание *Жигулі*), но нет *дніпряк* и *Бескиди*; есть *борей*, но нет *аквilon*; есть *вірник* и *вродливиця*, но нет *вірниця* и *вродливець*? Правда, быть особенно придирчивым здесь не приходится, поскольку речь идет преимущественно о периферийных слоях лексики и легко образуемых производных.

Более серьезные претензии можно предъявить к словарю за пропуск многих слов, широко употребляющихся в газетном языке и популярной социально-политической литературе. Мы не найдем в нем, например, таких слов, как *антиамериканський*, *антидерзавский*, *антипатриот* (и производные *антипатриотам*, *антипатриотичний*), *багатопартійність*, *безбуржуазність*, *безгласовість*, *бежкомпромiсний*, *всеевропейський*, *держдепартамент*, *дискримінаційний*, *добросусідство*, *доларовий*, *домінування*, *доовбразня*, *експансіоніст*, *декадентщина*, *директивщик*, *атомщик* и т. д. Не поспевает словарь и за регистрацией новообразований, возникших для обозначения новых явлений в общественной жизни, технике, в быту советских людей. В словарь не вошли, например, такие слова, как *артілець*, *бакшеник*, *вічарниця*, *автодорожний*, *авторемонтний*, *автоінспекція*, *держконтроль*, *автодогня*, *агроінструктор*, *драмгуртківець*, *емтесівський*, *емка*, *газик*, *бензовов*, *бензоколонка*, *движок*, *артезіан*, *десятипілка*, *доцувати* и др.

Далее, в словаре отсутствуют многие слова, встречающиеся в произведениях украинских советских писателей: *безмір'я*, *безпліддя*, *верхогір'я*, *відволікатися*, *глибочина*, *грубишати*, *дешевинка*, *дівочість*, *житніяка*, *життєлюб* (М. Рильский); *байднішати*, *брязкуний*, *виднокіл*, *вістити*, *вірчавий*, *вгнідище*, *двигтючий*, *дітланиця* (М. Вакаш); *бджіліник*, *бетонувальник*, *великопанський*, *водогін*, *голубар*, *густевий*, *дичавина*, *жінюцький* (Ю. Смолиць); *безпроглядний*, *бруковиця*, *відбрикуватися*, *в'юнливий*, *дивакуватий*, *дриготіти*, *гуцавінь*, *живоїд*, *жнивнище* (О. Гончар) и многие другие.

Мы произвели только частичную выборку слов из произведений четырех упомянутых авторов и обнаружили свыше 600 лексических единиц, пропущенных новым словарем. Допускаем, что некоторая часть их сознательно и, быть может, не без оснований отвергнута составителями, но относительно большинства слов невольно направляется предположение, что они просто случайно не попали в картотеку. Речь идет здесь не об индивидуальных неологизмах писателей (их мы оставляем в стороне), а о словах общелитературного языка. Ведь даже если слово встречается только у одного какого-то автора, это еще не значит, что оно обязательно является его индивидуальным новообразованием и поэтому не заслуживает внимания лексикографа. Это слово может быть как раз весьма распространенным в устной речи, известным и понятным всем говорящим на данном языке, но оно почему-либо игнорируется писательской массой. Однако достаточно какого-то толчка — и слово находит повсеместное признание, проникая в самые разнообразные стилевые и жанровые разновидности литературного языка. Весьма поучительна в этом отношении история украинского слова *відлунювати*. Впервые употребила его М. Вовчок, слышавшая это слово, несомненно, из уст народа. Долгое время оно было уникалом, и только в последнее десятилетие, буквально на наших глазах, это слово получило широчайшее распространение в литературном языке; сейчас трудно уже найти автора, который бы его не употребил. Было бы неправильно объяснять подобный успех одной только «модой»; решающую

роль сыграли здесь стилистически-экспрессивные свойства слова *відлунювати*. Оно выразительнее и точнее, чем многозначные *відбиватися* или *віддавати*, короче и не менее понятно, чем словосочетания *битися луною*, *віддаватися луною*. Кроме того, оно обладает большими словообразовательными потенциями. В словаре уже зафиксированы такие производные от него, как *відлуння*, *відлунюк*. К ним можно прибавить еще *відлунюватися*, *відлунювання*, *відлунний*.

Словарь должен не только регистрировать то, что давно вошло в литературный язык и уже окончательно отстоялось в нем, но также популяризировать те новые лексические элементы, которые вырастают органически из наличного языкового материала, оформляясь по типовым продуктивным словообразовательным моделям согласно внутренним законам развития языка — элементы, являющиеся по своим семантико-стилистическим свойствам жизнеспособными и перспективными, способствующие усовершенствованию и обогащению языка.

Украинская фразеология представлена в словаре значительно полнее, чем в «Русско-украинском словаре» 1948 г., однако, по нашему мнению, все еще недостаточно. Под словом *душа*, например, приведено 14 оборотов, что далеко не исчерпывает относящихся сюда фразеологизмов. Конечно, невозможно (да и не нужно) помещать в словарь все сто с лишним оборотов с этим словом, но вместо общих для обоих языков фразеологизмов (*душа в душу*, *ні душі*, *кривити душею*) полезнее было бы дать в переводном словаре идиомы, представляющие большие трудности для понимания и перевода (*щира душа*, *виймати душу*, *мліти душею*, *поривати душу* и т. д.). Не находим мы в новом словаре и таких распространенных оборотов, как *увірвався бас*; *хвіст бульбюком*; *будьмо*; *не в ті взувся*; *тихо, як у вусі*; *взяти волю*; *аж гай шумить*; *і тут варяче*, *і там боляче*; *по саме годі*; *не туди стежка в горах*; *аби день до вечора*; *не діждеш*; *ажу дрантя летить*; *жати на один сніп*; *нагнати жезу* и т. п.

Отметим кстати, что алфавитный порядок размещения фразеологических оборотов не очень удачен, так как он приводит к разрыву соотносительных образований (близких по содержанию или, наоборот, антонимичных). Так, например, обороты *вилаяти на всі боки* и *розгулятися на всі боки* разделены друг от друга 50 строками, *негативний бік* и *позитивний бік* — 7 строками. Целесообразнее было бы группировать их по форме словосочетания, базируясь на грамматической форме ведущего слова (существительные — по падежам и предлогам; глаголы — сначала без дополнений, потом с дополнениями и обстоятельствами, с учетом грамматических форм этих последних и типов синтаксической связи).

Отмеченные нами пропуски говорят о том, что при переиздании в первый том словаря нужно будет внести дополнительно не менее тысячи слов и выражений. Могут возразить, что этого не позволяют сделать размеры книги. Но, во-первых, лишних 1—2 листа не составят ощутительной разницы. Во-вторых, словарь можно без всякого ущерба немного разгрузить за счет некоторых лишних иллюстраций (примеры на термине и номенклатурные слова, примеры-дублиеты на одинаковое словоупотребление) и главным образом за счет балластного материала из «перевернутого» русско-украинского словаря. Было бы ошибкой считать, что украинско-русский словарь должен обязательно содержать в себе полностью всю украинскую часть русско-украинского словаря, вплоть до парафраз и толкований тех русских слов, для которых в украинском языке нет однословных соответствий. Это относится, конечно, к любым двум языкам, для которых составляются дифференциальные словари. Нет никакой надобности давать под словом *буланый* словосочетаний *робитися*, *зробитися* (*ставати*, *стати*) *буланым* с русским переводом «делаться, сделаться буланым (саврасым, соловым, каурым)», «соловеть, посоловеть». Однако именно так поступили составители рецензируемого словаря, включив в него множество подобных псевдофразеологизмов: *почати ганити*, *почати верати*, *почати говорити дотепи*, *кінчити голити*, *коли-не-коли боувати*, *почом болити*, *жити частенько*, *трохи відкривати*, *дуже дорогий*, *бути бабієм*, *бути дужее поширеним*, *бути надто строкатим*, *який (що) вийшов в ужитку*, *людина*, [від] *якій всі віддуралися* и т. п. Иногда такие описательные обороты выступают в словаре даже в роли терминов, например: *аматор полювання в хортами* (охотн.) «блорзятини»; *волова і хребет красної риби* (кул.) «головизна». Издаваемые в последнее время двуязычные словари обычно не пользуются этим приемом.

Большая работа, как уже упоминалось, проведена составителями в области стилистической характеристики слов, что вместе с грамматическим аппаратом и указаниями на ударение и произношение является основным орудием нормативной регламентации лексики. Нормативный словарь обычно противопоставляется словарю-справочнику; не углубляясь здесь в вопрос о правомерности такого противопоставления, отметим только, что, в отличие от краткого словаря с установкой на активную нормализацию современного литературного языка, в большом словаре современного языка с широкой исторической перспективой (с охватом важнейших языковых явлений классического наследия) нормативность достигается не столько включением или не

включением в словарь определенных слоев лексики, сколько последовательным применением научно разработанной системы классификации слов по сферам употребления.

Этот ответственный и интересный участок лексикографической работы таит в себе немалую опасность субъективной интерпретации языковых фактов. В самом деле, одни и те же слова общенародного языка могут получать различную экспрессивную окраску и вызывать различную стилистическую оценку со стороны разных субъектов в зависимости от их социального положения, воспитания, вкусов, привычек и т. д. Человеку, получившему слишком пуританское языковое воспитание, могут казаться вульгарными слова, воспринимаемые большинством просто как разговорные или фамильярные. Тот, кто не сталкивался в своем речевом обиходе с определенными словами и выражениями, склонен иногда считать их редко употребляемыми или даже провозгласить их выдуманными, несуществующими. Лексикограф, который «по долгу службы» имеет более широкую языковую практику (обычно опосредствованную), чем большинство членов языкового коллектива, призван закрепить в нормативном словаре социальную оценку разных лексических элементов, объективно воспроизвести их стилистическое расслоение. При этом он должен руководствоваться не только собственным «чувством языка», хотя без тонко развитого чувства языка словарник немислим. Прежде чем охарактеризовать то или иное слово как областное, устаревшее, редкое, вульгарное и т. д., лексикограф должен провести кропотливую работу, тщательно изучить возможно большее количество случаев употребления данного слова во всех разновидностях письменной и устной речи, для чего необходима богатая, разносторонняя, хорошо документированная картотека.

В рецензируемом словаре наряду с правильными стилистическими оценками слов имеется немало спорных, а то и явно неверных характеристик, данных без достаточных оснований, без глубокого системного анализа соответствующих явлений. Слова одного и того же стилистического слоя нередко относятся составителями к разным категориям в зависимости от источника, откуда слово попало в словарь. *Беркиць* и *беркицьнута* помечены как областные слова, потому что примеры взяты из сказок Рудченко и словаря Гринченко, а *беркицьнутися* — как разговорное, потому что пример — из Смолыча. *Відвичаювати* характеризуется как областное слово, потому что взято из произведений Кобылянской, а слово *відвичаюватися* дано без пометы, следовательно, рассматривается как стилистически нейтральное слово литературного языка, так как встречается в переводе из Пушкина. Неизвестно, почему отнесены к диалектам слова *бемір, виціт, тиріст, відаримувати, відгорнути (скибу), гаддя, гострак, ванпяр* и даже *батир*.

Злоупотребляют составители и пометой «редко». В словаре Ушакова она относится к словам, которые употребляются «...редко, потому именно редко, что литературный язык их избегает»<sup>1</sup>, — следовательно, низкая абсолютная частота употребления определенного слова не может еще служить основанием для зачисления его в раритеты. Слово *весняно* в самом деле встречается редко, но не потому, что его «избегает» литературный язык, а потому, что вообще большинство наречий употребляется гораздо реже прилагательных, от которых они образованы (ср. *сліпий, червоний* и *сіно, червоно*). Спорным представляется нам отнесение к редким и таких слов, как *борня, бридота, брязк, булькіт, веселчастий, видмухувати, виплід, виплеск, відплющувати, вітрик, ворухлигий, габання, дбайлі, днями, догоювати, дрібчастий*. Вместе с тем без всякой пометы оставлены такие действительно редкие и устаревшие слова, как *вибачний, вимисливий, дожиття, бест, бойовизм, безгласний, военачальствувати, благодуществувати* и им подобные.

К категории разговорных без достаточных оснований причислены в словаре слова *вимірювач, відтулина, гортати, гомін, годівельний, дтячість, воластість, в'язний*, далее устаревшее *живати*, областное *гойний*, поэтическое *вістун* и некоторые другие. Пусть *воластий, в'язи* — действительно разговорные слова, но значит ли это, что все производные от них тоже автоматически переходят в разряд разговорных? В слове *воластість* нейтрализующе действует характерный преимущественно для «книжных» образований суффикс; слово *в'язний* употребляется главным образом в сочетании *в'язний хребець* («шейный позвонок») и в этом терминологическом употреблении лишается разговорного характера. Слово *годівельний* отнесено к этой категории, по-видимому, по той причине, что переводится разговорным русским словом *кормежный* (ср. разговорный характер слов *кормежка, бомбежка*); между тем укр. *годівельний* стоит в одном ряду с такими нейтральными образованиями, как *будівельний, купівельний, торгівельний*. Русский глагол *листать* действительно является разговорным по отношению к *перелистывать*, но этого нельзя сказать относительно укр. *гортати*, которое употребляется без всякого оттенка разговорности и притом значительно чаще, чем *перегортувати*.

Акад. В. В. Виноградов в своей рецензии на «Русско-украинский словарь» (М., 1948) совершенно справедливо указывал: «Не надо думать, что при близости и тесной

<sup>1</sup> «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, т. 1, М., 1935, стр. XXVI.

взаимосвязи двух языков, например русского и украинского, при сродстве их строя, создание дифференциального или переводного словаря этих языков является делом очень простым, предприятием научно-техническим. Напротив, опасность схематизации и упрощения тонких смысловых различий между такими языками особенно велика<sup>2</sup>. Различными могут быть также стилистические характеристики общих обоим языкам слов даже при тождественной семантике. Стилистически нейтральные литературные слова одного языка порой выступают в другом в качестве фамильярных, областных, устаревших, редких и наоборот. Ср. русские *ветрило, вечеря, вкупе, ворог, брезать, девчата, дюже, кликать, кресать, пропозиция, хворый, видеть, воздух, враг, гладать, топор* и соответствующие украинские слова. В новом словаре это явление в отдельных случаях не учитывается, и к некоторым украинским словам механически прилагаются стилистические пометы их русских соответствий. Украинские слова *бороти, гнізливий, губань* квалифицируются по аналогии с русскими как устаревшие, *жантильний, жантильничати* — как разговорные (в русском языке они действительно были некогда разговорными). *Дрібняки* (с русским переводом «мелочиска») снабжено пометой «пренебрежительное», хотя суффикс *-ак* в отличие от суффикса *-ишк-*, не содержит в себе указаний на эту оценку (ср. *вершняк, кругляк, п'ятак*).

Наконец, еще одно замечание по поводу помет. Нам кажется, что правильно сделала редколлегия «Русско-украинского словаря», введя помимо общей пометы «обл.» еще особую помету «зап.» — «западноукраинское слово или выражение». Ее нужно было бы сохранить и в «Украинско-русском словаре», по крайней мере для слов, которые были характерными именно для литературного употребления в произведениях западноукраинских писателей. Некоторые украинские языковеды, исходя из апрорных схем образования литературного языка и игнорируя историческую действительность, отрицают существование западного (иначе галицко-буковинского, или надднестрянского) варианта украинского литературного языка, — варианта, который возник в силу известных общественно-исторических условий и отличался от украинского литературного языка не меньшим количеством специфических особенностей, чем, скажем, американский вариант английского языка от этого последнего. Между тем для Франко, например, как и для других участников литературного процесса конца XIX — начала XX в., «единство и цельность (одноціліність) литературного языка были еще желательной целью, а не реальным фактом. Лучшие представители западноукраинской литературы, в первую очередь тот же Франко, сознательно стремились в своей литературной практике к сближению с литературным языком «Надднестрянщины», сложившимся на киевско-полтавской диалектной основе. С другой стороны, такие писатели, как М. Коцюбинский и Леся Украинка, в отличие, например, от Нечуя-Левицкого, не отвергали понятных для каждого украинца и нужных для развития украинского литературного языка слов только потому, что они были впервые употреблены на галицкой почве<sup>3</sup>.

Иван революционных писателей Западной Украины представлял собой дальнейший этап инновирования отличий западного варианта и растворения его в общукраинском литературном языке, но окончательно этот процесс завершается только после воссоединения всех украинских земель в едином украинском советском государстве. Очевидно, что такие слова, как *виділ* (в значении «комитет»), *висланець* («эmissар»), *відчит* («доклад, лекция»), а также заимствования типа *градулювати, консеквентий, конскрипція, мцитація, маніпулянтка, обсервувати, пленіпотент* и т. п., следует трактовать именно как западноукраинские слова, т. е. как специфическую лексику западноукраинского варианта украинского литературного языка. Кроме того, если словарь хочет оправдать свое назначение «помогать ... понимать различную литературу на украинском языке, а также быть справочником и пособием при переводе украинских текстов на русский язык» (стр. XVI), он должен уделять больше внимания этим словам *донешні, фіксувати* хотя бы наиболее типичные, наиболее распространенные и специфические западноукраинских слов и специфические «западные» значения общукраинских слов. Словомало бы учесть, например, такие часто встречающиеся в сочинениях Франко слова, как *абдикація* («отречение»), *висласнення* («экспроприация»), *випародження* («деационализация»), *відпис* (в значении «копия»), *академік* (в значении «студент») и т. д. Рецензенты неоднократно отмечали вопиющие ошибки в русских переводах из Стефанюка, Мартовича, Тудора и других — ошибки, происходящие именно от незнания специфической западноукраинской лексики (особенно в случаях

<sup>2</sup> «Советская книга», 1950, № 2, стр. 91—92.

<sup>3</sup> Нечуй-Левицкий, справедливо указывая на ряд полонизмов и на остатки искусственного «язычия» в языке галицких писателей, вместе с тем совершенно обоснованно, с позиций хуторнического нуризма, осуждал употребление таких слов, как *рух, явище, підприємство, мистецтво, висновок, парада, співробітник, влада, участь, майбутнє, штучний, точий, існувати, керувати, майже, цілком* и т. д., которые впоследствии прочно вошли в общелитературный язык.

межязыковой омонимии и паронимии). Но откуда же переводчику знать ее, если она не фиксируется никакими словарями. Бояться «засорения» этими словами украинского литературного языка нет никаких оснований, так как соответствующая помета предупредит пользующегося словарем от употребления этого слова. Ведь никто никогда не обвинял словарь Ушакова в засорении русского языка словами типа *колико, толико, сладкогласие, согбенный, скудельный, споспешествовать, народоправство, экстермпоралия* и т. п.; он включает их для лучшего понимания языка классиков, а не как норму.

Новый «Украинско-русский словарь» не ограничивается, как правило, приведением только наиболее распространенных русских соответствий украинскому заглавному слову, а дает по возможности исчерпывающий их перечень с учетом тончайших семантических и стилистических нюансов слова, что помогает украинскому читателю овладеть богатой синонимикой русского языка, а переводчику — найти наиболее точный русский эквивалент к украинскому слову в том или ином контексте. Большой удачей составителей является разработка таких, например, статей, как *виходити, виводити, вибивати, єднати, вага, ґрунт, ґеть, аж, аби*. Однако вызывает возражения принятый составителями принцип группировки русских соответствий к украинским заглавным словам. Если украинское слово имеет два или несколько значений и во всех своих значениях передается одним и теми же русскими соответствиями, то никакой разбивки на разделы не производится; если разные значения переводятся по-русски неодинаково, то соответствия для каждого значения объединяются в отдельную группу и нумеруются (см. «Предисловие», стр. XXI). Таким образом, значения украинских слов остаются по существу неразграниченными: под одной цифрой кроются разные значения, часто весьма далекие друг от друга, лишь бы они передавались одними и теми же русскими соответствиями. Такие полисемантические слова, как *давати, доходити, говорити, вільний, діло, діяти, бити, вигляд, викликати*, совсем не разбиты на значения, хотя соответствующие статьи занимают по 50—80 строк. Соответствия к слову *ґнати* сгруппированы таким образом: 1) гнать; угонять; преследовать; мчаться (непереходное употребление!); выгонять, курить, выкуривать (водку и т. п.); 2) сгонять, сплавлять.

С другой стороны, нередки случаи, когда незначительные оттенки значений или даже аналогичные словоупотребления относятся в разные рубрики в качестве отдельных значений, потому что переводится неодинаковыми русскими соответствиями. Так, в статье на слово *віддавати* (подробно разработанная статья в это строк) выражение *віддавати в науку* фигурирует под первым значением (или «групию значений»), а *віддавати в школу* — под третьим; *віддавати на поталу* — под первым, а *віддавати на муки* — под пятым. Такой способ подачи соответствий затрудняет пользование словарем, а иногда даже может стать источником неправильного перевода. Конечно, переводной словарь во многом отличается от толкового, но если он хочет установить правильные способы перевода слов одного языка на другой, правильно отобразить «...сложные и многообразные отношения значений слов одного языка к однородным значениям слов другого языка...»<sup>4</sup>, он должен исходить прежде всего из самих значений первого языка и разграничивать их так, как это делает толковый словарь. Это относится особенно к большому двуязычному словарю, где значения и оттенки значений слов первого языка иллюстрируются литературными цитатами (в нашем случае применение этого принципа было бы тем более желательным, что до сих пор нет толкового словаря украинского языка). К счастью, составители иногда отходят от принятого ими порядка подачи соответствий, и тогда получают такие прекрасные разработки словарных статей, как *воля, дух*, где значения и оттенки значений украинских слов точно разграничены, независимо от того, передаются ли они одинаковыми или разными русскими соответствиями.

В некоторых словах не выделяются отдельные значения, часто весьма распространенные в литературном языке. Так, слово *гостити* переводится только как «угощать», но оно может обозначать также «гостить»: «Орачу мій, господарю великий, *гостило* в тебе сонце за столом» (М. Стельмах) — и «принимать как гостя»: «Недавно ви мене *гостили*, хороші сестри і брати, і серцем я дніпрові схили хотів до вас перенести» (М. Рильский). Слово *відійти* может обозначать не только «оказки», но также «обрат, снятое молоко»: «Хитра ота заморська машина віялка: *одійти* залишає в Кураєвому, а вершки жене кудись далеко, у свої загребущі краї» (О. Гончар). Слово *бестямний* — не только «бессмысленный, безмозглый, иступленный», но и «бесчувственный» («в бесознательном состоянии, в беспам'ятстве»): «Тоді звелі, щоб лікар повернув свідомість бранцю, що *бестямний був*» (М. Ваян). Слово *викреслювати* — не только «вычеркивать, вымарывать», но и «вычерчивать»: «Схилиючися над столом, *викреслювали* будівниц новий Хрещатик» (М. Рильский). Слово *винарня* — не только «виинный по-

<sup>4</sup> В. В. Виноградов, указ. рец., стр. 91.

греб», а и «винодельня»: «Бачимо квадрат господарського двору і ряди будівель під залізом та черепицею: контора, лабораторії, майстерня, сушарня, *винарня*, склепи, льох, будинки персоналу» (Ю. Смоліч). Слова *вигасати*, *вигаснути* — не только «угасать, угаснуть» («Огнище *вигасло*»), но и «вымирать, исчезать, прекращаться, пресекаться»: «Він пригадував собі, що в нього нема сина, що його славний рід, його ім'я з ним *вигасне* і «сглаживаться»: «Згадка про нього... не *вигасне* до моєї смерті» (все три примера из И. Франко).

Случается, что к какому-нибудь слову или отдельному значению даются не все русские эквиваленты, и тогда приведенные соответствия не подходят для перевода некоторых предложений, фигурирующих в иллюстративной части. Под словом *бісик* (с переводом «чертик») приведен пример: «В очах її грали якісь веселі, зухвалі *бісики*». Конечно, здесь подразумеваются не чертики, а задорные, озорные огоньки. Под словом *добуцятися* во втором значении — «(раз)добывать, добиться» между другими приведен такой пример: «Я тільки раз піснями сліз *добуєся* від чужинця»; но *добуцятися від кого сліз* нужно перевести «исторгать у кого слезы», «разжалобить кого до слез». Под словом *відвалити* в значении «отвалить, дать много, расцедриться» дан пример из словаря Гринченко: «*Відвалив* скибу хліба», где глагол обозначает в действительности «отрезал» (и скорее себе, чем кому-то другому). Сюда подошел бы лучше пример из О. Гончара: «І батьків викликав, півсонні овець їм *відвалив*, щоб мовчали».

Иногда в словаре не обращено должного внимания на так называемые связанные значения, на «валентность» слов, степень их способности входить в сочетания с другими словами. Если, например, определенный глагол может сочетаться как с подлежащим или дополнением только с одним существительным (или небольшой группой существительных определенной ограниченной семантики), если то или иное прилагательное употребляется в качестве определения только к одному или нескольким существительным, — это обязательно должно отмечаться в словаре. Следовательно, при слове *вичилювати* (русс. «выделять») нужно объяснить в скобках: (кожу); при *відплющувати* (русс. «раскрывать, открывать») добавить: (глаза); при *відтузати* («спадать, уменьшаться») добавить: (об опухоли). Выражение *в'язатися в чим* употребляется, как правило, в отрицательной форме *не в'язється*, или реже является отрицательным по смыслу: *погано в'язється*. В словаре фигурирует — в качестве отдельного — областное слово *горгоші* в значении «плечи», однако в речи оно может применяться лишь в словосочетаниях (*взяти на горгоші*, *нести на горгошах*). Слово *жерцем* (с переводом «алчи») тоже самостоятельно не употребляется и выступает только в тавтологическом обороте *жерцем пожирати* (ср.: *ридма ридати, дама давити*). Собирательные *віконня* и *городдя* употребляются только в выражениях *попід віконню, пова городдя* (ср.: *попід тищу, пова стілью* и *пова стільям*). С другой стороны, слово *витин* приводится в словаре только в составе сложного термина *витин каменя* («камнесечение»), хотя оно существует и отдельно, может входить в свободные словосочетания. Ср. у Ю. Смоліча: «Весь процес *витини* клаптика роگیвки ... протісся через пам'ять».

Попадают в словарь и неверные переводы отдельных слов. Слово *борвій* переведено «борей; буря»; относительно второго соответствия возражений быть не может, но «борей», как известно, северный ветер, а в иллюстративном примере читаем: «Із півдня (с юга) ринув лютий цей борвій». В словарной статье на слово *бухати* объединены фактически два омонима<sup>6</sup>, но дан перевод лишь одного, хотя в примерах приведены вперемешку также случаи употребления другого («*Буха* од коней пара...»; «... кров *бувала* в голову...»; «хвиля *бухнула* через двері в хату...»). Ясно, что во всех этих фразах слово *бухати* никак нельзя перевести «бухать, ухать», как это рекомендуется словарем; оно здесь равнозначно слову *збухати*, т. е. «валить» (о дыме, наре), «лить, политься, хлынуть» (о воде и т. п.), «ударять, приливать» (о крови), «вырваться» (о пламени). Слово *дивниця* никогда не имело значения «странность» («эксцентричность, чудачество»), хотя в словаре приведен пример: «Родичі її часто мали право *адивгати* ильчима, дивуватися й не розуміти її *дивницю*» (перевод из Тургенева). Это не единственный случай, когда переводчик подвел лексикографа. *Духмяний* действительно значит «душистый, ароматный», но никогда не «душной» (о воздухе и т. п.), как говорится в словаре, причем дается следующая ссылка на Н. Рыбака: «Так вищлася його мрія у *духмяну* паризьку ніч». Не знаю, в каком смысле употребил это слово автор (мог ошибиться и он), но в русском переводе читаем: «душная ночь» (правда, если верить тому же переводчику, то *одували каштани* будет по-русски «двела каштаны»).

<sup>6</sup> Отметим кстати, что составители словаря не увлекаются, подобно некоторым другим лексикографам, излишним широким толкованием омонимии. Однако мы полагаем, что следовало бы все-таки различать такие омонимы, как *біда* (I — «беда», II — «двуколка»), *бана* (I — «баня», II — «купол»), *білиця* (I — «непостриженная монахиня», II — «белка»), *важити* (I — значения 1, 2, 3-е по словарю, II — значения 4, 5-е в словаре), *гойний* (I — «шодрый», II — «целбный»), *доцвіати* (I — «созревать», II — «узреть»), *живити* (I — «питать», II — «оживлять»).

Выше мы уже говорили о том, что новый словарь правильно отражает процесс сближения украинского языка с русским, приводили примеры стирания различий в значениях одинаково звучащих слов этих двух братских языков. Но вместе с тем нужно отметить, что в некоторых случаях составители, сами поддавшись оптическому или акустическому обману, вводят в заблуждение и пользующегося словарем, механически сближая слова одного происхождения, значения которых не совпадают в украинском и русском языках. Это относится преимущественно к словам историческим, устаревшим или редким. Русское *веритель* — то же, что «доверитель», т. е. лицо, уполномочивающее кого-то вести свои дела. Украинское (зап.) *виритель* соответствует русскому *кредитор* (ср. польск. *wierzyciel*, чеш. *vřitel*). По-русски *бурмистр* — это управляющий в помещицком имении, укр. *бурмистер* — «бургомистр, городской голова». Русское *вызывать*, *вывить* обозначает «вить что-либо из ниток, прутьев» или же «вылетать» (ленту из косы и т. п.); укр. *вызивати*, *выивнути* — «вызывать, развертывать что-либо, завернутое в узел, платок» и т. п. (ср. польск. *wywiąć*, *wywinąć*, чеш. *vyvíjeti*, *vyvinouti*).

Иногда составители дают только одинаково звучащие соответствия к украинским словам, не приводя других, с иными значениями. *Гінкий* не только «гонкий», но и «высокий, стройный» (*гінка діччина*); *безциний* может обозначать также «праздничный, бездельный» (ср. у М. Рыльского: «Я не складу *безциний* рук на грудях спорожнілих»). Отдельной статьей дано *де-то* с русским переводом «где-то» и примером из Шевченко: «Лучше поміркую, *де-то* моя Катерина з Івасем мандрує». В действительности это наречие *де* + частица *то*, а пользующийся словарем, не углубляясь в анализ примера, может сделать вывод, что в украинском языке существует неопределенное наречие *де-то* в значении русского «где-то».

\*

Источники, которыми пользуются составители рецензируемого словаря, достаточно обширны и разнообразны. Цитаты берутся из украинских классиков (по приблизительным подсчетам — 35% всех примеров), из украинских советских писателей (тоже 35%), из произведений классиков марксизма-ленинизма, из социально-политической и иной научной литературы и из газет (20%), из народного творчества и из разговорного языка (5%) и, наконец, из переводов (5%). С данными пропорциями можно вполне согласиться, однако в пределах этих отдельных рубрик иногда наблюдается некоторая неравномерность. Довольно полно, например, представлена лексика П. Мирного и М. Вовчок, но отсутствуют многие слова из произведений М. Коцюбинского, Леси Украинки и особенно И. Франко, хотя эти авторы цитируются часто. Подобная же непропорциональность наблюдается и в использовании материала из произведений украинских советских писателей — очень редко встречаются в словаре цитаты из сочинений П. Панча и М. Стельмаха, сравнительно часто — из П. Трубляки и Н. Рыбака.

Правильно сделали составители, включив в список источников словаря переводы с русского языка. Правда, научная и практическая ценность словаря значительно повысилась бы, если бы примеры из переводной литературы были подобраны не произвольно, а так, чтобы наглядно показать обогащение украинской лексики и фразеологии как путем прямых заимствований из русского языка, так и путем калькирования (морфологического или семантического) или «обновления» какого-либо слова, издавна общего обоим языкам. Стоило бы использовать также переводы из белорусской литературы (хотя бы из произведений Я. Купалы, Я. Коласа и А. Кулешова), ведь язык и литература третьей ветви восточного славянства развивались в тесной взаимосвязи с языком и литературой братских русского и украинского народов.

Система отсылок в примерах иногда страдает неточностью. Когда цитируемый отрывок взят не из оригинального сочинения украинского писателя, а из перевода, это, как оговорено в списке источников, отмечается особо. Однако во многих случаях такие указания отсутствуют. Вот некоторые замеченные нами недомотры: «Все розказує про сирани Ваговиті, таємні. Леся Українка» (пример — из Гейне); «Як будеш дружинька шлюбна моя, то можеш ти з того радіти» (то же); «Зайнявся ранок: кроками своїми від мене сон легкий він відігнав. М. Рыльский» (из Гете); «Грають над водою, грають огоньки. П. Тычина» (из Сурикова); «Давала тінь йому вірлиця, лизав криваві ранн вояк. П. Грабовский» (из Х. Ботева). Грабовскому же приписана ошибочно и цитата из перевода Е. Гребенки: «Маруся звісна стала всім ... вітливим серцем і цнотую». После примера «На гуслі грає, красно співає» сказано, что это из думы, между тем размер, да и сама словесная формула явно принадлежат другой жанровой разновидности народного песенного творчества — колядке (и в самом деле, мы находим такую колядку в «Материалах» Чубинского, т. III, стр. 274). Под обозначением *Метл.* кроются цитаты и из оригинальных стихотворений Метлинского, и из его переводов, и из изданных им народных песен. Во многих случаях цитируются отрывки из произведений, написанных М. Вовчок на русском языке и переведенных на украинский другими лицами, без всякого указания на то, что это перевод (см. слова

*аматор, величність, відлюдько, вітрогонка, горошок, деренчатий, дивування, дрібниця, дрібнолистяний, дур*). Между тем даже «невооруженным глазом» можно заметить, что язык этих цитат лексикой и синтаксисом резко отличается от языка украинских рассказов М. Бовчок. Вот один пример: «Солодкий був такою задоволенням, що навіть у нього трошки звичайної величності пропало».

Из других недостатков словаря, уже больше технического порядка, укажем на такие, как помещение под одним словом или выражением нескольких цитат из одного и того же автора (см. слова *багатий, бухати, виітровати, гинути, добігати* и пр.), повторение той же цитаты в разных статьях (например, на слова *володар* и *відчиржити, горб'ячий* и *вільшанка, древній* и *дід*), при цитировании литературных примеров — применение разных шрифтов (разрядки, полужирного шрифта, курсива), которые имеют в словаре каждый свое отдельное назначение (см. слова *важливо, вигідно, вигнання, громадянський, гуртування* и др.). В стихотворных цитатах новая строка начинается то с прописной, то со строчной буквы. Непоследовательны и указания на принадлежность реплики определенному персонажу в цитатах из драматических произведений.

Отметим, наконец, обнаруженные нами опечатки, особенно нежелательные в такого рода изданиях. При слове *доц* нет русского соответствия. При словах *деревина* и *жалітися* стоит цифра 1 (нумерация значений), и больше никакой цифры нет. С неверным ударением напечатано *житіє* (вместо *житі́є*). В неправильном написании подан исторический термин *віра* (русское «вира»), хотя на соответствующем месте дана и правильная форма — *вира*. В статье на слово *десятковий* читаем *десяткові дробі*, хотя дается вообще *дріб, дробу*. В статье на слово *грудуватий* в цитате из Панферова *Жарков* превратился в *Жарка*, в слове *відсовувати* в цитате из Коцюбинского вместо *нізчима юшка* напечатано *нікчемна юшка*. В примере из Котляревского (см. слово *виглясом*) нужно было написать *перед Енеєм*, а не: *перед Енеєм*. В цитате из Леси Украинки: «Хлоп'я спинилось. Нам обом волосся стало *дубом*» — последнее слово следует читать *дуба* (под этой вокабулой).

Все указанные выше огрехи и недосмотры не снижают общей положительной оценки работы. На одно пропущенное слово, на одну неудачную стилистическую помету, на одно неверное толкование в словаре приходится десятки и десятки слов, впервые включенных в словарь, сотни удачных стилистических характеристик, множество оригинальных и точных разработок разных значений слова. К тому же, как сказал полулегендарный пращур славянской филологии черноризец Храбр, легче потом исправить, чем впервые создать — «удобее бо есть послежде потворити, неже прьвое створити». В последующих изданиях — а такие словари должны переиздаваться по меньшей мере каждые десять лет — эти недолелки будут, несомненно, устранены. Пожелаем Институту языкознания АН УССР успешно завершить начатое им нужное и важное дело.

Н. А. Лукаш

### СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. МОРФОЛОГИЯ. (КУРС ЛЕКЦИЙ.)

[Для высш. учеб. заведений.] Под ред. В. В. Виноградова. — [М.], Изд-во Моск. ун-та, 1952. 520 стр. (Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.)

Рецензируемая работа представляет собою учебное пособие для высших учебных заведений. Поэтому при ее оценке следует рассмотреть два вопроса: 1) отвечает ли эта работа требованиям, предъявляемым к ней как к научному труду по русскому языкознанию, и 2) соответствует ли она тому методическому уровню, какой должна иметь книга, предназначенная служить учебным пособием для вузов\*.

#### «Курс лекций» как научный труд

1. Диалектико-материалистическая методология в книге вполне выдержана. Освещение научных проблем дано с позиций марксистско-ленинского учения о языке. Вопросы сущности языка, характера грамматики, места морфологии в системе наук о языке понимаются коллективом авторов правильно.

\* Первая часть рецензии («Курс лекций» как научный труд) принадлежит В. Е. Федорову, вторая («Курс лекций» учебное пособие) — В. М. Филипповой.



Ценным вкладом в науку является освещение вопросов современного русского словообразования. Автор этого раздела — акад. В. В. Виноградов — в развитие и в обоснование высказанных им незадолго до выхода в свет рассматриваемой книги теоретических положений по вопросу словообразования привел огромный материал по этому вопросу, тщательно систематизированный и глубоко и тонко проанализированный. В главе о глаголе (автор — проф. П. С. Кузнецов) сделана попытка оригинально и творчески подойти к решению ряда вопросов данного раздела. Стройностью и ясностью изложения и обилием умело подобранных фактического материала отличается статья об имени прилагательном (автор — доц. Н. Ю. Шведова).

Однако, несмотря на ряд несомненных достоинств, рассматриваемый труд, к сожалению, не лишен серьезных и притом многочисленных недостатков. От книги, написанной ведущими работниками столичного университета, можно было ожидать новой постановки и разработки ряда проблем русской грамматики. На самом же деле научно-теоретической новизны, не считая раздела, посвященного вопросам словообразования (что уже было отмечено выше), мы почти не обнаруживаем в книге. Между тем нерешенных вопросов, а также вопросов, требующих пересмотра, в морфологии русского языка немало. Во всяком случае в научном курсе должно было быть дано вестороннее освещение крупных проблем грамматики русского языка; нельзя было ограничиваться описанием грамматических явлений без учета их развития и их системных взаимоотношений.

Кроме того, многие научно-теоретические вопросы освещены неудовлетворительно. Рассмотреть все неправильно освещенные теоретические положения в рамках рецензии не представляется возможным. Укажем на наиболее существенные из них.

2. В вводной главе (автор — проф. П. С. Кузнецов) неудовлетворительно освещен ряд вопросов, в том числе вопрос о грамматической категории. «Под грамматическими категориями», — сказано на стр. 28, — понимаются значения обобщенного характера, свойственные словам и сочетаниям слов в предложении, но отвлеченные от конкретных значений этих слов (только слов? а сочетаний слов? — В. Ф.), а именно значения отношений различного порядка (отношений данного слова к другим словам в предложении, отношений к лицу говорящему, отношений сообщаемого ко времени и к действительности<sup>1</sup>), выражаемые внешними языковыми средствами, т. е. в изменении отдельных слов и в сочетании слов в предложении». Далее дано специальное определение морфологических категорий, из чего следует, надо полагать, что данное ранее общее определение грамматических категорий имеет в виду как категории морфологии, так и категории синтаксиса. Но в чем отличие одних от других? Из определения этого не видно. Не помогает и сопоставление общего определения с частным определением морфологических категорий. Последние определены как «указанные выше значения обобщенного характера, выражаемые в изменении отдельных слов». Казалось бы, что при исключении из более широкого, общего определения тех значений, которые относятся на долю морфологии, в определении должны остаться синтаксические значения. Но в действительности ничего не остается, так как перечисленные в общем, суммарном определении грамматические значения являются сплошь морфологическими<sup>2</sup>. Читателю учащемуся невольно может прийти в голову мысль: может быть, значения и у морфологических категорий, и у других, не названных в определении, одни и те же, а разница между ними лишь в способе их выражения, судя по тому, что в отношении всех грамматических категорий в целом сказано, что они находят себе выражение и в изменении отдельных слов, и в сочетании слов в предложении, а в отношении морфологических категорий говорится, что они находят выражение в изменении отдельных слов. Но, разумеется, такая мысль будет ошибочной.

Таким образом, ни общее определение грамматических категорий, ни определение морфологических категорий (о которых, между прочим, даже не сказано, что они свойственны частям речи) не являются удовлетворительными.

3. Формы словоизменения определены в книге очень глухо и неясно: о них говорится (стр. 31), что это — «формы, выражающие различные отношения одного и того же слова» (отношения к чему? — В. Ф.). Неизвестно, понимается ли под формой словоизменения все измененное слово или же только аффикс, при помощи которого произведено изменение слова. Не освещается также и вопрос о так называемой начальной форме слова, т. е. вопрос о том, в каком смысле, например, именительный падеж существительного является (и является ли?) формой словоизменения.

<sup>1</sup> Следовало бы указать, что этот перечень является примерным, иначе его могут понять как *numerus clausus*, а это будет неверно. — В. Ф.

<sup>2</sup> Особого замечания заслуживают «отношения сообщаемого ко времени и к действительности»: значения этих отношений являются морфологическими категориями (время и склонение глагола), а также и синтаксическими (категории времени и модальности, подводимые под общее понятие «предикативности»).

Формы словообразования определены как «формы, служащие для образования новых слов от одного корня... Так, например, уменьшительная форма (существительных, прилагательных — все равно) обычно считается формой словообразования...» (стр. 31). Опять неясно: понимается ли под формой все слово или же только словообразующий аффикс?

Но особенно не удовлетворяет читателя то, что в книге совершенно не сказано, что же такое грамматическая форма слова. Не говорится, входит ли или не входит в понятие грамматической формы слова словообразовательная форма. Словом, не объяснено, что грамматическую форму слова надо понимать не в духе учения акад. Ф. Ф. Фортунатова, а так, как этому учит акад. В. В. Виноградов. Давая понятие грамматической формы слова, надо было связать его с более широким понятием грамматической формы вообще как средства выражения грамматической категории, показав при этом, какие грамматические категории какими формами выражаются.

4. В вводной главе крайне неясно и нечетко говорится о месте словообразования в системе наук о языке. На стр. 32 читаем следующее: «Словообразование, поскольку речь идет о способах образования различных слов от одного корня, тесно связано с лексикологией». Как понимать это «поскольку»? Как слово, ограничивающее словообразование аффиксальной его разновидностью (имея в виду, что есть и другие виды словообразования), или же как союз причинного значения? Читателю это неясно. Но и в том и в другом случае связь словообразования с лексикологией остается не установленной, не показанной. Далее говорится: «Но его (словообразование. — В. Ф.) необходимо рассматривать и в морфологии, во-первых, потому, что в словообразовании часто используются те же структурные средства, что и в словоизменении (то есть те же аффиксы? Точнее говоря, имеется ли в виду спаянность словообразовательных элементов с формами словоизменения? — В. Ф.), а, во-вторых, потому, что некоторые явления словообразования имеют значение и для словоизменения», например категория рода имен существительных. Эта категория, по мнению автора, является категорией словообразовательной, и формы, выражающие ее, являются формами словообразования («*лев* и *львица*, *волк* и *волчица* являются разными словами»), но тем не менее род существительных должен рассматриваться в морфологии, потому что «от различия в роде существительных зависит различие рода прилагательных...; формы же рода у прилагательных являются формами словоизменения...» (стр. 33).

Мнение автора о природе категории рода имен существительных, понимание им этой категории и форм, ее выражающих, как словообразовательной категории и словообразовательных форм, нельзя признать правильным. В самом деле, какое значение может иметь для решения вопроса о природе категории рода имен существительных то обстоятельство, что *лев* и *львица* и т. п. являются разными словами?

Вопрос о категории рода имен существительных не сводится к вопросу о словообразовании названий лиц и животных женского рода. Рамки первого вопроса гораздо шире: любое существительное, в том числе и такие названия животных, в которых не выражен пол, т. е. существительные, не имеющие парных родооловых образований (*собака*, *лошадь*, *крыса*, *сурок*, *муха*, *жук*, *филин*, *сова*, *щука*, *окунь* и т. п.), а также и все неодушевленные существительные, по отношению к которым не может быть и речи о парных образованиях (*топор*, *стена*, *море* и т. п.), относятся в единственном числе к одному из трех грамматических родов.

Категория рода имен существительных является не словообразовательной, а грамматической, а именно синтаксико-морфологической категорией, и выражается она двояко: а) морфологическим средством — типом склонения и б) синтаксическим средством — согласованием прилагательного в роде с существительным<sup>3</sup>.

Возвращаясь к вопросу о двойной связи словообразования — и с грамматикой, и с лексикологией, следует отметить, что вопрос этот не получил надлежащего освещения в вводной главе книги (но в специальной главе, написанной другим автором — акад. В. В. Виноградовым, он трактуется правильно, хотя и не так четко,

<sup>3</sup> Допущенная автором ошибка объясняется тем, что в этом вопросе он оказался в плену старых воззрений, идущих от А. М. Пешковского, который, развивая учение Ф. Ф. Фортунатова, считал категорию рода имен существительных, как не носящую синтаксического характера, т. е. не зависящую от других слов в предложении, словообразовательной категорией. С точки зрения Пешковского, не только существительное *львица*, но также и *лев*, и *барсук*, и *дуб*, и *берега*, и *озеро* — словом, каждое существительное имеет несинтаксическую (словообразовательную) категорию рода. Современная точка зрения на вопрос о словообразовательных категориях ничего общего не имеет с таким пониманием. Что касается вопроса об образовании слова *львица* от слова *лев* и т. п., то здесь речь может идти не о категории рода существительных, являющейся, повторяем, грамматической категорией, а о словообразовательной категории названий самок животных (точно так же, как в применении к словам *баловница*, *виновница*, образованным от *баловник*, *виновник*, можно говорить о словообразовательной категории лица женского пола).

как в другой, более поздней работе того же автора — «Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии»).

Несомненно, что словообразование как отдел науки о языке нельзя считать ни частью лексикологии, ни частью грамматики: оно связано и с той и с другой и, надо думать, со временем будет признано самостоятельным разделом языкознания (вопрос этот поставлен в последнее время в работах ряда ученых)<sup>4</sup>.

5. Морфология определена в рецензируемой книге как «собрание правил изменения слов» (стр. 21, 27, 31). Об изменениях же слов сказано, что они «могут носить двойной характер». Одни из них — это изменения слов типа *дом — дома — дому* и т. д., *говору — говоришь — говорит — говорил* и т. д. Но эти изменения поставлены в книге на второе место. Изменения же первого рода — это такие изменения, которые «имеют результатом образование новых слов как выразителей новых понятий. Ср., например, слова *стол* и *столик*. В последнем случае посредством введения суффикса *-ик* создается новое слово, выражающее некоторое новое понятие, связанное, однако, с тем понятием, которое выражено производным словом *стол*» (стр. 31). Можно думать, что сюда же войдут и слова *столовая, столоваться* и т. п., а также такие примеры, как *железо — железный, белый — белизна* и т. п.

Но имел ли в виду автор подобные случаи? Считает ли он эти случаи, т. е. случаи бесспорного, несомненного словообразования, изменением слов? Такому пониманию противоречит не только логика вещей (словообразование не есть словоизменение), но и то обстоятельство, что сам автор совершенно определенно различает словоизменение и словообразование (стр. 31 и 32). Поэтому скорее следует думать, что к словоизменению отнесены автором не такие образования, как *столовая, столоваться*, а только такие, как *стол* и т. п., т. е. лишь формы субъективной оценки имен существительных. Но даже если только эти случаи имеются в виду (что тоже неправильно, так как образование форм субъективной оценки является не формобразованием, а словообразованием), то как понять, что изменения слов этого рода «имеют результатом образование новых слов как выразителей новых понятий»? Такое утверждение внутренне противоречиво.

Одно из двух: или слово изменилось, и тогда нельзя говорить об образовании нового слова как выразителя нового понятия, или же образовалось новое слово, выразитель нового понятия, и тогда нельзя говорить об изменении слова. Нельзя не заметить в этой связи, что в академической «Грамматике» данный вопрос получил более удачное разрешение<sup>5</sup>.

Итак, объектом морфологии в рецензируемой книге признаны формообразование и словообразование (последнее, правда, с некоторыми оговорками; практически же аффиксальное словообразование вошло в данную книгу). Но при таком определении объекта морфологии слова, не имеющие грамматических и словообразовательных форм (несклоняемые существительные, многие наречия, предлоги, союзы и проч.), оказываются за пределами морфологии и попадают в нее контрабандным путем. Из этого видно, что рамки определения морфологии как «собрания правил изменения слов» оказываются слишком тесными.

Пусть верно то, что формообразование — это основа морфологии, что в тех языках, где нет формообразования, нет и морфологии. Но если в языке, высоко развитом в отношении формы, есть, наряду со словами, имеющими грамматические формы, и слова, не имеющие системы форм (форм словоизменения), то предмет морфологии, изучающей и эти последние слова, надо определить так, чтобы были охвачены и неизменяемые слова. Иначе определение морфологии неточно.

Тем самым нельзя признать точным и общее определение грамматики (в составе морфологии и синтаксиса) как «собрания правил об изменении слов и сочетании слов в предложении» (стр. 21). К тому же и определение синтаксиса как собрания правил о сочетании слов в предложении (стр. 21) является недостаточным, так как оно не учитывает однословных предложений.

6. В понятие «части речи» автор главы II, проф. Н. С. П о с п е л о в, вкладывает разное содержание: то он рассматривает части речи как универсальное понятие, охватывающее все типы слов (полнозначные слова, служебные слова, модальные слова и междометия) в составе входящих в эти типы тринадцати разрядов слов (существительное, прилагательное и т. д.), то он под частями речи, в соответствии с концепцией акад. В. В. Виноградова, понимает только полнозначные слова. С одной стороны, глава, в которой рассматриваются все четыре типа и тринадцать разрядов слов, озаглавлена «Части речи», точно так же как § 2, в котором рассматриваются все четыре типа слов, озаглавлен «Состав и система частей речи...», с другой же стороны, — в схеме (стр. 41), а также в тексте §§ 2 и 3 термин «части речи» относится лишь к семи разрядам полнозначных слов.

<sup>4</sup> См., например: «Вопросы языкознания», 1953, № 4, стр. 18; М. Д. Степанов а, Словообразование современного немецкого языка, М., 1953, стр. 53—54.

<sup>5</sup> См. «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, § 16.

В итоге получается разнობой. Неясно, например, что разумеется под «частями речи» в первой же фразе § 1 («Части речи в русском языке представляют собой лексико-грамматические разряды слов, которые...» — стр. 36): то ли все тринадцать разрядов слов, то ли только семь. А следовательно, неясно, признаются ли лексико-грамматическими разрядами предлоги, союзы, частицы и другие неполнозначные слова.

На стр. 39 читаем: «Наиболее глубокою классификацией частей речи... дает В. В. Виноградов в своей книге „Русский язык“. По его мнению, части речи „прежде всего распадаются на две большие серии слов... В одной серии оказываются категории имен, категория местоимений и категория глагола, в другой — категория наречия“». Нельзя не отметить по этому поводу, что замечание о ценности и глубине разработки акад. В. В. Виноградовым грамматической классификации слов должно быть отнесено не только к «частям речи» в смысле полнозначных слов — им в целом создана глубокая систематика слов. И начинать изложение этой системы следовало бы, в соответствии с учением акад. В. В. Виноградова, с деления слов на четыре типа, дав развернутую характеристику каждому из типов, а затем уже переходить к рассмотрению отдельных классов, входящих в первые два типа.

И во всяком случае совершенно необходим универсальный термин, охватывающий все тринадцать разрядов слов. Термин «лексико-грамматические разряды слов» громоздкий и потому неподходящий. Примечательно, что в схеме, приведенной на стр. 41, все части речи в целом названы не этим неуклюжим термином, а другим — «категории слов». Но какие это категории? Ведь рубрики внутри отдельных частей речи («собственные существительные», «нарицательные существительные», «качественные прилагательные», «относительные прилагательные» и т. п.) — тоже категории слов. Термин «категории слов» расплывчатый и не может заменить традиционного термина «части речи». Отказываться от последнего как универсального термина нет достаточных оснований, поскольку не предложен другой, более подходящий. Придавать этому термину не всеобъемлющий, а ограниченный характер, охватывая им только семь разрядов слов, также нет необходимости, так как для этих последних существует удобный и вполне адекватный термин — «полнозначные слова», который, к тому же, по самой своей формулировке, соотносителен с наименованиями других типов слов (служебные слова, модальные слова).

В книге не дано объяснения, почему части речи признаются лексико-грамматическими, а не просто грамматическими разрядами слов и почему эти лексико-грамматические разряды изучаются в грамматике, и именно в морфологии.

7. При определении имени существительного сделана попытка расклассифицировать существительные по характеру их семантики (см. стр. 57). Но стоит сравнить установленные в рассматриваемой книге семантические группы (а) живые существа, б) предметы и события реальной действительности, в) явления, свойства и отношения как предметы мысли] с теми, которые даны в академической «Грамматике» тем же автором (проф. Н. С. Поспеловым), чтобы убедиться в том, что классификация эта очень шаткая: в академической «Грамматике», например, стоят рядом «явления и события реальной действительности», здесь же они разделены: из перечня «предметов, явлений и событий реальной действительности» «явления» исключены и перенесены в перечень «предметов мысли», причем из этого последнего перечня вовсе изъяты «действия и состояния», так что *игра*, *сон* по новой классификации рассматриваются не как действие и состояние, а как явление. Улучшена ли этим классификация? Позвоительно усомниться. Имеет ли такая классификация значение для грамматики? Это не показано.

Надо было не просто перечислить семантические группы, а показать, как предметные сами по себе понятия опредмечиваются категорией имени существительного; надлежало путем сопоставления существительных, имеющих предметно-логическое значение, с существительными других семантических групп (обозначающих действия, состояния, свойства и т. п.), глубже раскрыть понятие «предметности».

Нельзя не заметить, наконец, что семантическая классификация имен существительных в том виде, как она дана автором, содержит ошибку методологического характера. В этой классификации противопоставлены существительные, обозначающие предметы и события реальной действительности (*поле*, *сад*, *деревня*, *пожар*, *свадьба*), существительным, называющим в качестве предметов мысли явления, свойства и отношения (*борьба*, *движение*, *страх* и др.). Такое противопоставление может быть понято как противопоставление «предметов реальной действительности» «предметам мысли», между тем как *борьба*, *движение* и т. п. являются такими же реальными явлениями и событиями, как *свадьба*, *пожар* и т. п. В трактовке автора есть опасность скатиться до позиций англо-американской семантики, до поддержки ее теории о физическом контексте и фикции. Но отмеченной методологической ошибки не было бы, если бы имена существительные второй группы были охарактеризованы как существительные, называющие в качестве предметов мысли явления, свойства и отношения реальной действительности.

Определение имени существительного (см. стр. 58) в целом сформулировано превосходно, но оно не охватывает несклоняемых существительных. Проведя сравнение с академической «Грамматикой», мы видим, что автор исключил из темы «Грамматика»

тические категории имен существительных» пункты о собственных и нарицательных существительных, об одушевленных и неодушевленных существительных, оставив в разделе «категорий имен существительных» только категории рода, числа и падежа.

Вызвано это, очевидно, тем, что названные существительные (собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные) образуют особые группы, тогда как по линии падежа, числа и даже рода существительные не образуют подобных групп. Такое разграничение не лишено основания, но нельзя производить его ценою отбрасывания специальных грамматических категорий, присущих одушевленным и неодушевленным существительным (в русском языке, как известно, имеется особое морфологическое средство их различения), а также категорий, присущих собственным и нарицательным существительным (они тоже дифференцируются морфологически: собственные имена не имеют формы множественного числа).

В статье об имени существительном следовало бы подробнее осветить проблему грамматического рода, показать историчность этой грамматической категории и глубже поставить вопрос о так называемом общем роде имен существительных в русском языке.

8. Определения многих частей речи (имени прилагательного, имени числительного и др.) имеют общий недостаток: в определении включается лишь один признак — смысловой, а не все три конструктивных признака — семантический, морфологический и синтаксический. В результате создается впечатление, будто классификация частей речи построена не на единстве трех указанных признаков, а на одном лишь семантическом признаке.

Имя прилагательное определено (автор — доц. Н. Ю. Ш в е д о в а) как «часть речи, обозначающая признак предмета» (стр. 131). Однако не всякое слово, обозначающее признак предмета, является именем прилагательным. Достаточно сказать, что имя существительное (как об этом говорится на стр. 57) тоже может обозначать признаки или свойства (*страж, белизна*). Признак предмета обозначается также особой глагольной формой — причастием. В чем специфика имени прилагательного как части речи, обозначающей признак предмета, не сказано.

На стр. 132 читаем: «Качественные имена прилагательные обозначают качество, т. е. непосредственно воспринимаемый признак предмета, который, как правило, может проявляться в большей или меньшей степени». Такое определение нельзя признать удовлетворительным. Непонятно, что значит «непосредственно воспринимаемый признак предмета». Непосредственно воспринимаемыми признаками оказываются такие, например, признаки, как *злой, гордый, хитрый* и т. п., но не такие, как *стеклянная (посуда), волчий (хвост)* и т. п. Тут допущена важная ошибка: нужно говорить «о признаках, непосредственно обозначаемых именами прилагательными» (в отличие от таких признаков предметов, которые обозначаются через отношение этих предметов к другим предметам), а не о «непосредственно воспринимаемых признаках предмета».

Не выдерживает критики и классификация «непосредственно воспринимаемых признаков предмета» уже хотя бы по одному тому, что в качестве одной из ее групп называется такая, как «свойства и качества вещей, непосредственно воспринимаемые органами чувств» (*горький, тяжелый* и др.). Если эти признаки воспринимаются органами чувств, то чем воспринимаются другие «непосредственно воспринимаемые признаки предмета»? Нельзя не заметить также, что эта классификация не учитывает многозначности и переносного употребления слов (т. е. таких примеров, как *тяжелый характер, горькие упреки, хитрый замысел, мудрый совет* и т. п.).

Притяжательные имена прилагательные рассматриваются не в составе относительных прилагательных, а как основная категория прилагательных, т. е. выделяются не две, а три основные группы имен прилагательных: качественные, относительные и притяжательные (стр. 132). Однако такое отступление от обычного деления не мотивировано. И, кроме того, в такой классификации не соблюдено принципа деления. Из сопоставления определений всех трех групп видно, что единое основание деления установлено для традиционного расчленения имен прилагательных на две основные группы: качественные и относительные, третья же группа (притяжательные прилагательные) определена по существу как подгруппа относительных.

9. Антиисторический подход к рассмотрению фактов языка отрицательно сказался на разработке раздела «Глагол» (автор — проф. П. С. Кузнецов). Категория залога трактуется автором как категория, оформляемая только морфологическими, но не синтаксическими внешними выразителями грамматического значения (см. стр. 333 и сл.). Однако если в языке есть грамматическая категория, которая частично выражается морфологическими средствами, а частично — синтаксическими, последние не могут отбрасываться, и тем самым не может быть сужена сфера действия данной категории. Непонимание системного взаимодействия морфологических и синтаксических средств оформления грамматической категории привело автора данного раздела в конечном счете не к решению проблемы залога, а к статистическому перечислению значений, придаваемых глаголу аффиксом *-ся*, и к сбивчивой трактовке залогов.

Грамматическая многозначность частицы *-ся* запутала автора потому, что он по-

дошел к ней с масштабом первоначальной самостоятельной этимологической значимости, упуская из вида, что этимология грамматических форматов в силу особой интенсивности процессов грамматического абстрагирования настолько далеко отстоит от их современных значений, что фактически она уже ничего не может объяснить при анализе грамматической формы, если не учитываются процессы становления этой формы<sup>6</sup>.

Переходность и непереходность глагола не признается в рассматриваемой книге (как и в других трудах по грамматике) за особую грамматическую категорию (см. стр. 334). Между тем несомненно, что значение переходности или непереходности заложено в любом глаголе русского языка, причем определяется оно в целом синтаксически (по сочетаемости или несочетаемости с винительным падежом прямого дополнения), а отчасти и морфологически (например, у глаголов с аффиксом *-ся*). Поэтому следует считать переходность и непереходность особой грамматической категорией глагола, которая носит не просто морфологический, а морфолого-синтаксический характер<sup>7</sup>. Несмотря на ее морфолого-синтаксический характер, эта категория свойственна глаголу, т. е. части речи, а не члену предложения — сказуемому, так как она присуща и неперидикативным формам глагола (причастию и деепричастию). Именно поэтому она и рассматривается в морфологии, а не в синтаксисе, т. е. тем самым фактически признается категорией глагола.

В статье о глаголе недостаточно четко освещены и другие вопросы. Так, например, раздел «Категория времени» много выиграл бы при наличии сравнительно-исторического подхода к материалу русского языка. Кроме того, следовало бы подчеркнуть отсутствие грамматической категории относительности времени в русском языке<sup>8</sup>. Относительность времени выражается в русском языке лексически или смыслом всего контекста, но не с помощью специального морфологического или синтаксического оформления. При сопоставлении с языками, где грамматическая категория относительности времени существует, была бы достигнута большая яркость и наглядность теоретического раскрытия особенностей системы русского языка, что и должно быть целью научной грамматики всякого языка в отличие от пособий для средней школы, где достаточным является сообщение лишь нормативных сведений.

10. Перечень научно-теоретических недостатков книги можно было бы значительно приумножить. Можно было бы указать еще на ряд недочетов — крупных и мелких. Мелких мы вообще здесь не касались, но и они вызывают у читателя чувство неудовлетворенности. Например, говорится, что «часть слова за вычетом окончания называется основой» (стр. 34), тогда как основой называется «та часть слова, которая остается, если отнять у него окончание и формообразующий суффикс» (академич. «Грамматика», § 24). Или, например, в статье Н. Ю. Шведовой ошибочно утверждается, что «от качественных прилагательных возможно образование... увеличительных форм», помимо уменьшительно-ласкательных. Примеры, разумеется, не приведены (стр. 133)<sup>8</sup>. Подобных неточностей и неправильностей в книге очень много.

11. Язык книги, подача материала в целом также оставляют желать лучшего, что было уже отмечено в газете «Известия» (от 18 дек. 1953 г.). Тяжелое впечатление производят многочисленные опечатки и искажения. Приведем несколько примеров. Напечатано: «При наличии парных образований мужского и женского рода у существительных со значением лица, формой мужского рода обозначается в то же время и социальная роль человека независимо от пола» (стр. 62). Нужно: «При отсутствии парных образований...» На стр. 155 сказано: «...притяжательные прилагательные означают принадлежность одному лицу или животному». Нужно, по видимому: «принадлежность предмета определенному лицу или животному». На стр. 283 читаем: «Термин „наклонение“, не выражающий существа этой категории, но по традиции, укрепившейся в нашей грамматике, представляет собой...» Нужно: «...по традиции укрепившийся...». На стр. 363 напечатано «состоятельного отношения» вместо «обстоятельного». На стр. 364 цитируется дерматовский стих в искаженном виде: «Нет, не жду от жизни ничего» вместо «Уж не жду...». На стр. 226 напечатано: «Уж восемь робертов сыграли». На стр. 70 (в примечании) созвездие называется «Бесы» вместо «Весь». Сошлемся также на другие опечатки, обозначив страницы и строчки в виде дроби: 30/11 сн., 39/2 сн., 50/13 сн. и 12 сн., 62/7 сн., 70/2 сн., 72/12 сн., 416/10 сн. и др.

В заключение следует повторить, что рассматриваемая книга, являясь очень важной и полезной, вместе с тем со стороны научно-теоретической нуждается в серьезных исправлениях, после чего только она будет полностью отвечать своему назначению.

В. Е. Федоров

<sup>6</sup> Эта мысль высказана доц. Т. А. Дегтеревой.

<sup>7</sup> Оставляем в стороне особый вопрос о соотношении времени глагола и деепричастия.

<sup>8</sup> Но в статье акад. В. В. Виноградова (стр. 204) говорится вполне правильно и точно, что «качественные прилагательные... могут иметь уменьшительно-ласкательные, и некоторые из них и усилительные формы» (а не увеличительные).

## «Курс лекций» как учебное пособие

К несомненным достоинствам книги относится то, что она написана в соответствии с ныне действующей, тщательно разработанной вузовской программой по курсу современного русского языка. Читатель найдет в этой книге освещение почти всех программных вопросов. Однако «Курс лекций» как учебное пособие имеет ряд недостатков.

Одна из основных задач курса «Современный русский язык» — дать студентам представление о системе современного русского языка, показать взаимосвязь, взаимообусловленность явлений. Задача эта осложняется тем, что в самой системе русского языка в его современном состоянии многое еще не изучено. По целому ряду очень важных проблем нет единого мнения. Как же нужно излагать эти нерешенные и спорные вопросы?

Не претендуя на исчерпывающий анализ огромного и в значительной части очень интересного материала, данного в пособии, остановимся лишь на нижеследующих общих вопросах, указывая на допущенные здесь явные противоречия и ошибочные положения: 1) об «объеме» морфологии, 2) о смещении лексических и грамматических факторов, 3) об исторических справках, 4) об изложении истории проблем, 5) о характере определений и формулировок.

1. В «Курсе лекций» морфология представлена в ее «традиционном» объеме. Сама проблема объема морфологии не нашла отражения ни во «Введении в морфологию», ни в главе «Части речи», ни в изложении конкретных глав. А между тем далеко не все включенное в курс относится к морфологии и может подвергнуться морфологическому анализу. В «Морфологии» в одном ряду со знаменательными частями речи «идут» служебные слова, модальные слова, междометия. Нигде четко и определенно не объясняется, почему эти группы слов нашли себе место в морфологии, в каком аспекте они должны быть рассмотрены в ней.

Из параграфа «Общая характеристика частей речи» (стр. 36—37) можно понять, что принимается лексико-морфологическая классификация слов акад. В. В. Виноградова. Но в конкретных характеристиках принципов, положенные в основу этой классификации, последовательно не выдерживаются. Нет общего заголовка к частям речи, о предлогах говорится как о служебной части речи (стр. 453), то же говорится о частицах (стр. 431). И ни в главе о предлогах, ни в главе о союзах даже не поднимается вопрос об особом положении в морфологии этих групп слов, об их «синтаксичности», хотя характеристики прямо говорят об этом.

Описание частиц (стр. 412—413) создает очень неясное представление об их функциях. Параграф называется «Понятие частицы и синтаксический характер ее функций». Автор отграничивает частицы от предлогов и союзов, имеющих «свою определенную служебную функцию», и от модальных слов, которые «лексически более самостоятельны». «Частица же, — пишет автор, — оттеняет не только смысл предложения, но и тот или иной смысл отдельного слова или словосочетания» (стр. 414). Однако и сравнения, приведенные автором, не помогают понять ни синтаксические, ни «семантические» функции частиц. Вполне естественно недоумение, чем же мотивируется включение всех частиц в морфологию. Формообразующим частицам, которым нужно было бы в морфологии уделить больше внимания, отводится буквально несколько строчек, словообразующим — одна страница.

2. Вопрос о взаимосвязях лексики и грамматики очень сложен. Не всегда возможно четко отграничить лексические явления от грамматических. Но есть такие факты смещения этих явлений, которые давно уже были отмечены в лингвистической литературе, и тем не менее они «по традиции» оставлены в университетском курсе «Морфологии».

Большой частью это наблюдается в классификациях. Многие классификации, являющиеся собственно лексическими, даются без объяснения, какое отношение они имеют к морфологии. Так дана классификация наречий (места, времени, цели и т. д.). Она полезна для выяснения функций наречий в предложении, но морфологически не аргументирована. То же нужно сказать и о классификации слов, относящихся к категории состояния (стр. 399—400).

Нельзя признать грамматически аргументированным и включение порядковых числительных в категорию числительных. Два аргумента выдвигаются автором как определяющие при решении этого вопроса: лексическое значение, связывающее их с количественными числительными, от которых они и производятся, и их функции. Наличие указанных фактов неоспоримо, но совсем непонятно, в чем заключается отличие функций порядковых числительных от функций прилагательных. Автор противопоставляет понятие «синтаксическое употребление» понятию «функция», не разъясняя этого. Обозначение порядка следования предметов при счете не является грамматической функцией. С таким же основанием можно сказать о «функциях» различных семантических групп прилагательных, обозначающих «временное следование», «расположение в пространстве» и т. п.

Едва ли правомерно говорить о «взаимопереходах таких категорий, как количество и качество», в порядковых числительных. Во-первых, неясно, в каком значении употреблены слова «категории количества и качества» — как грамматические категории или как философские? Во-вторых, лишь очень условно можно говорить о количестве по отношению к порядковым числительным. В-третьих, переход «особенно-порядковых» в «качественно-порядковые» сравнительно редкое явление, ограниченное очень узкими рамками, включающими в себя несколько порядковых числительных: «первый, второй, третий».

Автор совершенно определенно высказывается о том, что заставило его отнести порядковые числительные в категорию числительных: «Основа порядковых числительных выражает количественное понятие, а отсюда их непосредственное отношение к числу и порядку при счете» (стр. 231). Лексическое значение явно «взяло верх» над грамматическими свойствами порядкового числительного, над его морфологическими и синтаксическими качествами.

В главе о местоимениях следовало бы сделать особое ударение на том общем, что объединяет не имеющие единых форм слова в одну часть речи. Но изложение материала скорее внушает другую мысль — мысль о грамматической (и морфологической, и синтаксической) близости групп местоимений с существительными, прилагательными, числительными. После определения местоимений как части речи автор сразу же переходит к их делению по соотносительности с другими частями речи (стр. 235), а затем и делению по разрядам (стр. 237).

Сопоставление двух групп критериев, по которым проводится двойная классификация местоимений, вызывает недоумение. Неясно, какое содержание вкладывает автор в используемые им термины: «лексическое значение», «значение», «грамматическая структура», «формальные признаки», «функция», «функционально-синтаксические свойства». Если под грамматической структурой понимать только морфологическое строение местоимений, то нельзя согласиться с тем, что местоимения-существительные соотносительны с существительными, а местоимения-числительные — с числительными. У местоимений своеобразная структура; специфичны и формы их изменения. Автор не объясняет, почему он называет их морфологическими синонимами (вообще термин «морфологические синонимы» не раскрывается). Местоимения соотносительны с другими частями речи по их синтаксическим функциям. Остается непонятным, вкладывает ли автор различное содержание в термины «лексическое значение» и «значение». Анализ материала не вскрывает этого различия, так же как и различия в содержании терминов «функция» и «функционально-синтаксический».

Все определения, имеющиеся во второй классификации, даны в плане выяснения лексических особенностей каждой группы, т. е. являются дифференциацией лексико-семантических значений групп «первого деления» (соотносительных с существительными, прилагательными и числительными) (стр. 242, 245, 248). Выпадают из общего плана определения личных и лично-указательных местоимений, возвратного местоимения и вопросительно-относительных местоимений. В разряде «личных местоимений» говорится о значении каждого местоимения в отдельности; эти частные значения не обобщаются. В определении возвратного местоимения указывается на отношение данного местоимения к другим словам, т. е. на его синтаксическую функцию — функцию, возникающую в предложении (стр. 241).

Вопросительные местоимения определяются лексически, относительные — синтаксически. Таким образом, в одном определении, относящемся к одной группе местоимений (она фигурирует как одна группа), смешиваются два аспекта (стр. 247).

Грамматические признаки не обуславливают необходимости разделения местоимений на разряды. Принципам, положенным в основу деления на разряды, определения разрядов местоимений, их характеристики не отвечают. Непонятно, каков грамматический смысл такого деления.

Лексико-семантическая дифференциация внутри тех или иных грамматических групп не только может, но и должна быть. Но такую классификацию нужно оговаривать, нужно разделять факты лексические и грамматические или указывать на их переплетение, взаимосвязь в соответствующих случаях.

В главе «Глагол», в разделе «Категория вида» (стр. 309—333), автор, определив и описав вид как категорию грамматическую, заключает: «Некоторые лингвисты, принимая во внимание, что словесно-семантических различий между членами одной пары нет, считают, что члены одной видовой пары образуют одну лексему, т. е. являются грамматическими формами одного и того же слова, против чего, однако, можно возразить. Одной семантической близости для отнесения различных образований к одной лексеме недостаточно. Необходимы основания структурно-грамматические» (стр. 323). Такое «раскрытие» проблемы только дезориентирует студента. Сторонники «грамматичности» вида аргументируют ее не только семантической близостью глаголов.

Из материала, относящегося к переходности и непереходности, нельзя понять, считает ли автор это явление грамматической категорией. Он осторожно называет его



«различием грамматического порядка», которое связано и с лексическим значением (стр. 337).

Автор объясняет это различие с синтаксическими позицией: «Глаголы, могущие иметь при себе прямое дополнение, выраженные винительным падежом, называются *п е р е х о д н ы м и*» (стр. 334). Нужно было бы больше остановиться на этом сложном явлении, показать связь в нем лексического, синтаксического и морфологического.

3. При чтении «Морфологии» бросается в глаза отсутствие у авторов единства при разрешении проблемы историзма в курсе «Современный русский язык». Некоторые понимают под историзмом краткие справки из истории той или иной формы, той или иной категории, которые даются, когда речь идет об архаической форме, о двух вариантах одной формы, об особенностях какой-либо формы. Такие справки даны: о деепричастиях (стр. 361), о кратких прилагательных (стр. 135). В некоторых главах есть целые параграфы о происхождении и историческом развитии форм и групп слов, например: о происхождении частиц (стр. 414), предлогов (стр. 453, 454), о развитии видовой системы (стр. 332). Едва ли нужны такие справки и параграфы: они дают очень неполное, поверхностное представление о процессе развития, повторяют то, что уже знакомо студентам, не прибавляя ничего нового.

Историзм в курсе современного русского языка — это освещение явлений современного русского языка в их движении, показ тенденций в развитии той или иной грамматической категории. Так в рецензируемой книге указывается направление процесса словообразования, отчасти, хотя очень бегло, — пути развития предлогов, наречий, категории состояния. Но большая часть материала представлена статически: имена существительные, имена числительные, местоимение.

Мало исторична и глава об именах прилагательных: в ней есть только упоминание о развитии кратких форм имен прилагательных, но не сказано о линиях развития относительных, притяжательных прилагательных. Автор главы «Глагол» также ограничивается в этом плане отдельными замечаниями. И ни один автор не дал себе труда суммировать материал, показывающий какую-либо часть речи или лексико-грамматическую группу слов в их динамике.

4. Не может удовлетворить в книге та ее часть, которая касается истории изучения вопроса. Едва ли помогает, например, в разъяснении главы «Части речи» справка об изучении состава и системы частей речи в русской грамматической литературе (стр. 37). В ней рассказывается о том, сколько частей речи находили в русском языке Ломоносов, Востоков, Шахматов, Пешковский. В отдельном параграфе изложена семантико-грамматическая классификация акад. В. В. Виноградова. Но остается непонятым, почему нет единообразного решения проблемы, что является причиной отсутствия единства в классификациях, т. е. почему не раскрывается существо проблемы.

Некоторые главы справедливо лишены подобных справок, например главы «Имя существительное» и «Имя прилагательное». В главах же «Союзы», «Наречие» хотя и есть специальные параграфы, посвященные истории изучения этих категорий, но они не связаны органически со всем изложением, являются искусственным добавлением, привеском. Как справочный материал они очень неполны. Думается, что такие параграфы нецелесообразно включать в учебное пособие: они не помогают глубже вникать в материал.

В некоторых главах справки «из истории вопроса» включаются в характеристику части речи или группы слов, например в главах: «Модальные слова», «Категория состояния», «Частицы», «Имя числительное». Это самая приемлемая форма. Но, к сожалению, в этих справках мы не находим ясно изложенной аргументации за и против выделения в особую часть речи категории состояния, в особую группу — модальных слов. Беспольны и справки такого рода, как о частицах (на стр. 412—413), со ссылками на Ломоносова, Востокова, Шахматова и др. Естественны вопросы: почему не выделяли частиц Ломоносов, Востоков и т. д.? Какое «очень верное определение» дал частицам акад. Шахматов? и т. п.

Хотелось бы найти в книге краткое, но обстоятельное изложение основных точек зрения на категорию вида и залога.

5. От такого пособия, каким является «Курс лекций», мы не можем требовать полной однородности в определениях и единства в терминологии. Но все же при редактировании книги можно было бы исправить и многие неудачные формулировки и не допустить небрежности в использовании терминами. Далеко не всегда авторы думали о том, что студенты учатся по этой книге, стремятся понять и запомнить прочитанное. То, что иногда автором сказано «просто так», не терминологически, воспринимается студентом, как компонент определения, как определение. Хуже всего обстоит дело с использованием словами: «значение», «лексическое значение», «смысл», «семантика», «смысловое значение». В главе «Междометия» есть даже термин «познавательный-смысловый оттенок» (стр. 479). Нельзя согласиться с определением понятия «корень» (стр. 34).

Определение числительных сформулировано так, что под него нельзя подвести порядковые числительные, хотя автор и относит их, как видно из дальнейшего изло-

жения, к категории числительных (стр. 219). Неудачна характеристика наречий. В них семантические признаки перемешаны с морфологическими и синтаксическими; в разных значениях употребляется слово «обстоятельство» (см. стр. 362).

Вопрос о типе определения — очень сложен. Так как трудно в одном предложении охарактеризовать полностью ту или иную часть речи, то дается сжатая характеристика ее. Так сделано в главе «Имя прилагательное». Но очень полезно определение и такого типа, какое дано в главе «Имя существительное» (стр. 58, в конце § 1).

В сущности нет определения модальных слов. В данном в книге определении нет ничего лингвистического; непонятно, что значит «субъективно-объективное отношение» человека (стр. 405). Встречается много небрежных, неточных и спорных формулировок (например, на стр. 40, 224, 430, 487 и др.).

\*

Книга, которую так долго и с таким нетерпением ожидали преподаватели и студенты филологических факультетов, не оправдала полностью возлагаемых на нее надежд. Лектору, читающему курс по морфологии современного русского языка, приходится эту книгу в значительной части корректировать и делать много оговорок, рекомендуя ее студентам. Но нельзя уменьшать и положительного значения этого труда как первого и большого шага к созданию учебника, нельзя отрицать, что в нем имеется большой и интересный материал.

В. М. Филиппова

*Т. Лер-Славинский. Польский язык. Перевод с 2-го польского изд. И. Х. Дворецкого. Под ред. С. С. Высотского. Предисл. В. В. Виноградова. — М., Изд-во иностр. лит-ры, 1954. XXIV, 368 стр.*

Рецензируемая нами книга является переводом труда одного из крупнейших лингвистов Польской народной республики профессора Краковского университета Тадеуша Лер-Славинского<sup>1</sup>. Книга эта состоит из «Предисловия» акад. В. В. Виноградова, дающего методологическую оценку книги, «Предисловий» автора ко второму и к первому изданиям, небольшого «Введения», текста самого труда, состоящего из одиннадцати глав, приложения, носящего название «Краткий обзор истории исследований польского языка», и краткого «Списка использованной литературы», составленного проф. Лер-Славинским.

Появление русского перевода книги виднейшего польского ученого следует расценивать самым положительным образом. Знакомая русским читателей-лингвистов с итогами научного изучения истории польского литературного языка, это издание вместе с тем служит важным делу укрепления научных связей между двумя братскими народами: русским и польским.

20 сентября 1951 г. научная общественность Польши отмечала шестидесятилетие со дня рождения и сорокалетие научной деятельности Тадеуша Лер-Славинского, обогатившего польское языковедение многими ценными достижениями.

На протяжении всей своей научной деятельности Т. Лер-Славинский занимается сложнейшими вопросами славянской акцентологии, посвящая ей ряд исследований. Всегда интересовали Лер-Славинского и вопросы родства и происхождения славянских языков и славянских народов. Этим проблемам также посвящены многие его работы, в том числе монументальный труд «О происхождении и прародине славян» (Познань, 1946). Проф. Лер-Славинский — автор грамматики старославянского языка (выходившей трижды: в 1923, 1930 и 1949 годах), грамматики чешского языка (1950) и грамматики русского языка (1950).

Внимание польского ученого всегда привлекали и языки вымерших западных и северных славян. Об этих языках имеется несколько его работ, среди которых в первую очередь следует назвать «Полабскую грамматику» (1929). Перу Лер-Славинского принадлежат также курсы практической грамматики польского языка и сборники орфографических упражнений, составленные им совместно с другими авторами.

Специально вопросам истории литературного польского языка Т. Лер-Славинский посвящает работы: «Проблема происхождения литературного языка» (1926), «Польский язык как зеркало культуры народа» (1935), «Замечания об языке „Вого-

<sup>1</sup> T. Lehr-Splawinski, *Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój*, wyd. 2-e, Warszawa, 1951.

родиницы» (1936), «Очерки из истории развития и культуры польского языка» (1938), «Праславянское наследие в польском словарном составе» (1934) и другие<sup>2</sup>.

Книга Лер-Сплавинского «Польский язык», вышедшая первым изданием в 1947 г., представляет собой итог всех исследований автора, посвященных истории польского языка<sup>3</sup>. Первые четыре главы этой книги включают в себя рассмотрение вопросов происхождения славян (гл. I — «Праславянская общность»), возникновения и развития западнославянской языковой группы (гл. II — «Западные славяне»), происхождения польского народа и польского языка (гл. III — «Польский народ и его язык») и, наконец, вопроса о праславянском наследии в фонетике, морфологии и лексике польского языка (гл. IV — «Праславянское наследие»).

Оценку этой части книги, которая является результатом многолетних трудов ученого, посвященных проблеме происхождения славян, читатель найдет в предисловии В. В. Виноградова. Мы хотим лишь напомнить здесь, что автор, подготавливая второе издание своей книги, подверг переработке главы, касающиеся вопроса происхождения славян. При этой переработке он учел результаты исследований советских историков и археологов, недоступных для него при работе над первой редакцией книги, которая создавалась в условиях фашистского террора (см. «Предисловие автора ко второму изданию», стр. 1). О том, насколько внимательно относится Т. Лер-Сплавинский к результатам работ советских историков и археологов, свидетельствует его статья «Вопрос происхождения славян в свете польской и русской науки»<sup>4</sup>. Резюмируя в этой статье выводы польских и советских ученых по проблеме этногенеза славян, автор отмечает значительную общность взглядов тех и других, хотя вместе с тем указывает и на разногласия в данном вопросе как в среде польских, так и в среде советских ученых.

Конечно, проблемы этногенеза славян не могут еще считаться окончательно разрешенными; они требуют дальнейшей разработки и пересмотра в свете работ И. В. Сталина по языкознанию<sup>5</sup>. Однако можно не сомневаться, что совместные усилия всех передовых славянских ученых, в том числе советских и польских, приблизят разрешение этой важной проблемы.

Начиная VI главу «Польский язык в XIV и XV вв.», проф. Т. Лер-Сплавинский пишет: «Так как язык в своем развитии не знает ни перерывов, ни скачков, то провести четкие границы между отдельными периодами его истории не представляется возможным. Происходящие в нем из поколения в поколение изменения являются результатом постепенных перемен в общественно-культурной жизни коллектива, который данным языком пользуется, и находятся поэтому в тесной зависимости от культурной и политической истории народа» (стр. 94). Эти строки показывают, насколько близки Лер-Сплавинскому основные положения советской лингвистики, хотя при практическом разрешении ряда проблем, касающихся истории развития языка, у него возникает много недоуменных вопросов (на которые указал В. В. Виноградов в своем «Предисловии» к рецензируемой книге).

Благодаря тому, что книга Т. Лер-Сплавинского содержит богатейший материал высокой научной ценности, она может служить пособием при изучении не только истории собственно литературного языка, но также и исторической грамматики и исторической фонетики польского языка. В этом труде Т. Лер-Сплавинского дано правильное понимание истории литературного языка как совокупности развития грамматического строя и словарного состава языка — того развития, которое находит свое отражение в памятниках письменности.

Однако, как справедливо замечает В. В. Виноградов, книга построена не совсем равномерно: при изложении развития польского литературного языка с середины XVIII в. автор очень часто прибегает лишь к стилистической интерпретации текстов. Способ изложения материала в книге вызвал, как известно, со стороны В. В. Виноградова (см. «Предисловие», стр. XII и XIV) и упрек в эмпиризме. Дело в том, что анализ развития литературного языка дается Т. Лер-Сплавинским попутно с анализом отдельных отрывков из польских текстов, приводимых тут же по ходу рассуждений. При подобном изложении читателю труднее уловить основные линии развития литературного языка. Анализируемые отрывки уже в силу своей краткости не могут дать полного материала для характеристики языка того или иного писателя, и автору

<sup>2</sup> Краткий обзор и перечень основных трудов Лер-Сплавинского читатель может найти в журнале «Język polski», г. XXXI (1951), zes. 5, стр. 193—196. Подробный очерк трудов Лер-Сплавинского и полная их библиография даны в журнале «Przegląd zachodni», ч. 7—8 (1951), посвященном юбилею маститого ученого.

<sup>3</sup> См. рецензию К. Н и т ш а на это издание: «Język polski», г. XXVII (1947), zes. 5, стр. 150—153.

<sup>4</sup> Журнал «Swiatowit», т. XX, 1949, стр. 25—59.

<sup>5</sup> Ср., например, статью М. И. А р т а м о н о в а «Труды товарища Сталина по вопросам языкознания и советская археология» («Советская археология», т. XV, М.—Л., 1951).

приходится, отступая от своего метода, привлекать дополнительный материал или давать общие характеристики, не вытекающие из конкретного анализа иллюстрирующего текста, что может вызвать законный упрек в субъективизме оценок (см. «Предисловие», стр. XV).

Но вместе с тем надо отметить, что такой способ изложения представляет неопределенные преимущества при использовании книги как учебного пособия по истории польского литературного языка, так как направляет учащихся к конкретному анализу текстов, а не только к чисто умозрительному восприятию выводов автора. Таким образом, книга может быть использована не только как очерк истории польского литературного языка, но и как хрестоматия по истории литературного языка. Можно лишь пожелать, чтобы обзор каждого этапа истории польского литературного языка автор начинал с формулировки общих положений, характеризующих основные линии развития литературного языка данного периода, а затем уже переходил к конкретному анализу отрывков, иллюстрирующих эти положения.

Нельзя не отметить также мастерства, с которым Т. Лер-Сплавинский умеет при анализе памятника затронуть основные вопросы истории польского языка (например, вопрос о произношении смягченных переднеязычных *t, d, r* в начале XII в., вопрос о произношении носовых гласных, о суженных гласных в польском языке при анализе языка Станислава Ожеховского, о ранних латинских заимствованиях папской буллы 1136 г. и другие).

Остановимся на некоторых частных вопросах, главным образом с целью высказать пожелание о расширении и уточнении отдельных мест книги Т. Лер-Сплавинского.

Так, большего внимания и более высокой оценки со стороны автора книги заслуживает, на наш взгляд, такой памятник, как «Гнезненские проповеди», который, как пишет сам Т. Лер-Сплавинский, «по всей вероятности, является оригинальным польским произведением (а не переводом с латинского)» (стр. 102). Именно данное обстоятельство позволяет ожидать, что этот интереснейший памятник древнепольского языка в гораздо большей степени, чем переводные памятники, отразил живой язык своего времени. Между тем автор ограничивается по поводу этого памятника таким замечанием: «Помимо своего правописания, Гнезненские проповеди отличаются от современных им памятников довольно тяжелым (хотя и не лишенным живости) языком» (стр. 105). Брошенное вскользь замечание о живости языка в ходе конкретного анализа затем никак не раскрывается, а суждение о «запутанности стиля» основывается на таких фактах, как излишнее частое употребление приставных частиц *-ci, -c*, ненужное повторение местоимения *on, ona, ono, oni, one* при глагольных формах 3-го лица обоих чисел и, наконец, чрезмерное использование форм давнопрошедшего времени при сохранении вспомогательного глагола *jest, są*. Между тем нам кажется, что эти особенности «Гнезненских проповедей» нельзя рассматривать в одной плоскости. Часто встречающиеся в памятнике частицы *-ci, -c* вероятнее всего внесены из живого устного языка как черта диалогической речи. Что же касается вызывающих недоумение форм давнопрошедшего времени, в которых рядом со связкой *był* присутствует еще и связка *jest*, то такое употребление может служить лишь доказательством того, что и формы перфекта со связкой *jest*, и формы давнопрошедшего времени со связкой *był* были чужды живому польскому языку этого времени. Писец же, неудачно пытаясь сохранить традиции древнепольских письменных памятников, искусственно создает формы давнопрошедшего времени, никогда не существовавшие в истории польского языка.

Труднее, кажется нам, объяснить употребление форм местоимений при подлежащем, выраженном существительным. Здесь можно только высказать предположение, что в этой черте отразилась линия развития тех польских говоров, которые теряли в перфекте связку во всех лицах и вынуждены были поэтому для уточнения лица употреблять при глаголе местоимение (как это имело место и в русском языке).

Во всяком случае, мы считаем, что «Гнезненские проповеди» заслуживают более пристального внимания исследователя, так как они в большей степени, чем другие религиозные памятники, отражают живой устный язык. Отнюдь не умаляя значения религиозных, пусть даже переводных, памятников для развития польского литературного языка, мы вместе с тем полагаем, что не меньшего внимания заслуживают памятники польской письменности, ближе стоящие к устному языку, так как именно они и показывают, что, несмотря на засилье латыни в письменности, народный язык не был задушен и продолжал развиваться, обогащая литературный язык.

Интересны в книге соображения автора о нормализующей роли печатной литературы в создании литературного языка. Т. Лер-Сплавинский характеризует этот процесс, иллюстрируя его различиями в языке писем и печатных произведений крупнейшего писателя XVI в. Лукаша Гурияцкого. Если для XV в. Т. Лер-Сплавинский отмечал большую близость языка стихотворных произведений (так называемой «светской поэзии») и живого языка (см. стр. 147), то для XVI в. он, напротив, говорит о некотором расхождении между языком поэтических произведений и языком разговорным.

Раздельно рассматривает автор язык прозаических и стихотворных произведений писателей XVI в., в том числе и Рея, хотя сам замечает, что «поэтический язык Николая Рея почти не отличается от языка его прозаических произведений» (стр. 179). Говоря о языке Берната из Люблина, Николая Рея и Яна Кохановского, автор вскрывает в творчестве этих писателей последовательные ступени в развитии литературного языка (см. стр. 178, 180, 181, 184). При этом мы согласны с утверждением автора, что «с точки зрения владения языком как орудием литературно-художественного творчества, значительно выше Рея стоит Ян Кохановский, величайший из польских поэтов XVI века» (стр. 181). Все лучшее, что создано Кохановским, писавшим и на латинском языке, написано на языке польском, который получил в творчестве поэта небывалую до тех пор художественную поэтическую выразительность. Об этом ярко свидетельствуют поэтика и стилистика его «Фрашек», «Песен» и «Трэнгов». Его язык приблизился к разговорному языку (это особенно заметно на «Фрашках») и впитал в себя народные элементы, что вело к дальнейшему развитию польского национального языка.

Однако нам кажется, что автор несколько недооценивает роль Рея в создании литературного языка. Именно те черты языка Рея, которые отмечает сам Т. Лер-Славинский: «это язык живой, разговорный, лексически богатый, фразеологически выразительный» (стр. 179), — делают Рея подлинным создателем национального польского литературного языка, наравне с Кохановским, несмотря на различие их языковых стилей. Польский ученый Владислав Неринг был глубоко неправ, когда в своей работе «Развитие польского языка в XVI в.» отказывался считать Рея одним из создателей польского литературного языка на том лишь основании, что Рей писал так, как говорил. Как активно относился Рей к созидательной стороне художественной речи, как стремился он сделать ее наиболее доступной для широких масс своего времени, не знавших латинского языка, показывает, например, такой факт: вводя в польский текст своих произведений то или иное латинское выражение, Рей, как правило, переводит его тут же на польский язык. Ср., например, случаи подобного перевода латинских выражений в таком произведении, как «Жизнь честного человека». Латинские цитаты, содержавшие поговорки и пословицы, Рей также в большинстве случаев не передавал дословно, а объяснял их своими словами, иногда в стиле польской поговорки. Вообще в своих произведениях Рей широко использует различные польские народные пословицы, поговорки, фразеологические сочетания. Все это вместе взятое делает его язык самобытным, оригинальным, во многих чертах отличным от языка Кохановского. Художественный язык Рея является величайшим достижением эпохи польской реформации, поскольку он отражает основные тенденции развития общенародного польского языка на данном историческом отрезке.

Хотелось бы также увидеть в книге Т. Лер-Славинского более полный и детальный анализ процесса формирования национального польского языка. Правда, он отмечает, что «поэтический язык, поставленный на новые пути первыми романтиками во главе с Мицкевичем, развивался быстро и бурно и за короткое время, в „Ranu Tadeusza“ и особенно в блестящих в стилистическо-языковом отношении произведениях Словацкого, достиг наивысшей в истории польского языка ступени блеска и мастерства» (стр. 260). Но нельзя было при этом забывать и того, что в первой половине XIX в., в связи с приходом новых демократических слоев польского общества на арену социальной и политической борьбы, в связи с развитием науки и технической культуры под влиянием растущего капитализма, в связи с обогащением национальной литературы разнообразными прозаическими и поэтическими жанрами (лирико-драматическая поэма, комедия, роман, повесть, новелла или гавэнда), получил свое дальнейшее развитие и польский литературный язык, сохранивший при всем этом лучшие реалистические традиции языка XVI и XVIII вв.

Как известно, неопределенный вклад в дело дальнейшего развития польской литературной речи внес поэтический язык Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и других выдающихся поэтов и писателей. В то время как «варшавские классики» всячески стремились затормозить движение польского литературного языка вперед, вводили различные ограничительные правила и вели усердную борьбу с проникновением в язык элементов просторечия, слов, выражающих народные крестьянские понятия, различного вида так называемых «провинциализмов» и т. п. — гениальный польский поэт Мицкевич вслед за Красицким и Трембецким продолжал прогрессивную линию в истории развития польского литературного языка. Вопреки «варшавским классикам» он считал основным двигателем в развитии литературной речи «воскрешение (родных) слов, незаслуженно забытых, внедрение чужих (слов) из братского языка (имелся в виду украинский язык), создание новых, нарушение (обычно принятого) синтаксиса, использование смелых выражений и оборотов», борьбу с галломанией и т. п. В ответ на нападки «классиков» Мицкевич заявлял: «Я признаю, что не только остерегаюсь провинциализмов, но может быть употребляю их сознательно». В этот период польский литературный язык совершенно закономерно впитывал в себя большое количество русизмов, украинизмов, белорусизмов и т. п., что нашло яркое выражение в языке и в стиле произведений Мицкевича, Словацкого, Богдана Залесского, Гошинского,

Кондратовича и многих других, творчество которых было тесно связано с развитием передовой русской и украинской культуры. Язык Мицкевича явился наилучшим образцом польского литературного языка для последующих поколений вплоть до наших дней.

Наконец, огромное влияние на демократизацию и обогащение польского литературного языка оказало и народно-освободительное движение 40—60-х годов. Оно проявилось в усиленной борьбе за национальный облик польского языка против аристократически-шляхетской жаргонной речи, испорченной иностранными (главным образом, французскими) словами (ср. эту речь, переданную в пародийном плане, в поэме Владимира Вольского «Отец Гилярий»), в непрерывной борьбе против преподавания такой речи в иезуитских школах (эту искусственную речь сатирически изобразил Людвиг Кондратович в гавенде «Фрагменты о Филиппе из Конопля»). Именно под влиянием революционной ситуации в народно-освободительном движении 30—40-х годов, в борьбе с врагами народной революции формировался, крепнул и оформлялся страстный, боевой публицистический язык польского революционного демократа Эдварда Дембовского и выразительный язык революционной поэзии Густава Эрзенберга, Эдмунда Василевского и других. Этих существенных моментов, повторяем, нельзя забывать при анализе языка данной эпохи.

Некоторое недоумение вызывает абсолютное отсутствие в книге характеристики языка такого яркого, талантливого представителя лучших демократических традиций польской литературы, как Мария Конопницкая.

Характеристика языка писателей послеромантического периода и оценка их роли в создании польского литературного языка дается автором несколько односторонне. Основным критерием этой оценки является почти исключительно использование диалектизмов. При этом недостаточно разграничена роль диалектизмов и архаизмов как индивидуального для данного автора средства языковой стилизации и как источника обогащения польского литературного языка. Сам Т. Лер-Сплавинский говорит в отдельных случаях об этом более широком значении использования диалектизмов и архаизмов, но не выделяет эту сторону дела в той мере, как она того бы заслуживала.

Кроме того, хотелось бы также видеть более подробный стилистический анализ языка произведений классиков и современных авторов. Но для этого, конечно, нужны еще многие предварительные работы, которые не могут быть осуществлены силами одного человека.

Одиннадцатая глава книги посвящена, в основном, оценке современного польского национального и официального языка. Нельзя не согласиться с той критической оценкой, которую дает Т. Лер-Сплавинский языку польской журналистики. Призыв ученого к очищению языка польской прессы от злоупотребления заимствованиями, к сближению этого языка с живой речью народных масс, насыщенной яркими образными идиомами, — действительно является вполне своевременным (см. стр. 355—356). В заключение в книге дан краткий обзор истории исследований польского языка. Советский читатель с интересом прочтет этот очерк. Заметим только, что в нем почти не отражена богатая плодотворная научная деятельность в области славистики самого автора книги.

Что касается качества перевода, то здесь можно отметить бережное отношение к авторскому тексту. Сокращения, которые допущены в советском издании книги, незначительны и вполне оправданы. Перевод книги, в общем хороший и тщательный, не лишен, однако, некоторых недочетов. Кое-где встречаются случаи неточной передачи текста подлинника. Например, авторский текст: «...obscijacymi ze sobą we wspólnym i wspólpracy produkcyjnej» передан в переводе «...о б щ е д и е н н ы м совместной жизнью и производственным сотрудничеством» (стр. 7). Здесь следовало сохранить важное в применении к языку понятие «о б щ а ю щ и м и с я между собой в жизни и в производственном труде». На стр. 128 слова оригинала: «W każdym gazie» («во всяком случае») переведены: «т а к и м о б р а з о м». Такой перевод искажает логическую связь мыслей автора.

На стр. 259 текст: «когда очами тоски видит, как на парижской мостовой» «sreb- gzy! się mech siwobrody...» благодаря неудачной перестановке слов в переводе оказался искаженным и может вызвать недоумение читателя. На самом деле Мицкевич не «видит мох на парижской мостовой», а находясь на парижской мостовой, мысленно вспоминает родную Литву и ее природу. Следовало бы построить фразу таким образом: «когда, находясь на парижской мостовой, видит очами тоски, как...» (далее польская цитата из Мицкевича); тогда не получилось бы двусмысленности.

Есть случаи, когда перевод, правильно передавая мысль автора, оставляет желать лучшего в стилистическом отношении. Например, на стр. 95 «лексика разнообразна» — новообразование автора, калькирующее польскую конструкцию «urozmaica się». На стр. 135 читаем: «сохранить в точности их букву и содержание». В контексте, трактуемом о древнепольских памятниках, метафорическое употребление слова «буква» несколько рискованно. На стр. 145 дано: «увеличением немецких поселенцев» вместо «числа или численности немецких поселенцев». На стр. 150: «стихотворение

(об убийстве Андрея Тэнчинского) появилось, несомненно, в непосредственной связи с этим громким делом» (т. е. с событием 1461 г., когда жители Кракова убили войничского кастеляна А. Тэнчинского). Выражение «громкое дело» имеет несколько иную стилистическую окраску и поэтому в данном контексте не совсем уместно. Лучше было бы сказать: «с этим историческим событием».

В ряде случаев нельзя согласиться с передачей на русском языке терминов, употребляемых Т. Лер-Славянским. Например, «*Staro-cierkiewno-słowiański*» — обычный термин польской лингвистики, который следовало передать обычным для советской лингвистики термином «старославянский». Переводчик же передал его термином «староцерковнославянский» (стр. 6). Термин «*protobaltyski*», который употребляет Т. Лер-Славянский, следовало передать также «протобалтийский», так как термин «пробалтийский» (*probaltyski*) автор употребляет в ином значении. Нам кажется, что сочетание «*najwyższych grup społecznych*», данное Лер-Славянским, следовало передать словами «высших слоев общества». Так же неудачно, на наш взгляд, выражение, взятое из философской терминологии: «вещных» и личных форм (стр. 213) вместо: «предметных» и личных форм; термин «предметный» более употребителен в лингвистической терминологии.

Мы не можем согласиться с некоторыми транскрипциями перевода: они не всегда последовательны, а в ряде случаев просто не оправданы. Зачем, например, нужно подчеркивать неверную традицию транслитерации польского сочетания *rz*, которое, как известно, означает один звук — *ж* (а после глухих согласных — *ц*). Почему не сохранить действительное польское звучание — Жевуский, Кшицкий, Ожеховский, Коженёвский, а давать искаженные написания: Ржевуский (стр. 264), Кржицкий (стр. 201), Оржеховский (стр. 172), Корженёвский (стр. 263) и т. п. Тем более, что рядом с этим мы имеем правильную транскрипцию: Свентокжизские проповеди (стр. 85), Ожешко (стр. 267). Неужели все дело только в опасении нарушить установившуюся традицию? Зато, наоборот, странное впечатление производит стремление воспроизвести особенности польского произношения смягченных губных: «Говианский» (стр. 263) вместо обычной формы «Говианский», «Виетор» (стр. 56) вместо «Ветор». Произношение смягченных губных с призвуком *i* не является фонемообразующей чертой, и поэтому не к чему воспроизводить его и в русской транскрипции.

С. С. Советов, Я. В. Мацюсович

Ар. Гарибян. Армянская диалектология. Фонетика и морфология. — Ереван, изд. Гос. заоч. пед. ин-та Арм. ССР, 1953. 460 стр. и 1 карта. [На арм. языке.]

Для исследования и уточнения истории армянского языка, для построения его исторической грамматики большое значение имеет исследование армянских диалектов, как низших форм армянского языка. Совершенно очевидно, что изучение того или другого языка, в частности армянского, невозможно без обследования его диалектов.

На протяжении последнего столетия ряд исследователей публиковал работы, посвященные некоторым армянским диалектам. Среди них особое место занимают труды покойного проф. Р. А. Ачаряна. В начале XX в. (в 1909 г. на французском языке, в 1911 г. — в более обширной редакции — на армянском) вышел в свет его труд «Армянская диалектология», в котором содержится морфологическая классификация армянских диалектов, причем приведены образцы из диалектов, известных в то время (тридцати одного), и дано краткое описание подавляющего большинства из них. В 1939 г. вышла в свет книга проф. А. С. Гарибяна «Новая ветвь армянских диалектов», в которой автор описал пять вновь открытых им диалектов.

«Армянская диалектология» А. С. Гарибяна, изданная в 1953 г., по научной разработке, широте кругозора и глубине анализа привлеченного материала представляет собой большую научную и практическую ценность, занимая особое место в истории армянской диалектологии. Изучая материалы по истории одного из самых богатых в диалектном отношении языков, долго и усердно работая над вопросами армянской диалектологии, используя накопившийся за многие годы в области армянской диалектологии опыт, проф. А. С. Гарибян создал большой научный труд, в котором он по-новому освещает вопросы армянской диалектологии и который является серьезным вкладом в языковедение, особенно в арменоведение.

В «Армянской диалектологии» рассматриваются вопросы фонетики и морфологии армянских диалектов; проблемы синтаксиса и лексикологии автор обещает разработать в будущем.

Книга состоит из трех разделов. Первый раздел, содержащий главы «Общее введение» и «Введение в армянскую диалектологию», посвящен рассмотрению вопросов армянской диалектологии и истории армянских диалектов, морфологической и фонетической классификации армянских диалектов и пр.; второй раздел — глава «Сравнительная диалектология армянского языка» — содержит краткий очерк сравнительной фонетики и морфологии армянских диалектов; в третьем разделе, содержащем главу «Армянская диалектология», описаны армянские диалекты, классифицированные по признакам отдельных ветвей.

В 1940 г. науке уже было известно около сорока диалектов армянского языка. В своем новом труде А. С. Гарибян добавляет еще шесть вновь открытых им диалектов, которые ранее не были описаны (несабский, сведийский, бейланский, карадахский, тавриз-моздокский и алашкертский), четыре диалекта, которые были приняты за говоры (хадженский, диадинский, озмийский, марашский) и один межветвенный диалект (ареш-аваринский), который вновь пересмотрен автором. Таким образом, А. С. Гарибян обнаружил одиннадцать диалектов и описал их особенности по сравнению с другими, причем открыл ряд диалектов, которые предшествующими учеными были оставлены без внимания.

Благодаря исследованиям А. С. Гарибяна, ныне стал известен 51 диалект армянского языка, которые объединяются в три большие группы и семь ветвей (вместо трех ветвей, на которые они были разделены прежде, до появления исчерпывающих данных). Кроме пересмотра и уточнения морфологической классификации диалектов, автор выдвинул также оригинальную фонетическую классификацию, в соответствии с которой он выделил более рельефно отличительные признаки диалектов и показал особенности фонетической системы каждого из них в грабарском (древнеармянском) языке и на последующих этапах развития армянского языка.

Исследуя проблему взаимоотношения армянских диалектов и общенародного языка на различных этапах его развития, в особенности в древнейший период его истории, А. С. Гарибян в этом своем новом труде верно решает вопрос о происхождении армянских диалектов: он показывает, что армянские диалекты являются ответвлениями общего армянского языка. Он намечает два фактора возникновения диалектов. Первый фактор — дифференциация языка, второй — объединение языков, в особенности разноплеменных, вследствие победы одного и гибели другого. Иначе говоря, армянские диалекты образовались или в результате дифференциации армянского языка, или в результате усвоения армянского языка неродственными племенами. Указанные процессы автор иллюстрирует богатым фактическим (фонетическим и морфологическим) материалом, умело применяемым сравнением армянских диалектов и общенародного языка (дописьменного и особенно письменного периода). При этом А. С. Гарибяну удается показать районы образования первых армянских диалектов, а именно: Цопк (Софена) и его окрестности — диалекты ветви «К» (в них настоящее время глагола образуется посредством этой частицы), Айрат — диалекты ветви «Ум» (настоящее время глагола образуется с суффиксом *ум*) и др.

А. С. Гарибян с правильных позиций решает многие запутанные в период господства марризма вопросы арменоведения. Уместно отметить, что А. С. Гарибян, принимавший деятельное участие в пропаганде «нового учения» Н. Я. Марра, в рецензируемой книге преодолел прежние ошибки.

Труд А. С. Гарибяна «Армянская диалектология» представляет собой и большую практическую ценность. Он может служить хорошим руководством для студентов филологических факультетов по курсу армянской диалектологии. Последующие изыскания могут выявить новые диалекты и дополнительные материалы, но рецензируемая работа не потеряет от этого своей ценности.

В заключение выскажем следующее замечание: было бы желательно, чтобы в своей книге автор привел побольше текстов из различных диалектов (в особенности из тех, которые впервые описаны им самим). Это принесло бы несомненную пользу изучающим армянскую диалектологию и специализирующимся в этой области. Надеемся, что указанный пробел будет восполнен А. С. Гарибяном в другой его книге, посвященной рассмотрению синтаксических и лексических вопросов армянской диалектологии.

Итак, труд проф. А. С. Гарибяна «Армянская диалектология» имеет свои бесспорные достоинства, благодаря которым он представляет большой научный интерес. Этот труд является крупным вкладом в лингвистику вообще и в арменистику в частности.

А. А. Мурзалин



А. Широкова. Очерк грамматики чешского языка. — М., Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1952. 191 стр.

Не вызывает сомнений тот факт, что знакомство русистов с зарубежными славянскими языками очень важно в практическом и научном отношении. Изучение любого славянского языка дает неизмеримо больше результаты, если исследователь имеет возможность сравнивать явления родного языка с показаниями родственных славянских языков. Вместе с тем укрепление экономических и культурных связей Советского Союза с Польшей, Чехословакией, Болгарией и Югославией связано со все возрастающим интересом советских людей к языку, культуре и истории народов названных стран. К сожалению, в имевшихся до сих пор пособиях по зарубежным славянским языкам грамматический строй их описан неполно, переводные же работы, не учитывающие фактов русского языка, полезны для справок, но не могут заменить отечественных грамматик славянских языков.

«Очерк грамматики чешского языка», созданный А. Г. Широковой в процессе преподавания этого языка на филологическом факультете МГУ, должен сыграть важную роль в деле повышения уровня филологической подготовки студентов, изучающих русский язык. Как указано в редакционном предисловии, «Очерк» представляет собой первый в нашей учебной литературе опыт изложения основ грамматического строя чешского языка. Он предназначен для студентов филологических факультетов, а также для лиц, желающих практически и теоретически познакомиться с современным чешским языком». Далее в предисловии отмечается важная в методическом отношении особенность книги: «Изложение материала строится автором на сопоставлении фактов русского и чешского языков».

«Очерк» состоит, в основном, из двух больших разделов: фонетики и морфологии с элементами синтаксиса современного чешского языка. Разделу фонетики предпослана таблица чешского алфавита с указанием названий чешских букв и их русского произношения, а также краткие, но ясные сведения по графике и орфографии чешского языка (стр. 5—6).

Раздел «Фонетика» (стр. 7—35) занимает одну пятую часть очерка. Он включает прежде всего главу «Звуковой состав чешского языка», в которой описана система гласных, дана характеристика неслоговых *i* и *ɨ*, слоговых плавных *ɹ* и *l*, приводится система согласных с характеристикой их соотношения по звонкости и глухости, твердости и мягкости. В главе «Ударение. Интонация» описано чешское слоудоударение, сделаны некоторые замечания о фразовой интонации энклитик и проклитик в потоке речи. В главе, названной «Пронашения», описано чешское придыхание, даны указания о произношении различных групп согласных, согласных в исходе слова, описаны важнейшие явления межсловной фонетики и произношение иностранных слов. Завершает этот раздел глава «О некоторых звуковых особенностях чешского языка», посвященная по преимуществу описанию непозиционных чередований гласных и согласных. Наряду с чередованиями дана характеристика явлений так называемой перегласовки гласных и их стяжения. В отдельном параграфе проведено сопоставление русских полных согласных сочетаний с соответствующими фактами чешского языка.

В разделе «Морфология» представлено восемь глав в соответствии с частями речи, которых касается автор, а именно: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Имя числительное», «Глагол», «Наречие», «Предлоги», «Союзы».

Как отмечалось, рецензируемая книга имеет практическую направленность и предполагает у читателя знакомство с основами языкознания (по крайней мере, с курсом введения в языкознание и современного русского языка). Вследствие этого автор намеренно исключил из своего изложения такие вопросы, как характеристика частей речи в чешском языке, определение грамматических категорий, упоминаемых в книге; в разделе фонетики нет, например, определения понятия фонемы, нет описания строения органов речи и физиологии образования звуков, не излагается вопрос о структуре слога и слогоразделе; в разделе морфологии не дано определения предмета грамматики и, в частности, морфологии, нет описания основных значений падежных форм и их употреблений и т. п.

Нам представляется, что подобный характер изложения оправдан и не вызовет затруднений у пользующихся книгой, в особенности если учесть, что все основные отличия грамматической системы чешского языка от русской в соответствующих местах отмечаются и разъясняются. Однако можно упрекнуть автора в том, что он иногда слишком краток при изложении важных, но не имеющих однозначного решения вопросов. Так, на стр. 10 отмечается, что «дифтонг *ou*, чередуясь с *u* в одних и тех же корнях, образует особую фонему: *sud* „бочка“ и *soudek* „бочонок“». Между тем вопрос о фонематическом значении дифтонгов этого типа весьма сложен. Чешские фонологи иногда подразделяют дифтонги на однофонемные и двухфонемные. Во втором случае дифтонг складывается из сочетания двух фонем, которые в языке встречаются также самостоятельно. Со времени появления работы И. Вахэка «Über die phonologische Interpretation der Diphthonge» (1933 г.) было несколько весьма противоречивых высказыва-

ний на эту тему. Естественно, что автор должен был подвергнуть этот случай более подробному анализу. На стр. 88 говорится: «Изменение семантики и появление новых синтаксических связей способствует обособлению кратких прилагательных от категории имени прилагательного и переходу их в категорию состояния». В дальнейшем изложении автор к этому вопросу не возвращается. Между тем замечания по важному в теоретическом отношении вопросу о категории состояния в чешском языке были бы интересны для русского читателя.

Непонятно также отношение автора к словообразованию. Словообразовательные возможности частей речи в книге не освещаются, кроме случаев видовой соотносительности глаголов. Очевидно, что отсутствие этого раздела снижает ценность книги и не является мотивированным. Наиболее отчетливо этот недостаток сказывается в главе о чередованиях (см. ниже), но и при изложении отдельных частей речи в чешском языке хотелось бы видеть замечания хотя бы о наиболее продуктивных типах словообразования, тем более, что в последнее время в нашей литературе рассмотрение вопросов словообразования проводится в тесной связи с описанием морфологической структуры языка [ср. в этом плане академическую «Грамматику русского языка» (т. I) и курс «Современный русский язык. Морфология», изд. МГУ]. Даже в «Очерке грамматики русского литературного языка» Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова (Учпедгиз, 1945), к которому рассматриваемая работа более всего приближается по своему типу, имеются небольшие главы, посвященные словообразованию.

Перейдем к замечаниям более частного характера. В предисловии «От редакции» приведены некоторые весьма краткие сведения по истории развития чешского языка. Они не могут удовлетворить читателя, который ожидал бы более подробных данных о территории, занимаемой носителями чешского языка, о числе говорящих на этом языке, о месте чешского языка среди других славянских, о виднейших писателях, развивавших литературный язык в XIX и XX вв. В данном типе учебного пособия подобные сведения не только желательны — они просто необходимы. В свою очередь глава о взаимоотношении чешского литературного языка и народно-разговорной речи, исключенная почему-то издательством, помогла бы читателю более сознательно отнестись к замечаниям автора, приводимым петитом во всех разделах книги [эта глава напечатана автором во втором выпуске «Славянской филологии» под названием «К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью», стр. 3—37 (изд. МГУ, 1954)].

Раздел фонетики вызывает следующие замечания:

1. В методическом плане является недостатком отсутствие указания на непустотность редукции чешских гласных, которая наличествует в русском языке. В этом пункте автор отошел от своего обещания систематически сопоставлять факты чешского языка с русскими, он указывает лишь, что «краткие гласные чешского языка по своему образованию близки соответствующим гласным русского языка» (стр. 8).

2. При описании звука *e* (стр. 8) более ясно следовало бы сказать, что начальное *e* произносится без йотации. Для читателя это имеет значение.

3. *a* (краткое), вопреки утверждению автора, встречается не только в заимствованных, но и в ряде исконно чешских служебных слов: *aby, asi, ale, ani, aspoň, avšak, až, ačkoliv* и т. д. (стр. 9).

4. Чтобы ярче показать фонематическое свойство дифтонга *ou*, нужны более показательные примеры (ср. *sud* «бочка» и *soud* «суд»). Примеры на стр. 10 относятся не к этой «сильной» позиции, а к словообразовательным и словоизменительным категориям.

5. Обозначение звука *g* не отмечено в разделе графики и орфографии, нередко для него используются знаки из разных гарнитур (стр. 11).

6. Формы инфинитива приводятся с окончаниями *-ti* и *-t*: *jistiti* «утверждать» (стр. 6) и *koupat* «купать» (стр. 9). Необходимо до соответствующих разъяснений употребить одну форму.

7. При характеристике твердых и мягких согласных на стр. 12 не отмечено положение *l* и *ř*.

8. В таблице согласных на стр. 12 слитные *s, š, ř* отнесены по небрежности к сонорным; не все примеры даны в переводе: понятные слова переводятся, а такое слово, как *omáčka* «соус», оставлено без перевода (стр. 9); не вполне выдержана система подачи материала петитом.

9. Неудачным является название одной из глав «Произношение», так как все предшествующее изложение тоже касалось произношения звуков.

Несмотря на отмеченные погрешности, изложение фонетики живое и целеустремленное. Оно вполне удовлетворяет поставленной задаче — ознакомить русского читателя с звуковым составом современного чешского языка.

Это впечатление изменяется, когда знакомишься с главой, посвященной звуковым чередованиям, которая производит впечатление каталога разнородных фактов. Не приходится говорить о том, что в настоящее время большая часть разбираемых здесь типов чередований характеризует определенные словообразовательные типы и по су-

ществу должна рассматриваться в разделе морфологии. Сам автор отмечает, что указанные типы чередований «мы находим в различных частях речи» (стр. 32). Рассмотрение чередований в связи со словообразованием или выделение хотя бы важнейших чередований, приобретших морфологическую значимость, оживило бы изложение и сделало бы его более научным.

Уже было отмечено, что в книге нет особой главы, посвященной лексико-грамматической характеристике частей речи чешского языка; автор сразу начинает описание отдельных частей речи.

В главе о существительном следует отметить некоторые не вполне удачные формулировки. На стр. 36 говорится, что «существительные в чешском языке, как и в русском языке, различаются (разрядка наша.— Н. К.) по родам: мужской, женский и средний». Правильнее было бы говорить о принадлежности имен существительных к одному из трех родов. Далее утверждается, что «к существительным мужского рода относятся существительные, оканчивающиеся в им. пад. ед. числа на твердый или мягкий согласный в основе». Здесь слово «оканчивающиеся» неточно: лучше говорить об отсутствии окончания и основе на согласный. Относительно звательной формы следовало бы сказать, что она отсутствует у имен существительных среднего рода и во множественном числе, тогда не было бы нужды вводить в соответствующие парадигмы несуществующую форму.

На стр. 38 отмечается, что «к существительным твердой разновидности относятся существительные с твердым согласным основы», а в качестве первого примера неправильно указано слово *stítl*, хотя в дальнейшем говорится о колебаниях в склонении имен на -l. На стр. 40 говорится об отсутствии категории одушевленности в чешском языке для существительных женского и среднего рода (множественного числа), но не указано, что это относится и к существительным мужского рода (винительный падеж множественного числа). На стр. 48 об этом явлении упоминается, но уже без сопоставления с русским языком.

Автор, отступая от чешской грамматической традиции, идущей от грамматик Гебауера и его продолжателей, в качестве образцов склонения взял не обычные *chlap*, *dub*, *orač*, *sluha* и т. п., а освежил примеры, остановившись на таких словах, как *pán*, *muž*, *hrdina*, *zahrada* и т. д. Чешские авторы в последнее время поступают так же, заменяя традиционные образцы более актуальными словами *stroj*, *stavení*, *předseda* и др.<sup>1</sup> Это вполне закономерно. Однако некоторые слова, взятые за образец, склоняются нерегулярно: так, слово *pán* в звательной форме единственного числа представляет исключение — краткость гласного основы *pane!*, а образец *pišeň* содержит беглый гласный. Кроме того, было бы нагляднее и логичнее, если бы слова, взятые в качестве образцов склонения, фигурировали бы и в перечне склонений на стр. 36—37.

Можно еще указать, что на стр. 42 при склонении слова *Leningrad* — *Leningradu* дано неверное пояснение: (из *hrad*). В историческом плане здесь обратное соотношение. Правильнее было бы сказать, что слово *Leningrad* склоняется как *hrad*. На стр. 38 неправильно употребляется термин «доисторический» в значении праславянский, общеславянский. В целом глава о существительном дает хорошее представление о его современной структуре в чешском языке.

Несколько поправок и замечаний к другим именным частям речи (особенно местоимениям):

1. На стр. 98 неудачно сказано о возвратном местоимении *se*: «Характерной особенностью всех личных местоимений, а также местоимения *se* является то, что в форме именительного падежа у них другая основа, отличная от основы прочих падежей». Как известно, возвратное местоимение не имеет формы именительного падежа.

2. На стр. 98 пункты 2 и 3 нужно поменять местами.

3. В таблице на стр. 99 в родительном падеже единственного числа мужского рода не указана энклитическая форма *ho*.

4. На стр. 100 после пункта 3 идет 5. Где же 4?

5. На стр. 105 (п. 3) следовало бы сказать о выражении принадлежности 3-му лицу мужского и среднего рода (формы *jeho*, *jejich*).

В главе, посвященной глаголу, принципиально новой является предложенная автором в 1948 г. классификация чешского глагола<sup>2</sup>, которая строится на основе форм 1-го лица единственного числа настоящего времени и приводит к делению глаголов на три класса с последующим подразделением — путем сопоставления основы настоящего времени с основой прошедшего времени — на более мелкие подгруппы.

<sup>1</sup> Ср. В. Navránek, A. Jedlička, *Česká mluvnice. Základní jazyková příručka*, Praha, 1951; «Cvičebnice jazyka českého pro I. třídu gymnasia a vyšší odborné školy», [2-е изд.], Praha, 1952.

<sup>2</sup> См. А. Г. Широкова, К вопросу о классификации чешского глагола, «Вестник Моск. ун-та», 1948, № 4.

Для русских, изучающих чешский язык, это является правильным и удобным в практическом отношении. Целесообразность применения этой классификации при обучении в чешской школе и замена шести- или пятичленной классификации по форме 3-го лица единственного числа настоящего времени требует отдельного обсуждения.

Книга издана хорошо (если не считать аляповатой обложки); число замеченных опечаток невелико: стр. 12: *džban* «кувшин» — следует *džbán*; стр. 64: *káčně* «утенок» — следует *kachně*; стр. 85: *ich* — следует *jist*; стр. 100: форма *ho* употребляется в безударном предложении — следует «положения»; стр. 104: *vaš* — следует *váš*; стр. 106: *žíst* — следует *žísti*.

Остановимся также на вопросе, в какой степени элементы синтаксиса должны сопровождают изложение морфологической структуры такого флективного языка, как чешский. Функционирование слова в составе словосочетания и предикативных единиц — предмет синтаксиса. В разбираемом пособии необходимость синтаксической точки зрения диктуется задачей сопоставления фактов двух родственных языков. В подавляющем большинстве случаев этот принцип и осуществлен. Однако при изложении условного наклонения не подчеркнута принципиальное отличие чешских конструкций с формой прошедшего времени от русских с инфинитивом (*я пришел, чтобы ехать* — *řišel jsem, abych vzal*). Не рассмотрены случаи употребления одного времени вместо другого и вообще значение временных форм. Перед автором, несомненно, возникали трудности, вызванные неразработанностью вопросов сравнительного синтаксиса; например, как излагать значения падежных форм в сопоставительном плане, в каких формах и объеме вести сопоставление чешского и русского глагольного управления и т. п.

Несмотря на все отмеченные недостатки, можно сделать вывод, что «Очерк грамматики чешского языка», являющийся первым и пока единственным не только в нашей учебной, но и научной литературе, написан со знанием дела, на уровне современных научных знаний и уже приносит пользу в учебном процессе.

В заключение укажем, что соответствующий сектор Института славяноведения АН СССР, сосредоточивший свое внимание на составлении очерка грамматики болгарского языка, диалектологического атласа болгарских говоров на территории СССР и на важных, но частных проблемах сравнительной грамматики славянских языков, до сих пор не дал работ по грамматическому строю и словарному составу славянских языков, которых ожидают советские языковеды. Заинтересованные издательства также мало работают над подготовкой книг, подобных рецензируемому труду.

Н. А. Кондрашов

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А. И. СМЕРНИЦКОГО

1 июня 1954 г. лингвистическая секция Ученого совета филологического факультета Московского государственного университета посвятила специальное заседание памяти скончавшегося 22 апреля 1954 г. проф. А. И. Смирницкого. На этом заседании товарищи покойного ученого и его ученики рассказали собравшимся о многогранности личности А. И. Смирницкого, глубине его исследовательского метода и богатстве тематики его научных работ.

Всего было заслушано девять докладов.

С. Б. Берштейн, отметив широту научных интересов А. И. Смирницкого (вопросы фонологии, проблемы морфологического членения основ и слов, задачи истории языка, разграничение синхронии и диахронии и мн. др.), остановился специально на взглядах А. И. Смирницкого, касающихся сравнительно-исторического метода и его применения. А. И. Смирницкий, сказал докладчик, всегда настаивал на том, что изложение дописьменного периода истории любой группы родственных языков должно опираться на данные сравнительно-исторического языкознания. Он считал, что основной задачей сравнительно-исторического метода в языкознании является реконструкция не зафиксированных письменностью языковых фактов доисторического прошлого путем планомерного сравнения двух или более родственных языков более позднего периода. С. Б. Берштейн подчеркнул, что это положение А. И. Смирницкого не вызывает сомнения. «Тот факт, что сравнительно-исторический метод, — писал А. И. Смирницкий, — есть метод восстановления, никак еще не означает, что восстановление прошлых языковых фактов является самоцелью, как это нередко представлялось языкознанию середины XIX в., а отчасти и более позднему. На самом деле роль лингвистического восстановления совершенно иная: оно выступает не как самостоятельная цель, а как средство, как необходимое условие для объяснения наблюдаемых отношений между языками и различных явлений в самих данных языках»<sup>1</sup>.

Известно, что сопоставление родственных морфем — душа сравнительного метода, но обычно в определении принципов сравнительно-исторического метода этот тезис отсутствовал. Между тем А. И. Смирницкий прямо указывал, что когда речь идет в плане применения сравнительно-исторического метода, имеется в виду морфема<sup>2</sup>. Вопросы реконструкции синтаксиса не могут быть решены с помощью тех же приемов, которые применяются к реконструкции родственных морфем. Поэтому перед специалистами по синтаксису стоит задача выработки методов сравнения синтаксических явлений, отличных от принципа сравнения морфем. Отмечая немотивированность связи между звучанием и значением слова, А. И. Смирницкий писал: «Ведь именно благодаря немотивированности этой связи совпадение известного звукового сходства, вернее, звукового подобия, данных разноязычных единиц с одинаковостью или близостью их значений может служить серьезным указанием на генетическое тождество этих единиц, на реально общее их происхождение»<sup>3</sup>. А. И. Смирницкий отмечал, что в синтаксисе, наоборот, большую роль играет принцип мотивированности, вследствие чего всякая реконструкция в этой области гораздо гипотетичнее, нежели в области фонетики и морфологии. По его мнению, понятие языка как системы медленно проникает в сравнительно-исторические исследования. В частности, перед специалистами по сравнительной грамматике стоит трудная задача применения фонологического метода изучения истории древнейших периодов языка. А. И. Смирницкий неоднократно высказывал также пожелание, чтобы при сравнительно-историческом

<sup>1</sup> А. И. Смирницкий, Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства (печатается).

<sup>2</sup> См. там же.

<sup>3</sup> А. И. Смирницкий, К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании, «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 8.

изучении языков применялись новые методы, укрепившиеся уже в описательных грамматиках.

С. Б. Бернштейн в своем докладе указал вместе с тем на свое несогласие с мнением А. И. Смирницкого о необходимости разграничения внешней и внутренней реконструкции и применения фоно-морфологического анализа, который наличествует и при сопоставительном изучении неродственных языков.

В. В. Пассек посвятил свое выступление теме объективности существования языка и проблеме языка и речи в трудах А. И. Смирницкого. Докладчик перечислил важнейшие труды А. И. Смирницкого, в которых освещены вопросы слова, его морфологического анализа, звуковой оболочки слов, соотношения лексического и грамматического в слове, отношения слова и понятия. Центральной проблемой, объединяющей все вопросы, интересовавшие А. И. Смирницкого, была проблема объективности существования языка. С этим связано и его понимание языка и речи. Следует отметить, что А. И. Смирницкий считал предложение единицей речи, тогда как слово выступает в качестве основной единицы языка. На вопрос: где и как существует язык? — А. И. Смирницкий отвечал: «в речи». Внешняя сторона языка, говорил он, представлена звучанием, которое следует четко отграничивать от «звуковых образов», как отражения реальных звучаний в мозгу, т. е. от знания этих звучаний. Внутренняя же сторона языка, образуемая значением его единиц, совпадает со знанием значений. Соединение звучания со значением не есть простая «ассоциация», как утверждал де Соссюр. Звучание играет важную роль в образовании самих значений (конечно, на основе непосредственного соприкосновения с действительностью и отражения ее). Коллектив через звучание передает опыт многих поколений индивидуально; поэтому значение оказывается не индивидуальным, а общественным явлением.

Язык, по мысли А. И. Смирницкого, не только произносит речь, но и питается речью. Существование каждой единицы языка было определено А. И. Смирницким как регулярное ее воспроизведение в общественном масштабе. Отсюда следует и решение проблемы соотношения синхронии и диахронии. У зарубежных лингвистов, начиная с де Соссюра, эти два явления были оторваны друг от друга. А. И. Смирницкий требовал строгого разграничения синхронии и диахронии. В статье «По поводу конверсии в английском языке» (1954) А. И. Смирницкий на анализе морфологического строения слова *зонтик* показывает, как не совпадает то, «что было», и то, «что стало». Но и для синхронии элемент времени не может быть исключен. Всякое синхроническое изучение языка должно быть историческим. По мысли А. И. Смирницкого, язык не следует смешивать с речью (как это делают многие языковеды, не удовлетворенные решением этого вопроса у де Соссюра). А. И. Смирницкий вскрыл ошибку де Соссюра, оторвавшего язык от материальности и допускавшего последнюю только в речи. То, что де Соссюр называет «языком», на самом деле только знание языка, а не сам язык. Язык — это органическое соединение звучания и значения.

И. С. Поселов посвятил свой доклад учению А. И. Смирницкого о слове как «центральной, узловой единице» языка, где «...сплетаются, перекрещиваются и взаимодействуют лексические и грамматические моменты»<sup>4</sup>. Все прочие единицы языка (морфемы, фразеологические единицы, грамматические построения и т. п.) так или иначе обусловлены наличием слов и предполагают существование такой единицы, как слово. По сравнению с морфемой слово отличается своей более свободной выделяемостью, что обусловлено определенной его оформленностью и законченностью. Слова с грамматической точки зрения характеризуются не только своей заменяемостью (с учетом нулевых окончаний), но и закономерностями соединения с другими словами, т. е. грамматической сочетаемостью. Между словом и морфемой — принципиальное различие, которое не понимают американские структуралисты (Блумфилд, Харрис и др.). «Даже в одноморфемном слове морфема выступает не сама по себе, а как единица, входящая в состав слова»<sup>5</sup>, — писал А. И. Смирницкий.

Много внимания уделил А. И. Смирницкий вопросу о разграничении слова и словосочетания. Основной признак слова (даже сложного слова) — это цельнооформленность, чем не обладает словосочетание, которое может выражать одно понятие и быть идиоматичным. Кроме понятия цельнооформленности (и раздельнооформленности) А. И. Смирницкий вводил и некоторые другие грамматические понятия, как, например, словоформа, разумея под этим не просто грамматическую форму, но определенное слово в определенной грамматической форме. Таким образом, грамматическая форма в концепции А. И. Смирницкого получала максимально абстрактный характер. Расходясь со школой Фортунатова, А. И. Смирницкий утверждал, что «...отсутствие какой-либо грамматической формы у слова совсем не означает, что данное слово яв-

<sup>4</sup> А. И. Смирницкий, К вопросу о слове. (Проблема «отдельности слова»), сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языковедению», М., 1952, стр. 182.

<sup>5</sup> А. И. Смирницкий, Лексическое и грамматическое в слове, сб. «Вопросы грамматического строя» (готовится к печати).

ляется грамматически не оформленным». Так, например, неизменяемость наречия *дома* грамматически отличает его, как законченное целое слово определенного класса, от изменяемого слова другого класса: *дом, дома, дому...* и тем самым грамматически его оформляет<sup>6</sup>. Поэтому определение грамматической оформленности должно учитывать не только изменяемость слова, но и его грамматическую сочетаемость с другими словами. Так, грамматически различаемы неизменяемые слова в русском языке *вопреки* и *таки* (*поступить вопреки распоряжениям, но рубашка цвета таки*).

Таким образом, изменяемость слова и его сочетаемость имеют нечто единое в своем источнике, потому что в грамматических явлениях выражаются при помощи изменений и сочетаний слов мысли об отношениях между предметами, свойствами, явлениями действительности. При этом следует различать внутреннюю сторону грамматических явлений — смысловое выражение различных отношений и внешнюю — средство выражения этих отношений в изменениях и сочетаниях слов.

Исходя из этого А. И. Смирницкий считал, что различие единственного и множественного числа существительных — не лексическое, а грамматическое; на этом же основании такие пары «слов», как *рельс* — *рельса, санаторий* — *санатория*, А. И. Смирницкий считал лишь вариантами того же слова, а не разными словами. Особое внимание уделял А. И. Смирницкий парадигматической схеме: «Парадигматическая схема характеризует обычно грамматическое изменение некоторого большего или меньшего числа слов и, таким образом, объединяет их в известную грамматическую группу<sup>7</sup>. В связи с этим и части речи, в понимании А. И. Смирницкого, выступают как класс слов, который характеризуется определенной парадигматической схемой вместе с определенной грамматической сочетаемостью.

Особо привлекало внимание А. И. Смирницкого разграничение лексического и грамматического в слове. Так, в словоформе *скамейка* лексическими морфемами он считал корневую *скамей-* и суффиксальную *-к-*, выделяя морфему *-а* как грамматическую. Понятие лексико-грамматического А. И. Смирницкий рассматривал не как нечто среднее между лексическим и грамматическим, а как взаимодействие лексического и грамматического. Например, категория рода у русских прилагательных выступает как категория чисто грамматическая, а у существительных — как лексико-грамматическая. В заключении своей статьи «Лексическое и грамматическое в слове» А. И. Смирницкий отмечает: «...нельзя пренебрегать словообразующей ролью грамматического строя<sup>8</sup>. Таким образом, грамматика и лексикология оказываются теснейшим образом связанными, что приводит к итоговому положению: «...слово есть основная единица языка вообще — и в области словарного состава, и в области грамматического строя<sup>9</sup>».

А. А. Реформатский посвятил свой доклад вопросу о роли парадигмы в грамматических воображениях А. И. Смирницкого. С этой общей проблемой связаны вопросы морфологического членения слов, прямого и обратного словообразования, конверсии, омонимии и ряд других.

В 1946 г. Г. О. Винокур написал статью о морфологическом членении слова. Эта статья вызвала большие споры, участником которых был и А. И. Смирницкий; в результате он сам опубликовал статью на эту тему — «Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ» («Доклады и сообщения филолог. фак-та МГУ», 1948, вып. V). Выводы А. И. Смирницкого имеют самостоятельное значение. Не отрицая различия связанных и несвязанных основ (*буженина* и *конина*), А. И. Смирницкий показал, что и в случае связанной основы, если вычленивается формант *-ина*, «остаток» (*бужень-*) тоже является не бессмысленным набором звуков, а элементом слова, к которому присоединен аффикс; следовательно, *бужень-* тоже морфема; аналогичное явление находим в таких случаях, как *библиотека* (ср. *картотека* и др.). В указанной статье А. И. Смирницкий писал: «...предложенный выше анализ слов (типа *малина* и т. п.) отнюдь не противоречит определению производных основ, принимаемому Г. О. Винокуром, но лишь расширяет и обобщает содержание этого определения». Подобное истолкование основано на действии парадигмы, понимаемой расширенно. Парадигму А. И. Смирницкий понимал отнюдь не как скучную таблицу, которую надо вызубрить в учебнике какого-либо языка, а как один из главных рычагов системности языка, так как без понятия парадигмы нельзя обосновать системность языка.

Очень большой интерес для проблемы парадигмы представляет статья А. И. Смирницкого «Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке» («Иностр. языки в школе», 1953, № 5), где теоретически проанализирован очень актуальный вопрос о «переходности частей речи», что волнует не только англоистов, но и тюркологов, и финно-угроведов, и многих других. Единства мнений по данному вопросу

<sup>6</sup> А. И. Смирницкий, Лексическое и грамматическое в слове, сб. «Вопросы грамматического строя».

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

нет. А. И. Смирницкий начинает свой анализ с рассмотрения практики словарей, где обычно «омонимичные» существительные и глаголы даются под одной вокабулой; правда, это делается не по принципиальным, а по чисто техническим соображениям — так получается эконочнее. Но у многих составителей словарей бывает и теоретическое обоснование, что это — «то же слово», но в другой синтаксической роли. Против такого взгляда и направлена статья А. И. Смирницкого. Если брать слово не как изолированный кусок, а как совокупность форм (словоформ), например: *(the) love* «любовь» и *(to) love* «любить», то различие парадигм не позволяет отождествлять эти два факта в одном слове.

Совершенно по-новому пересмотрел А. И. Смирницкий и вопрос о различении синхронии и диахронии, что опять-таки связано с системностью языка и парадигматической формой слов. А. И. Смирницкий всячески предупреждал о недопустимости смешения существующего и того, из чего оно получилось, настоящего и прошлого, что он называл анахронизмом в особом терминологическом смысле. Проблема синхронии и диахронии в еще более развернутом виде изложена в посмертно опубликованной статье А. И. Смирницкого «По поводу конверсии в английском языке» («Иностр. языки в школе», 1954, № 3).

Термин «парадигма» после анализов А. И. Смирницкого нуждается в более широком понимании, когда наряду с простейшими словоизменительными совокупностями форм будут привлечены и словообразовательные группировки слов, не имеющие, правда, той степени обязательности, которая есть в парадигме склонения или спряжения, но замыкающие лексический материал в расчлененную часть грамматического строя. Тем самым через парадигму и парадигматическую форму можно реально показать системность языка. С проблемой парадигмы связано понимание и омонимии, и полисемии, и деривации, не говоря уже о конверсии. Практически в разрешении этих вопросов заинтересованы прежде всего составители словарей.

Р. С. Г и н а б у р г посвятила свое выступление работам А. И. Смирницкого в области англистики.

А. И. Смирницкий в годы господства «нового учения» о языке выдвинул свое понимание периодизации истории английского языка, основанное на анализе чисто языковых данных. Особое внимание он уделял фонологии, посвятив этому специальную работу «Вопросы фонологии в истории английского языка» («Вестник Моск. ун-та», 1946, № 2), в которой по-новому осветил вопрос о безударном вокализе в древнеанглийском языке, а также ассимилятивные явления «преломления» и «перегласовки». Много нового внес А. И. Смирницкий и в понимание морфологических изменений английских имен и глаголов. А. И. Смирницкий держался того мнения, что, несмотря на многие скрещивания, английский язык остался германским. Он отрицал особый «американский язык», признавая его лишь вариантом общенародного английского языка.

Очень важно понимание А. И. Смирницким предлогов и наречий в английском языке как соотношения полвозможности и служебности, не нарушающей тождества слова. На материале английского языка А. И. Смирницкий исследовал отличие аналитических форм от словосочетаний и дал описание системы глагола в его предикативных и непредикативных формах. Работая над разграничением сложных слов и словосочетаний, А. И. Смирницкий выдвинул понятие цельнооформленности слова.

И. Г. В а с и л ь е в а сообщила о трудах А. И. Смирницкого по скандинавистике. Его первая печатная работа в этой области — «Вопрос о происхождении рун и о значении праскандинавских надписей как памятников языка» («Ученые записки [Ив-та языка и лит-ры РАНИОН], М., 1931). В 1939 г. им была опубликована статья «Шведские рунические надписи эпохи викингов» («Труды Моск. ив-та истории, философии и лит-ры», т. V) и в 1947 г. — статья «К вопросу о языке старших северных рунических надписей» («Вестник Моск. ун-та», 1947, № 8). В этих исследованиях, дав тонкую критику работ зарубежных рунологов, А. И. Смирницкий изложил историю изучения рунических надписей, вопрос о происхождении рунического письма, о соотношениях старшего и младшего рунических рядов, эволюцию рунической письменности — как в целом, так и применительно к отдельным знакам.

Кроме рунологии, А. И. Смирницкий занимался древнескандинавским языком и написал работу, посвященную фонетике этого языка. Ему принадлежит также комментированный перевод нескольких песен «Саги о Фригтофе» («Хрестоматия по западно-европейской литературе. Литература средних веков», сост. Р. О. Шор, М., 1938). Вопросам скандинавистики посвящены, кроме того, многие страницы в общегерманистических работах А. И. Смирницкого и ряд статей о древних и новых скандинавских языках в первом издании БСЭ.

В. П. М у р а т осветила интересы А. И. Смирницкого в области изучения русского языка, который он привлекал и при сравнительно-историческом и при сравнительно-сопоставительном исследовании языков. Видное место русский язык занимал в прочитанных А. И. Смирницким курсах сравнительной грамматики индоевропейских языков и сравнительной грамматики русского, латинского и германских языков. Ответом на практические запросы в области русского языка был учебник русского



языка для англичан, написанный А. И. Смирницким в соавторстве с П. П. Свешниковым («Russian textbook», М., 1935; новое издание этого учебника подготовлено к печати). Учебник этот методически составлен безукоризненно, снабжен схемами и диаграммами, которые так изобретательно умел делать А. И. Смирницкий; простота изложения сочетается в нем со строгой научностью.

В области русской грамматики особенно внимательно изучал А. И. Смирницкий виды глагола, начав с сопоставления английских видовых оттенков с русскими видами и закончив специальным исследованием об отношении видов русского глагола к лексике и грамматике. В своих исследованиях А. И. Смирницкий боролся против догматического схематизма, проявляющегося, в частности, в работах западноевропейских и американских структуралистов. Основной формой полного глагола в русском языке А. И. Смирницкий считал инфинитив несовершенного вида, как более отвлеченный и не ограниченный дополнительным значением, представленным в инфинитиве совершенного вида. Наконец, одинаковым вкладом и в русистику, и в англистику является русско-английский словарь (1-е изд. — 1948, 2-е изд. — 1952). Особое внимание в этом словаре уделено фонетической и грамматической характеристике слов.

Т. П. Горбунова в своем сообщении рассказала об А. И. Смирницком как лексикографе. Словарная работа у А. И. Смирницкого выростала на базе предшествовавшей исследовательской работы по сопоставлению системы русского языка с системой английского языка. На составление словаря А. И. Смирницкий смотрел как на серьезный научный труд. Главное при составлении двуязычного словаря — не искусство перевода слов и их сочетаний, а отражение в словаре того, что сближает языки и что является различным. Тем составителям словарей, которые ограничиваются только простым переводом слов, А. И. Смирницкий отказывал в правах авторства. Теоретической предпосылкой было здесь убеждение А. И. Смирницкого в том, что слова в языке не представляют собой случайного собрания фактов, а образуют определенную систему. Поэтому и словарь должен правильно отражать эту систему; слова аналогичных лексических групп должны получить в словаре аналогичное оформление.

По-новому оригинально разработаны А. И. Смирницким гнезда местоимений, союзов и предлогов. Особое внимание было уделено продуктивным префиксам русских глаголов и подаче их значений в словаре. Строго различал А. И. Смирницкий явления омонимии и полисемии, значение и употребление слова, наконец, слова и фразеологические единицы. Теоретической базой для этих выводов был курс А. И. Смирницкого, посвященный современному английскому языку. Специальное внимание было уделено подаче фразеологии в словаре. Все отклонения слова от обычной парадигмы были в словаре оговорены; фонетическому аспекту посвящено приложение к словарю — правила чтения английского текста, вследствие чего транскрипция в самом словаре приводится только для исключений. Для показа возможности связывать существительные и глаголы указываются падежи, с которыми они употребляются; в английской части специально отмечаются прилагательные, которые употребляются только в предикативной функции; специальной классификации подверглись артикли. Несмотря на сложность обработки словарного материала, в словаре нет ничего лишнего. А. И. Смирницкий считал, что словарь должен лингвистически воспитывать читателя, должен поднимать его до своего уровня. Система, принятая в словаре А. И. Смирницкого, оказала большое влияние и на другие двуязычные словари, выпускаемые Издательством национальных и иностранных словарей.

Л. Н. Натан рассказала об участии А. И. Смирницкого в разработке теории художественного перевода. Свои теоретические положения он подкреплял практическими опытами, свидетельством чему служит перевод нескольких песен «Саги о Фриггофе». Осмыслия свои опыты и теоретические размышления о переводе, А. И. Смирницкий писал: «Приведенный разбор не оставляет сомнений, что творчество не есть область „чистого вдохновения“, его можно и должно анализировать и научно объяснять. Сам художник может и не понимать, почему у него получилось то или другое. Но к продукту его творчества нужно подходить с научным мериллом, чтобы посмотреть, каковы те скрытые основания, по которым он употребил тот или иной образ или слово в данном случае. Произведенный анализ может быть точно обоснован».

Этот вывод очень важен для развития стилистики. Становится ясным, что язык изучаемого произведения следует подвергать сплошному лингвистическому анализу, а не останавливаться только на разборе отдельных его особенностей.

В заключение отметим, что все выступавшие говорили о высоких достоинствах читавшихся А. И. Смирницким курсов. Лингвистическая секция Ученого совета единодушно решила предпринять издание трудов проф. А. И. Смирницкого.

А. А. Реформатский

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ  
ОСВЕТИТЬ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В ТЕЧЕНИЕ 1955 г.**

Публикуемый краткий перечень основных проблем советского языкознания принят редакцией за основу тематического плана журнала на ближайший год, причем каждая из указанных ниже проблем может быть представлена в виде ряда конкретных тем статей для журнала. Понятно, что в редакционный план в течение года будут вноситься необходимые коррективы, дополнения и уточнения. Редколлегия журнала обращается ко всем работникам в области языкознания с просьбой сообщить в редакцию свои замечания по предлагаемому перечню.

1. История языка и история народа в связи с проблемой внутренних законов развития языка.
2. Логические и грамматические категории (слово и понятие, суждение и предложение, члены предложения и т. д.).
3. О соотношении грамматики и лексики (грамматики и лексикологии).
4. О соотношении морфологии и синтаксиса.
5. Принципы построения описательной и нормативной грамматик.
6. Основные вопросы описательных грамматик языков народов СССР.
7. Словообразование и его место в системе лингвистических дисциплин.
8. Проблема частей речи и закономерностей их развития (применительно к отдельному конкретному языку, группам родственных языков).
9. Части речи и их структурная роль в системе основного словарного фонда и словарного состава языка.
10. Проблема сложного предложения (на материале разных языков).
11. Фонетика и фонология. Вопрос о фонеме.
12. Вопросы разграничения языка и речи.
13. Проблема омонимии.
14. Вопросы развития и совершенствования методов сравнительно-исторического изучения языков.
15. Спорные вопросы генеалогической классификации языков.
16. Важнейшие проблемы сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, в особенности языков славянских (разработка сравнительно-исторического синтаксиса и др.).
17. Проблема языкового субстрата.
18. Принципы периодизации истории языка.
19. Вопросы исторической диалектологии. Национальный язык и диалекты. Образование национальных языков.
20. Изучение языка памятников письменности.
21. Вопросы образования и развития литературных языков. Проблема периодизации истории литературного языка.
22. Литературный язык и язык художественной литературы.
23. Проблема изучения языка и стиля писателя.
24. Проблема синонимии.
25. Задачи и содержание лингвистических курсов в вузе.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В ЖУРНАЛЕ  
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1954 г.

ПЕРЕДОВЫЕ

Бокарев Е. А. и Серебренников Б. А., Сталин — великий продолжатель дела Ленина, № 6, стр. 3.

О лингвистическом высшем образовании и подготовке научных кадров по языкознанию, № 2, стр. 3.

СТАТЬИ

Белодед И. К. — Влияние воссоединения Украины с Россией на развитие украинского литературного языка, № 2, стр. 23.

Бернштейн С. Б. — Основные задачи, методы и принципы «Сравнительной грамматики славянских языков», № 2, стр. 49.

Виноградов В. В. — Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения, № 1, стр. 3.

Виноградов В. В. — Вопросы изучения словосочетаний (На материале русского языка), № 3, стр. 3.

Виноградов В. В. — Язык художественного произведения, № 5, стр. 3.

Войтович Н. Т. — О диалектной основе современного белорусского литературного языка, № 4, стр. 26.

Жирмунский В. М. — О некоторых проблемах лингвистической географии, № 4, стр. 3.

Конрад Н. И. — О литературном языке в Китае и Японии, № 3, стр. 25.

Отрембский Я. С. — Славяно-балтийское языковое единство, № 5, стр. 27.

Отрембский Я. С. — Славяно-балтийское языковое единство (окончание), № 6, стр. 28.

Панфилов В. З. — К вопросу об инкорпорировании, № 6, стр. 6.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Газизов Р. С. — Из практики работы над составлением русско-татарского словаря, № 2, стр. 93.

Жлуктенко Ю. А. — О так называемых «сложных глаголах» типа *stand up* в современном английском языке, № 5, стр. 105.

Залая Л. З. — Развитие татарской диалектологии в советский период, № 6, стр. 116.

Лисицкий В. А. — Насущные вопросы исторической фонетики молдавского языка, № 1, стр. 84.

Мухамедова З. Б. — Из наблюдений над составлением русско-туркменского словаря, № 2, стр. 97.

Чичагов В. К. — Филологические заметки (К выходу в свет первого научного издания новгородских грамот на бересте), № 3, стр. 77.

Щербак А. М. — К истории образования узбекского национального языка, № 6, стр. 107.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Адмони В. Г. и Сильман Т. И. — Отбор языковых средств и вопросы стиля, № 4, стр. 93.

Бокарев Е. А. — О категории падежа, № 1, стр. 30.

Бокарев Е. А. — Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков, № 3, стр. 41.

Будагов Р. А. — К вопросу о языковых стилях, № 3, стр. 54.

Гальперин И. Р. — Речевые стили и стилистические средства языка, № 4, стр. 76.

Георгиев В. — Вопросы родства средиземноморских языков, № 4, стр. 42.

Гурычева М. С. — О закономерностях в словообразовании романских языков, № 1, стр. 69.

Доскараев Ж. Д. — Некоторые вопросы диалектологии и истории казахского языка, № 2, стр. 83.

Дунаевская И. М. — О характере и связях языков древней Малой Азии, № 6, стр. 62.

Дьяконов И. М. — О языках древней Передней Азии, № 5, стр. 43.

Ильинская И. С. — О языковых и неязыковых стилистических средствах, № 5, стр. 84.

Левин В. Д. — О некоторых вопросах стилистики, № 5, стр. 74.

Обзор полученных статей (Обсуждение вопросов стилистики), № 6, стр. 80.

Панфилов В. Д. — К вопросу о так называемом аналитическом склонении, № 1, стр. 47.

Питровский Р. Г.— О некоторых стилистических категориях, № 1, стр. 55.

Сорокин Ю. С.— К вопросу об основных понятиях стилистики, № 2, стр. 68.

Степанов Г. В.— О художественном и научном стилях речи, № 4, стр. 87.

Федоров А. В.— В защиту некоторых понятий стилистики, № 5, стр. 65.

#### ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Аванесов Р. И.— О слогоразделе и строении слога в русском языке, № 6, стр. 88.

Десницкая А. В.— Об университетском курсе «История языкознания», № 5, стр. 90.

Кузьмин Ф. Ф.— К итогам обсуждения курса «Введение в языкознание», № 1, стр. 97.

От редакции (К обсуждению курса «История языкознания» на филологических факультетах университетов), № 4, стр. 101.

Финкель А. М.— О содержании и построении курса «История языкознания», № 6, стр. 102.

Цукерман И. И.— К вопросу о постановке курса «История языкознания», № 6, стр. 105.

Ярцева В. Н.— О курсе «История языкознания» на филологических факультетах университетов, № 4, стр. 104.

#### ИЗ ИСТОРИИ

##### ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Кациельсон С. Д.— Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных, № 6, стр. 47.

Магомедов А. А.— Неизданная монография П. К. Услара о табасаранском языке, № 3, стр. 68.

##### ЯЗЫКОЗНАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Егерман Э. Я.— Вопросы лингвистики в теоретических трудах А. Грамши, № 5, стр. 114.

Касаткин А. А.— О языке политической агитации. Дискуссия на страницах журнала «Ривальшта» (Италия), № 2, стр. 101.

Цой Ден Ху— Из истории языкознания в Корее, № 4, стр. 116.

Яначек К.— Что мы знаем в настоящее время об этрусском языке? № 3, стр. 93.

##### КРИТИКА БУРЖУАЗНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Гухман М. М.— Э. Сепир и «этнографическая лингвистика», № 1, стр. 110.

#### ТРИБУНА ЧИТАТЕЛИ

Шнитке Г. В.— О транслитерации собственных имен (По поводу статьи Л. С. Карума), № 5, стр. 126.

#### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Александров Н. М.— Л. А. Булаховский. Введение в языкознание, ч. II, № 1, стр. 146.

Бархударов Л. С., Колшанский Г. В.— Американский журнал «Language» (за 1952—1953 гг.), № 5, стр. 130.

Белецкий А. А.— Р. А. Будагов. Очерки по языкознанию, № 3, стр. 102.

Брянцева Т. Г. и Цейтлин Р. М.— Инструкция для составления «Словаря современного русского литературного языка» (в трех томах), № 3, стр. 111.

Воронцова В. Л. и Сумкина А. И.— О новых книгах по культуре речи, № 2, стр. 141.

Горнунг Б. В.— Вл. Георгиев. Проблемы минойского языка, № 2, стр. 107.

Горшкова К. В.— Chr. S. Stang. La langue du livre «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. 1647», № 2, стр. 134.

Ефремов А. Ф.— А. И. Ефимов. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина, № 2, стр. 128.

Жирмунский В. М.— Вопросы грамматического строя и словарного состава языка, ч. I—II, № 1, стр. 162.

Иванов Вяч. В. с.— J. Kurylowicz. L'accentuation des langues indoeuropéennes, № 4, стр. 125.

Кондрашов Н. А.— А. Широкова. Очерк грамматики чешского языка, № 6, стр. 146.

Ломтев Т. П.— П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. Морфология, № 5, стр. 137.

Лукаш Н. А.— Украинско-русский словарь. Т. I, № 6, стр. 121.

Майтинская К. Е.— «Труды Института языкознания», т. I, № 1, стр. 128.

Макаев Э. А.— М. И. Стеблин-Каменский. История скандинавских языков, № 3, стр. 126.

Мурвалян А. А.— Ар. Гарибян. Армянская диалектология. Фонетика и морфология, № 6, стр. 144.

Немченко Е. В.— А. Lamprecht. Stfedoopravské pářecí, № 5, стр. 144.

Поспелов Н. С.— «Труды Института языкознания», т. II, № 1, стр. 132.

Советов С. С. и Мацковский Я. В.— Т. Лер-Сплавинский. Польский язык, № 6, стр. 139.

Соколова М. А.— П. Я. Черных. Язык Уложения 1649 года, № 3, стр. 122.

Старинин В. П.— Лингвистический сборник («Ученые записки Института востоковедения»), № 1, стр. 140.

Старинин В. П.— Языкознание в Институте востоковедения АН СССР, по

данным «Кратких сообщений Института востоковедения», № 4, стр. 136.

Федоров В. Е. и Филиппова В. М.—«Современный русский язык. Морфология», № 6, стр. 129.

Фельдман Н. И.—*А. В. Федоров. Введение в теорию перевода*, № 2, стр. 117.

Филин Ф. П.—«Против вульгаризации марксизма в археологии», № 4, стр. 141.

Чичагов В.—*А. Вайан. Руководство по старославянскому языку*, № 4, стр. 147.

Шнишмарев В. Ф.—*Э. Бурсье. Основы романского языкознания*, № 1, стр. 157.

Эткинд Е. Г.—*Л. А. Булаховский. Введение в языкознание*, ч. II, № 1, стр. 153.

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Бухене Т. И.—*Языкознание в Советской Литве*, № 1, стр. 173.

Бухене Т. И. и Палионис И. И.—*Первая печатная грамматика ли-*

*товского языка (К трехсотлетию издания грамматики Д. Клейна)*, № 2, стр. 147.

Воронцова В. Л., Гаджиева Н. З., Сумкина А. И.—*В Институте языкознания АН СССР*, № 3, стр. 151.

Иванов Вал. Вас.—*Обсуждение вопросов формирования русской народности и нации*, № 3, стр. 133.

Ковтунова И. И.—*Обсуждение книги проф. А. И. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина»*, № 4, стр. 154.

Постановление Президиума Академии наук Союза ССР о 300-летнем юбилее воссоединения Украины с Россией, № 1, стр. 171.

Примерный перечень проблем, которые предполагается осветить в журнале «Вопросы языкознания» в течение 1955 года, № 6, стр. 155.

Реформатский А. А.—*Памяти проф. А. И. Смирницкого*, № 6, стр. 150.

Сенкевич М. Г.—*Совещание по вопросам болгарской грамматики*, № 3, стр. 156.

Скрипник Л. Г.—*В Институте языкознания им. А. А. Потебни АН УССР*, № 5, стр. 147.

## СОДЕРЖАНИЕ

Е. А. Бокарев и Б. А. Серебрянников. Сталин — великий продолжатель дела Ленина . . . . .	3
В. З. Панфилов (Ленинград). К вопросу об инкорпорировании . . . . .	6
Я. С. Отрембский (Познань). Славяно-балтийское языковое единство . . . . .	28

### ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. Д. Кацнельсон (Иваново). Теория сонантов Ф. Ф. Фортунатова и ее значение в свете современных данных . . . . .	47
--	----

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

И. М. Дунаевская (Ленинград). О характере и связях языков древней Малой Азии . . . . .	62
--	----

### Обсуждение вопросов стилистики

Обзор полученных статей . . . . .	80
-----------------------------------	----

### ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

Р. И. Аванесов (Москва). О слогоразделе и строении слога в русском языке . . . . .	88
А. М. Финкель (Харьков). О содержании и построении курса «История языкознания» . . . . .	102
И. И. Цукерман (Вильнюс). К вопросу о постановке курса «История языкознания» . . . . .	105

### СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

А. М. Щербак (Ленинград). К истории образования узбекского национального языка . . . . .	107
Л. З. Залаяй (Казань). Развитие татарской диалектологии в советский период . . . . .	116

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. А. Лукаш (Харьков). Украинско-русский словарь. Т. I . . . . .	121
В. Е. Федоров и В. М. Филиппова (Москва). Современный русский язык. Морфология . . . . .	129
С. С. Советов, Я. В. Мацюсович (Ленинград). Т. Лер-Сплавинский. Польский язык . . . . .	139
А. А. Мурвалян (Ереван). Ар. Гарибян. Армянская диалектология. Фонетика и морфология . . . . .	144
Н. А. Кондрашов (Москва). А. Широкова. Очерк грамматики чешского языка . . . . .	146

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. А. Реформатский (Москва). Памяти профессора А. И. Смирницкого	150
Примерный перечень проблем, которые предполагается осветить в журнале «Вопросы языкознания» в течение 1955 года . . . . .	155
Указатель статей, напечатанных в журнале «Вопросы языкознания» в 1954 г. . . . .	156

### Редколлегия

С. Г. Бархударов, И. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),  
В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов,  
Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),  
В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42

Т-08523 Подписано к печати 3.XII. 1954 г. Тираж 14175 экз. Зак. 674  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 5 Печ. л. 13,7 Уч.-изд. л. 16,3

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, в совершенно готовом для печати виде, хорошо обработанными литературно и подписанными автором.

После подписи сообщаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, адрес, телефон.

2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 25 стр., объем рецензии — 15—20 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам. Каждая цитата должна быть завизирована автором.

4. Названия источников даются без всяких сокращений. При ссылках (в тексте и сносках) указываются автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), место издания, год издания, страницы.

5. При ссылке на труд иностранного автора следует указывать и фамилию автора, и название труда в тексте статьи по-русски (в сносках — на языке книги).

6. Все иноязычные примеры должны быть снабжены переводами.

7. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать волнистой чертой), а значения — в кавычках.

8. Автор должен обязательно указывать инициалы имени и отчества упоминаемых в статье лиц.

9. Авторская правка в сверстанных листах не допускается.

10. Непринятые рукописи, как правило, авторам не возвращаются.